

НЕВА



6 • 2025

Ценим прошлое.
Открываем новое



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

Белый квадрат. *Стихи* • 3

Марат ГИЗАТУЛИН

Книголюб. *Повесть* • 12

Владислав КИТИК

Стихи • 61

Татьяна ВОРОНИНА

Бородатая Афродита. Мужчина и его собака.
Мистер Счастье. Первое свидание. *Рассказы* • 64

Павел КУЗЬМЕНКО

Мудрый Наохиро Такахара и другие мудрецы. Строи-
тель Абабкин. Дверь. Последний путь. *Рассказы* • 76

Дмитрий БОБЫЛЕВ

Стихи • 96

Айгуль АХМЕТОВА

Адаштым. *Повесть* • 102

Леонид БЕЖИН

Дожливая аллея, или Десять донесений
Департаменту полиции о композиторе Скрябине,
строительстве храма в Индии
и мистерии на конец времени. *Роман. Продолжение* • 129

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Алла ФЕДОСЕЕНКОВА

Своим аршином. *Стихи* • 176

ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

Александр МЕЛИХОВ, Елена ДОЛГОПЯТ

Поленовский дворик и светящийся дым • 180

Вера КАЛМЫКОВА

Благоуханные легенды, или Платок-самолет • 185

ПУБЛИЦИСТИКА

Дмитрий ТРАВИН

Как свобода пришла в Россию • 195

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Станислав МИНАКОВ

Крылатый Простев • 211

Лариса ШУШУНОВА

«Під Купянском, як Шредінгера кіт...»
О военных стихах поэта Сергея Семенова • 220

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Территория памяти. Полина Мамышева. «...По главам толстого увлекательного романа»: американские фотографии И. Ильфа. **Рецензии.** Елена Печерская. Михаил Рахунов: «И душа превращается в речь...» Елена Зиновьева. Книжный остров • 225

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Русские паломники у святынь Бельгии. Часть 6 • 240

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор). **Дмитрий Зенченко** (контент-редактор журнала, редактор интернет-сайта).

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2025

Михаил СИНЕЛЬНИКОВ

БЕЛЫЙ КВАДРАТ

* * *

Весь этот город вымирал, дичая.
Был вечен голод, и мороз жесток.
С мечтанием о сухаре и чае
На темных кухнях пили кипяток.

Иллюзия, издевка над собою,
Но становилось несколько теплей.
Со стен сдирали ветхие обои,
Мучительно выскребывали клей.

И словно бы две разные России
Сошлись в аду, где не являлся Дант,
Где пекарь погибал от дистрофии
И добывал картины интендант.

* * *

Когда уж силы не было для вдоха
И от цинги сосед по койке слеп,
Себя мужчины проявляли плохо —
Те, что у женщин отбирали хлеб.

Вся очередь под вихрем снежной пыли
Могла упасть, обрушившись вповал.
Но женщины выносливее были —
Все кто-нибудь без помощи вставал.

Блокадница обиду затаила
И на того, кто в гости к ней пришел,
Посматривала с жалостью уныло,
Талантливый разгадывала пол.

Михаил Синельников родился в 1946 году в Ленинграде. Живет в Москве. Автор 37 поэтических сборников, сотен статей о поэзии, переводчик классической и современной поэзии Востока, составитель многих хрестоматий и антологических сборников. Стихи переведены на многие языки, отдельными книгами вышли в Черногории, Румынии, Японии и Турции. Академик РАЕН и Петровской академии, лауреат премии Бунина, премии Дельвига, премии Арсения и Андрея Тарковских, Государственной премии Таджикистана имени Рудаки и многих других отечественных и зарубежных премий.

* * *

Между рядами шла Ахматова.
Весь зал в прологе черных дней
Рукоплескал и погрохатывал,
Ей на беду любясь ей.

Уже я жил, дышал, пульсировал,
И хаос времени вдохнул,
И, не рожденный, аплодировал,
И сберегаю этот гул.

КАРМЕН

Рыжеволосая Кармен,
Привычная к влюбленным взорам,
Пришла, как ветер перемен,
С предназначеньем и задором.

Итак, ей было суждено
В заклетья огненного круга
Внести веселости вино,
Ослабить действие недуга.

И не было души родней,
Быть не могло желанней тела...
Зачем же он расстался с ней?
Она, как ветер, улетела.

Другие плакали над ним,
Иным прощание досталось.
Здесь мы, пожалуй, умолчим
О том, что дальше с нею сталося.

Когда бы все вернулось вспять!
Но по заветному условию
Поэтам надо выбирать
Между любимой и любовью.

* * *

Потемнела былая столица.
Вновь страшил и сажал Ленинград.
Как случилось отцу отдалиться,
В эту пыль ускользнуть наугад?

В это царство урюковой вьюги,
Где летят и летят лепестки.
Бьют копытами кони в испуге,
И скрывается приступ тоски.

Кто дворянство скрывал, кто еврейство,
Кто уже ничего не скрывал...
Там спаслось, уцелело семейство,
Где арык обтекает дувал.

Вот родителей горькая ссылка!
Но ведь это — мой глиняный рай.
...Выдувай пузыри из обмылка,
Легким ободом, детство, играй!

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Как все менялось на Оранжерейной!
Она была Васенко. Ростом мал,
Мгновенный сход толпы благоговейной
Я там, десятилетний, наблюдал.

Заглох мотор на узком перекрестке.
Сошел старик у выморочных дач.
Раскланивался, вкрадчивый и жесткий.
То был Булганин, маршал и стукач.

А рядом дача. К ней, неуголима,
Спешила черноокая Россет.
Бегом, Натальи Николаевны мимо,
Шла на беседу с Пушкиным чуть свет.

НЕНАВИСТЬ

Там осенью серебряное море,
И трансцендентный этот ветерок,
И ненависть в учтивом разговоре,
В приветливой записке между строк.

Кой-где слова несказанные виснут
Эстонского презренья к латышам...
Ах, смесь народов самых ненавистных,
С тобой любезны, но не верь ушам!

И ненависть на улице пустынной,
Во взгляде и за гневно сжатым ртом,
За каждой задвинутой гардиной
И в воздухе, от ярости густом.

ПАРВУС

Оказалась не одномоментной,
Получилась она перманентной,
Как и мыслилось — был ты велик!
Парвус, Парвус — не ты ли виновник?
Ты — марксист, преискусный любовник,
Теоретик, игрок, биржевик.

Наконец-то сараевский выстрел
Гибель дряхлых империй убыстрил.
Истерзает Россию террор.
Карл и Роза убиты прикладом.
Правит идол, спустившийся с гор.

И до Андов дошла от Меконга,
Ворвалась в людоедское Конго,
Притаилась в «арабской весне».
Ты же, всеми помянутый лихом,
Мирно дремлешь на кладбище тихом,
«Марш Радецкого» слышишь во сне.

ШТАУФФЕНБЕРГ

Штауффенберг. Конечно, неприязнь
К еврейскому торгашеству, к французам
С распутством, да и с живописью их.
Ты — верный муж, отличный семьянин,
Блестящий офицер, нечуждый муз.
Ну да, Стефан Георге¹, «Парсифаль»
И Фридриха в Сицилии гробница,
От церкви отлученного не раз.

Германия всего, всего превыше!
Германия, где, слушая орган,
Господь вселялся в веяние липы...

И все же Бог Германию не спас!
Она горит, и все кругом черно —
Взмывает к солнцу пепел Биркенау.

И все-таки ты сделал то, что мог, —
С фантомной болью в призрачной руке
Портфель с взрывчаткой под широкий стол
Рукою уцелевшею поставил.

¹ Стефан Георге (1868–1933) — немецкий поэт-символист, провозвестник царства «духовной аристократии».

* * *

Казнили дерзостных афинян,
Изрекших на дебатах школ,
Что был Олимп всегда пустынен,
Что Зевса не видал орел.

От Демокрита к Эпикуру
Переносилась эта весть,
Но Фидий завершал скульптуру
И твердо знал, что боги есть.

Он узнавал родные тени,
Во тьме летавшие над ним,
И становился на колени
Перед созданием своим.

ДИРЕКТОР

Дом творчества. Простые кельи.
Литературный пестрый сброд.
Часы в труде или в безделье,
Поток рассказов и острот.

Уютный дом в лихие зимы,
И ведь, поселка старожил,
У нас директор был любимый,
И он жильцов своих любил.

Пороки не судил он строго;
Узрев беспутство, лишь моргал.
О нас докладывал немного
И тишину оберегал.

Но в дни крушения державы,
В котором и себя виню,
Сменились времена и нравы,
И сжалось скудное меню.

И понял вдруг директор милый,
Наш попечитель и завхоз,
Что ведал гибельною силой
И ношу бедственную нес.

Блуждал он в сумеречном свете,
И ныло сердце все больней...

И на поминки те и эти
Сошлись в один из черных дней.

И диссидент седобородый,
И мелкий гений, и сексот
В отчаянье перед свободой
Былой оплакивали гнет.

ПОЧТАЛЬОНЫ

И в отеле, и в степи,
И, конечно, в отчет доме,
Если можешь спать, поспи,
Уступи блаженной дреме!

Беспробудная страна,
Где подследственных, бывало,
Следствие лишало сна
И перо предоставляло.

Выпись, ангелом храним.
Ну а почтальоны эти...
При любом режиме им
Просыпаться на рассвете.

РАДИЩЕВ

Досуга много на таможне —
Гуляй, элегию напев!
Но удержать все невозможней
Корявый слог и жаркий гнев.

Вот чудище, оно стозебно,
И каждая разверста пасть,
И людоедствует вседневно,
И лает, лает, лает всласть.

Тут ярость немки престарелой,
Потом отходчивость ее...
Сибирской вьюги крутень белый,
В дворцовом парке воронье.

И вдруг фельдъегерь с царской шубой,
Примчавшийся возку вдогон,
И ветер судорожно-грубый,
И степь да степь со всех сторон.

ВЕРОНСКИЙ КОНГРЕСС. 1822

Текли министров речи монотонно,
Но каждый заседающий постиг:
Все изменила смерть Наполеона,
И наступили времена интриг.

Вот с Гарденбергом, в аппетитах рьяным,
Сам Веллингтон, он — в центре, как жених.
Неспешно с хромоножкой Талейраном
Прогуливался цепкий Меттерних.

Гремел хорал, заполнив цирк Вероны,
И становилось дело веселей
Для разных соискателей короны,
Для шулеров и мелких королей.

Как Северного отогнать Медведя,
Не знал никто. Кто скажет, тот соврет...
Царь Александр, в собрание тихо бредя,
Мечтал уйти в простецкий свой народ.

По вечерам же к дому Капулетти
Шел с адъютантом, важно-величав.
Входил во двор, вздыхая о Джульетте,
К глазам платок растроганно прижав.

* * *

Под сфинксом строй французов синий,
Полков трехцветные знамена,
И пирамиды над пустыней,
И желтизна до небосклона.
Приказ и жест Наполеонов,
И взгляд на язвы изваянья,
И лики этих фараонов
С улыбкой нежного всезнанья.

* * *

Краски сменялись не раз в году.
В памяти кое-как
Все воскрешаешь их череду —
Зелень, кармин, краплак.

Снова невидимый пейзажист
Переписал пейзаж
И, отсылая последний лист,
Темную смыл гуашь.

Скрылись в свечении ледяном
Рытвины и холмы.
Супрематический за окном
Белый квадрат зимы.

СЛЕПОЙ

Перед сомкнувшейся толпой
Играет в шахматы слепой,
В особую втыкает доску
Фигур и пешек стерженьки.
Движения его руки
Надменному покорны мозгу.

Ликует, зрячего тесня...
Как вдруг большая пятерня
И заметалась, и застыла,
Как будто гибельный обрыв
На ощупь в страхе ощутив,
И мысли иссякает сила.

Не так же ли Сократ и Кант,
Творя вселенной вариант,
В глухой оказывались чаще.
Устав от мысли золотой,
Немели перед пустотой,
Быть может, вещей и всезрящей!

* * *

Как-то в детстве, с детьми перепутав,
Тех, что рядом прошли с детворой,
Я вмешался в толпу лилипутов,
Предлагая заняться игрой.
Но гулявшие были не рады.
Все прием не забудется тот:
Ледовитые, взрослые взгляды
На того, кто еще подрастет.

* * *

Соседка страха и соблазна,
Твоя попутчица в беде,
Надежда всюду неотвязна
И не теряется нигде.

Нуждается в ее опеке
Души болезненный излом.
Надежду злом считали греки,
Нет сил расстаться с этим злом.

* * *

Веянье чьей-то печали
Я ощущаю в ночи.
Душу мою пронизали
Чьей-то приязни лучи.

В общем полете едины
Кванты незримой любви,
Зависти тайной трихины...
Вдумайся и улови!

Дремлющим в мире далеком
С мыслью ночной обо мне
Той же тоски перетоком
Я отвечаю во сне.

Марат ГИЗАТУЛИН

КНИГОЛЮБ

Повесть

ПРИНТЕР

Боже, как же трудно жить!

С этим научно-техническим прогрессом, будь он неладен, утром просыпаться страшно! Что они там еще сегодня придумают? Раньше, бывало, соберешь ведро вишни, и бутылка лимонада тебе обеспечена, а если повезет, то и портвешок может перепасть.

Совсем, казалось бы, недавно я гордился тем, что калькулятором умею пользоваться, а нынче без специального образования к обычной картофелечистке не подходи!

Причем дети во всем этом шарят, как нынче принято выражаться. А я даже не уверен, что правильно это слово расслышал. На оживленной набережной меня ждет голодная смерть — я не умею заказать в кафешке бутерброд. Везде требуют отсканировать кьюаркод какой-то, а для этого надо уметь телефоном пользоваться.

А ведь каким продвинутым пользователем я был когда-то! Бутылку с портвейном я умел глазом открыть, а бутылку с пивом — зажигалкой. В магнитофонах разбирался! А нынче они забыты, как некогда граммофонные валики. Прошла моя мирская слава, как с белых яблонь дым.

Потом все покатило под откос. Вместо бутылок с портвейном какие-то компьютеры появились и даже, не к ночи будут помянуты, принтеры... Слово-то какое гадкое! То ли дело портвейн был с поэтическими названиями в мое время: «Двадцать шестой», «Семьдесят второй», «Три семерки»...

Но я долго не сдавался, и одно время у меня даже бизнес был по продаже компьютеров и принтеров. И я даже обогатился тогда несказанно, правда, не на долгое время.

А потом я в тоскливых воспоминаниях о крепленом вине и ведре с вишней совсем потерял нюх на технический прогресс. А уж когда мобильные телефоны появились, я как раз перестал видеть, что у них на экране светится. И теперь ваш хваленый технический прогресс — просто издевательство какое-то над несчастным пенсионером, ветераном химического производства!

Марат Рустамович Гизатулин родился в 1960 году в Казани. В 1985 году окончил Московский институт химического машиностроения. Работал на химическом предприятии в Узбекистане. Занимался предпринимательской деятельностью. В 1998 году вместе с литературоведом и звукоархивистом Л. А. Шиловым создал народный музей Булата Окуджавы в Переделкине и стал его первым директором. Автор многих книг о жизни и творчестве Булата Окуджавы, а также сборников рассказов. Живет в Москве.

Вот хотя бы давеча. Все мои домашние принтеры вдруг в одночасье приказали долго жить, и мне намекнули, подыхая, что я тоже зажил на этом свете. Да и ладно бы, я и без этой погани как-нибудь дотяну свою лямку, но дочкам он постоянно нужен. Старшим по учебе, младшей раскраски напечатать.

Ну и поехал я в главный магазин электроники в Лимасоле и выбрал там чего попроще. Я в последние годы приверженцем «Hewlett-Packard» стал и взял там недорогой, беспроводной.

Распаковал, начал устанавливать, и новый принтер меня озадачил до выпадения челюсти. Требовать стал с меня, скотина, каких-то интимных подробностей типа девичьей фамилии моей мамы и про дедушку моего несусветных неприличностей наговорил. И еще пароль какой-то заставлял меня придумать восьмизначный, обязательно с разными регистрами и никому не понятными символами. А я придумывать вообще не умею, ни полфразы еще ни в одном рассказике придумать не получилось, как я ни тужился! Ну, не наградил Бог талантом!

Я ему так ласково и говорю:

— Скотина, к чему такая амбиция, я же тебя покупал раскраски ребенку печатать!

А он мне, сволочь, напившимся кровью глазком подмигивает похабно.

Позвал дочку. Думаю, по-английски эта железка лучше поймет: никто нынче не любит русского языка. Дочка переругивалась с ним не по-нашему часа два и сказала, что жизнь коротка, а она еще макияж сделать не успела.

Позвал другую. Детишки мои, конечно, понимают в компьютерном деле получше меня, что немудрено, но одна особенно. Она тоже попробовала было, но слово за слово — скандал случился. Я орал на нее, будто она у меня ведро вишни украла. Я хлопнул дверью так, что на набережной пешеходная дорожка обвалилась в море.

Пришлось дочке с мамой обратно в магазин ехать, с претензией. Дескать, так, мол, и так, семья на грани крушения. Там их встретили очень любезно, даже тупицами не обозвали, но обменять принтер не обещали: мы уже чернила вскрыли.

За дело с воодушевлением взялся их главный принтерный специалист, но через час поскукнел и сам предложил обменять этот принтер на какой-нибудь другой.

Новый принтер, теперь уже EPSON, был скоро привезен домой, и меня девочки позвали на крестины, то есть на инсталляцию. Я пришел с блестяще наточенным топором, выбирая взглядом середину принтера, чтобы картридж его не запачкал своей черной кровью мой беспросветно серый свет.

Этот принтер тоже упрямылся и задавал неприличные вопросы, но девчонки мои не дали мне приблизиться к нему и выдали-таки напечатанным мой рассказик. Я его почитал, и, пожалуй, да, предыдущий мерзавец был прав — не стоило этого печатать.

Вот вам и технический прогресс! Гнусь одна, да и только!

ЖИВИ, ПОКА Я ЖИВУ

1

В последние дни все мои близкие не уставали удивляться, как я стал чудесно выглядеть. Мама звонит по ватсапу и радуется:

— Сынок, у тебя лицо стало белое, одухотворенное, не то что раньше — фиолетовое, обрюзгшее!

— Это что, — хвастаюсь я, — у меня еще и давление стало лучше, чем у космонавтов!

— Молодец, так держать!

— Постараюсь, мама!

Друзья по скайпу тоже поразились моему одухотворенному лицу и неладное заподозрили:

— Да ты, никак, в завязку ушел?! Надолго ли?

— Не уходил я никуда! — обиделся я.

В общем, все, кого ни встречу, удивляются и радуются.

Прилег я после обеда тоже порадоваться. Я ведь год почти уже, как здоровьем своим озаботился, лишнего веса четверть центнера решил сбросить. Ходить начал помногу, плавать в любую погоду, рацион ограничил, временами вино стал боржомом перемешать. Вот и результат наконец!

Включил я телевизор, да и задремал на приятных мыслях.

Гляжу, а по телевизору какое-то судебное заседание показывают. Ух ты, обрадовался я, не иначе как новая серия про Перри Мэйсона!

Пригляделся, а это, оказывается, не про Перри, это меня судят. И прокурор справедливыми глазами до темечка меня высверливает и требует мне высшей меры наказания. Как? За что? Ну перешел я однажды улицу в непопозволенном месте, и что, сразу расстрел? А сколько раз до этого я правильно переходил дорогу? Это что, не в зачет?

Но прокурор суров:

— Вы своими действиями создали аварийную ситуацию на дороге. Это могло повлечь повреждение дорожного полотна. А дороги у нас стратегические, тем более в условиях специальной антиковидной операции. Стало быть, вы изменник родины и террорист!

— Как террорист, как террорист?! — забеспокоился я.

А тут и Мейсон за меня заступился:

— Обвиняемый не был раньше замечен в неправильном переходе дороги. У меня есть все доказательства — записи со ста пятидесяти тысяч камер наблюдения. И ввиду однократного нарушения закона прошу ограничить наказание моему подзащитному двадцатью пятью годами лагерей строгого режима.

Но суд был неумолим и справедлив.

И вот заслуженный финал: расстрельная команда вскинула пистолеты ТТ в ожидании последней команды.

Я плачу и бормочу что-то, пытаюсь оттянуть последнюю секунду. И командир расстрельщиков, интеллигентный такой человек, устало спрашивает меня:

— Ну, чего ты трепыхаешься? Что, не виноват ты ни в чем?

— Не виноват, не виноват, не виноват!..

— А не ты ли когда-то радостно распевал:

Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам придет
Лаврентий Палыч Берия!

— Да, распевал...

— А потом, когда его объявили врагом народа и шпионом, не ты ли выколол ему глаза швейной иглой во всех своих книжках?

— Да, я...

Командир расстрельщиков удовлетворенно потянулся:

— Все, хорош! Пли!!!

Раздались выстрелы, и я открыл глаза. На меня смотрел черный экран выключенного телевизора.

Пошел я в туалет уже не такой радостный, как отдохнуть ложился. Пописал, посмотрел в унитаз, а он почему-то весь в густой крови. Уже не сон.

Говорю Ритуле, это жена моя:

— Надо бы мне к урологу записаться. Наверное, песочек в почках зашевелился.

Пока она звонила врачу, я новое надумал:

— А едем-ка мы сразу в госпиталь, что-то мне нехорошо.

Поехали в госпиталь, а по дороге Ритуля подруге своей решила позвонить, большой специалистке в любых вопросах, особенно в области здоровья. Машка давно мечтала мне масляные обертывания сделать, но я стойко уклонялся. Машка сразу диагноз поставила:

— А это потому, что он у тебя, придурок, в январе часами из моря не вылезит, вот почки и застудил. Езжайте быстро домой, положи его в горячую ванну, он и отойдет.

Развернулись, поехали домой, а я чувствую, что еще до ванны отойти успею, так мне нехорошо.

— Все, — говорю, — останавливайся и вызывай «скорую помощь»!

В госпитале за меня круто взялись: давай из меня кровь качать и мочу цедить, вопросы какие-то глупые про курение задавать. Полдня упражнялись, а потом подходит ко мне доктор и говорит, радостно потирая руки:

— Онкология, сэр! Надо удалять!

Я на него квадратными глазами:

— Вы что тут, с папайи рухнули? Я только-только жить начинаю, боржом пить стал!

А он мне ласково так:

— Молодец! Только ты это... поздновато боржом надумал пить...

— И ничего не поздно, ничего не поздно! Я много буду пить!

— Много ты уже пил, и, к сожалению, не боржома.

2

Ну вот, через три дня у меня отнимут почку, и я стану еще меньше весить! Жизнь налаживается! Только это уже другой госпиталь будет, из первого меня выгнали. Но сначала тамошний доктор, даже не пытаясь скрывать радость, торжественно объявил мне, что операция завтра. Как будто медаль олимпийскую вручил.

— Что? Кто? Какая операция? За что?

— Как какая? — немножко обиделся на мою тупость и неблагодарность доктор. — Так ведь почку же тебе вырежем! Правую!

— За что?! Почему правую? — продолжал тупить я.

— Так ведь поражение у тебя девяносто пять процентов!

При последней фразе эскулап не смог сдержать эмоций и зажмурился от счастья.

Я задумался ненадолго — надолго я не умею — и выдал:

— А-а-а, все понял! Вы хотите на сторону продать мою великолепную почку! Не выйдет, жулики! Я лучше сам ее продам, когда срок подойдет кредит отдавать!

— Ну да, ну да, посмотри сам на свою великолепную почку. Она уже в два раза больше другой своей сестры! И не подумай, что ее теперь в два раза дороже можно продать — здесь у нас не мясной ряд на рынке.

— Ладно, убедил, душегуб! Только смотри, если обманул, тебе же потом стыдно будет!

— Да век воли не видать!

Я откинулся на спинку каталки.

— Ну вот и славненько, вот и славненько! Завтра же и оформим это дельце! — засуетился, потирая повлажневшие ладошки, доктор и зычно кинул кому-то: — Везите его в палату и готовьте.

Пока я лежал в палате, позвонил похвастаться друзьям, а они меня пытаются:

— А ты, старый пень, хотя бы поинтересовался, какая это будет операция?

— Сами вы тупицы! Говорю же, почку мне вырежут!

— Ладно, ты только не волнуйся. Скажи, тебе при этом полностью брюхо распорют или это будет лапароскопия?

— Лапаро... что? Ну откуда я знаю? Я же литератор, а не хирург!

— Вот узнай, пожалуйста. И если не лапароскопия, не соглашайся. И еще. Смотри там, проследи хорошенько, чтобы тебе вместо правой левую почку не удалили. А то это у них самая частая ошибка.

Оказывается, при удалении почки если обычную операцию делают, то человека просто пополам разрезают, как исстари любят делать фокусники, лапароскопия же более щадящая.

Задумался я во второй раз за этот день, а тут ко мне в палату сам доктор пожаловал и рассказал про разные виды операции. Как будто под дверью подслушивал, но он ведь русского языка не знает. И заявил, что он будет делать обычную операцию, то есть пополам разрезать.

— Ах, так! — вспомнил я наказ друзей. — Тогда я не согласен!

Доктор не обиделся и не удивился, но засобирился, сославшись на занятость. Наскоро попрощавшись и пожелав мне удачи, он вышел из палаты и велел медсестрам вытащить из моей вены катетер и проводить меня до лифта. И чтобы духу моего здесь больше не было!

Зато другой катетер оставили, и побрел я с двухлитровой емкостью в руке, куда вместо мочи весело струилась кровь, делая мое лицо все блее и одухотвореннее.

Жена моя с машиной уже ждала внизу.

И вот я в другом госпитале, где мне пообещали лапароскопию. Тут тоже мешкать не стали — операция срочная. Сказали отдохнуть денек дома и к семи утра приходить.

Пришел я к семи утра, а они мне говорят, что в госпиталь абы кого не пускают, сначала надо тест на ковид сдать. Я говорю:

— Вы что, сдурели? Я к вам не на вечеринку, а на операцию пришел, между прочим!

— Ничего не знаем, такой порядок!

— Да пожалуйста, мне не жалко!

Ну, сделали тест. Подождали немного, а потом и говорят укоризненно:

— Ну вот, сэр, результат-то положительный!!!

— Ну и что мне теперь, домой идти?

— Нет, подождите! Давайте еще раз попробуем.

— Ну пробуйте-пробуйте. Отчего ж не пробовать, если у вас рабочее время!

А там небось хирург в вожделинии все ножи на нет сточил, анестезиолог, поди, весь материал уже на себя перевел от волнения, а медсестры пока друг на друге тренируются.

Вторая проба нашу жизнь не разнообразила. Они давай звонить хирургу, дескать, так, мол, и так, больной-то неблагонадежный. Что делать будем?

— Что делать, что делать?! Давайте его сюда немедленно!!! — прорычал кровожадный хирург.

Я попытался укорить их:

— Зачем же вы мне, собаки, дважды тест делали, если все равно уже твердо резать решили?

Тут кто-то из толпы собравшихся крикнул:

— А чего с ним разговаривать, валите его на каталку, ребята!

Меня свалили и повезли. Сначала в палату привезли, где я буду реанимироваться. Если, конечно, из операционной меня не вперед ногами вывезут. Дорогой я их уговаривал не перепутать и вырезать мне именно правую почку.

— Вы, ребята, для верности, чтобы не ошибиться, мне на правую руку бирку повесьте!

— Лежи-молчи, а то мы тебе раньше нужного на правую ногу бирку повесим.

Палата мне понравилась, светлая, со всякими пультами управления кроватью, телевизором и медперсоналом, который незамедлительно пожаловал знакомиться. Я их всех попросил не перепутать мне почку. Они обещали, но каждый из них почему-то интересовался, как меня зовут, хотя мое имя было написано на двери моей палаты, в ногах моей кровати и чуть ли не на лбу.

Наконец за мной пришли и прямо с кроватью куда-то повезли. Возчиков было двое, они оказались очень любознательными, и каждый из них по два раза спросил у меня мое имя, на что я напомнил, что больная почка у меня правая. Завезли меня в лифт, а там оказалась попутчица. Она открыла было рот, чтобы спросить, как меня зовут, но я опередил ее:

— Правая!!!

Понял я, что они тоже очень опасаются перепутать, только не право-лево, а пациента.

Наконец меня привезли по адресу, переложили на операционный стол, и куча народу по очереди стала пытаться, как меня зовут. Я как вежливый человек пытался удовлетворить любопытство всех, но, кажется, не успел, а они все вдруг перестали интересоваться моей анкетой и стали спрашивать, как я себя чувствую. Спасибо, отвечаю вежливо, и вам не хворать. Хотел было попросить за правую почку, но понял, что это уже ни к чему.

Повезли меня обратно в палату, и всю дорогу я шутил и балагурил. В палате меня уже ждала жена, которую в госпитале приняли за дочку, и еще сестренка моя Альфия зачем-то прилетела из Лондона.

Вспомнился почему-то Швейк, и я пробормотал:

— А здесь недурно! Нары из струганого дерева!

Оказывается, они ждали меня уже пять часов. А я ничего и не заметил — вот что значит добротные препараты! Весь остаток дня я был бесконечно счастлив и весел, делился со своими девчонками радужными планами на светлое будущее...

3

Ух ты! Я дома и даже сам хожу по стеночке до туалета! Если это мне вдруг неизвестно, за что дана еще одна попытка, я ее недостоин. Но если вы настаиваете, все теперь будет по-другому. В прошлой жизни я пил, пил, изредка ласкал детей и еще реже писал. Теперь же буду больше общаться с детишками и изредка писать. А может, и не изредка.

Несколько лет назад прочитал мемуарную книгу Войновича «Автопортрет», и тут вдруг вспомнился один эпизод оттуда. Однажды с сердцем Владимиру Николаевичу стало нехорошо, и жена его привела к видному немецкому кардиологу: Войновичи жили в Германии.

Осмотрел врач Владимира Николаевича, обследовал досконально и говорит: да, есть проблемы. Вам, говорит, надо срочно бросать курить.

Жена Войновича Ирина подхватила радостно:

— Вот именно! Вот именно! И пить!

Доктор посмотрел на нее искоса и не поддержал:

— Нет, пить можно...

И продолжил рассказ о состоянии сердечной мышцы пациента. В какой-то момент он опять вспомнил про курение, и Ирина опять воодушевилась:

— Ну да, если пить понемногу, то конечно... Вот если бы меру знать... А так-то где уж... Надо завязывать с алкоголем. Правда?

И она заискивающе посмотрела на доктора. Но тот никак не хотел ее понимать:

— Нет, пить можно!

И вот вчера я вспомнил. Вчера у меня был юбилейный десятый послеоперационный день, и доктор, делавший мне операцию, по такому случаю пожелал меня осмотреть.

— Как себя чувствуете, сэр? — начал доктор.

— Отлично! Первый раз так хорошо!

Я, конечно, с женой приехал, и она давай пытаться эскулапа: какие будут рекомендации? Диета, там, и прочее.

Доктор решил ее порадовать:

— А не беспокойтесь вы. Все вашему мужу можно!

— Как все? — с досадой воскликнула обескураженная Рита.

И тут же задала наводящий вопрос:

— Алкоголь-то ведь нельзя, правда?

— Ну почему же? — добродушно возразил доктор. — Можно!

— Ну да, ну да... Но у нашего больного такая особенность: он за вечер три-четыре литра вина усидеть может!

— Ну, это у кого какой аппетит, — не желая спорить, пошутил доктор.

— Да, аппетит и утром следующего дня тоже...

— Ну и на здоровье!

Рита сдалась, а я решил закрепить успех:

— Доктор, я привык круглый год купаться в море. Можно мне уже снова начать плавать?

— Да вы что, сэр?! Ни в коем случае!

— Ага-ага... А вот я еще ходить полюбил в последний год, ходил каждый день по десяти километров. Можно возобновить?

— Что вы, сэр! Не более двух километров.

«То есть до магазина и обратно», — удовлетворенно подумал я, но вслух ничего говорить не стал.

Мы ехали домой, и я не уставал восторгаться высоким профессионализмом своего доктора. А Ритуля, по-моему, в нем несколько разочаровалась.

Кстати, про курение Ритуля доктора вообще не спрашивала, а он и сам эту тему не поднимал. Дело в том, что к нему я уже пришел некурящим — мне так надоели вопросы, курю ли я, пока мне ставили первоначальный диагноз, что я еще до операции понял, что не курю, оказывается.

А с Владимиром Николаевичем Войновичем мы в последний раз виделись в холле лимасольского отеля «Аполлония» лет за шесть до описываемых событий. Он тогда уже торопился на самолет и пообещал, что выпьем в следующий его приезд. Но на следующий год я в это время как раз уезжал в Москву проститься с умирающим от рака отцом, а на следующий год ушел уже и сам Владимир Николаевич.

Стал я задумываться о разном. Например, о том, что пора бы мне зоопарк свой закрывать. И не потому, что кадровые проблемы надвигаются, но и территориальные: мы переезжаем в новый дом. А в новом доме места будет мало не только для индюшек, но даже и для рыбок. Прежде я думал, что индюшек мы съедем, а сейчас что-то и к ножу рука не лежит, и аппетита нет. А рыбок аквариумных вообще замучаешься потрошить.

И тут подумал:

— О! Отвезу-ка я всю эту прелесть к Роберту!

Роберт — хороший мой друг и совершенно оголтелый держатель приюта для бездомных и больных собак. Он словак, но по-русски очень даже неплохо говорит. По-знакомились мы с ним случайно лет пять назад.

Однажды хорошая наша подружка прослышала про альтруистический собачий приют, куда можно приехать и поводить на поводке приглянувшуюся собачку по близлежащим красотам. Прослышала и повезла туда свою доченьку, которая очень любит собачек.

Погуляли они, восторгаясь собачками и их зрителем, и он им решил еще и другую часть своей фермы показать. А там рыбы в огромных аквариумах и количествах! Да-да, не рыбки, а рыбы или даже рыбищи, потому что некоторые из них выходили размером больше метра.

Гости так обалдели от увиденного, что Оля набралась смелости и сказала, что у ее друга завтра день рождения и он аквариумист с более чем пятидесятилетним стажем. И можно ли у вас, Роберт, купить рыбку в подарок другу? Роберт тут же бесплатно отдал Оле пару великолепных дорогостоящих, не скажу, рыбок — они были сантиметров по пятнадцать.

И я, конечно, захотел сам увидеть этого дарителя породистых рыб.

Роберт оказался на целых тринадцать лет моложе меня, но с таким испитым лицом, что мы выглядели ровесниками, и все возрастные границы между нами рухнули. Но он уже много лет был в завязке, и я имел шанс через несколько лет стать его дедушкой. На фотографии, конечно.

Потрясающим другом оказался Роберт. Он мне дарил аквариумы и оборудование для них, корм для рыб, которые сам получал от дарителей — никакого финансирования ниоткуда его приют не получал. Одной привилегией от своего приюта Роберт беззастенчиво и нагло пользовался — любовью сотен безногих, безруких и безглазых больных собак.

Поэтому я Роберту даже звонить не стал — сразу поехал выбирать вольер для своих индюков.

Мы давно не виделись, и он встретил меня очень радушно.

— Ты хочешь, чтобы я забрал твой зоопарк? Ну почему же нет, изволь!

— Ну вот спасибо, дружище! — кинулся обнимать его я.

— Только я тебе должен сказать, Маратка... У меня последняя, четвертая стадия рака легких.

Роберт заулыбался победно и закинул на голову свою майку. На груди были следы от недавней операции.

А я тогда еще не знал, что у меня уже тоже рак легких в заключительной стадии, и тоже вскинул майку.

— Щенок! Из вас, легочников, при нынешней науке только редкодырчатые дуршлаги делают. А мы, почечники, наполовину разрезаемся!

Мы обнялись с Робертом, и он прошептал мне на ушко, что щенок-то я, поскольку он уже восемь раз химиотерапию перетерпел. А я сколько раз?

Роберт, оказывается, вначале не имел страховки, и операцию ему сделали за счет богатых не только деньгами, но и душой людей. Потому что сеанс химиотерапии восемь тысяч евро стоит, и так каждые три недели. И кто-то оплачивал эти счета.

И кто-то купил Роберту «ленд-крузер», чтобы ему не очень жестко было больших собак катать. И кто-то нанял трех работников, чтобы теперь они кормили рыбок и собачек и следили, чтобы они вместе со зрителем своим были веселы.

И Роберт был очень весел, когда в тот день мы с ним увиделись:

— Что, Маратик, неужели, если плакать мы с тобой будем, нам будет легче?

— Нет, дорогой мой Роберт, я люблю смеяться. Вообще люблю смеяться, а с тобой мне особенно радостно.

4

Жизнь прекрасна и удивительна. То, что прекрасна, я особенно сильно удивился, поняв месяц назад, что болею очень нехорошо. Я сразу полюбил своих близких сильнее и стал сердиться на себя, что любовь свою прежде скупно показывал.

А друзья у меня чудесные! Нежные и трепетные, как лесная лань. Не хотят они меня расстраивать, а только радовать хотят.

Пожаловался я в гостях в дружеской семье за ковшом сидра, что вот, мол, шел-шел, никого не трогал, а они накинудились и почку у меня отняли. Правую, любимую. Я ее, может быть, продать собирался, чтобы левую подлечить. Так эти шакалы в белых халатах и разговаривать со мной не стали.

Друзей прямо в хохот кинуло от моей новости. Особенно Лариска смеялась:

— Вот тоже дурачишка, нашел чем хвастаться! У сестры брата моего свекра почку отняли, тьфу, почку, когда ей едва за шестьдесят перевалило. Так она еще сорок лет прожила! Всех пережила! Внуков похоронила!

Я было попытался возразить, что не хочу хоронить внуков, но тут муж Ларисы включился:

— А у меня, Маратик, был знакомый — ты его не знаешь — ему, даже не помню когда, почку отняли — как раз правую!

— И что?

— А то, что он с тех пор два раза от сифилиса лечился и три раза от белой горячки!

— Илюшка, я не хочу лечиться от сифилиса! И почему это я не знаю твоего знакомого сифилитика с белой горячкой?

— Ты тогда уезжал к бабушке и все пропустил!

И все остальные друзья тоже меня на смех подняли, узнав, что у меня отняли только одну правую почку.

Ладно, подумал я, ладно, чего я, действительно, кипишую.

Но люди в белых халатах не унимались, продолжали искать во мне что-то свое любимое и таки нашли.

— Наверное, нам придется от вашего левого легкого немножко отрезать. Так, самую малость! Но это еще не точно! Вы не возражаете?

— Я? Возражаю?

Последний раз я пытался возразить, когда мне, первокласснику, сломали палец неразорвавшимся снарядом. Нет-нет, я не партизанский сын полка, просто школа наша была возле танкового училища, и там мы собирали металлолом.

Ну, в общем, пошел я опять друзьям жаловаться, а они еще пуще надо мною потешаются:

— Да ты издеваешься! Ну ладно, в прошлый раз хоть целую почку отняли, а сейчас ведь будет только кусочек легкого! Ты знаешь, сколько людей на земле потеряли разного размера кусочки легких?

— Даже не представляю! И что они?

— Пьют, гуляют и веселятся!

— Друзья, а нельзя это все делать без отъема частей моего ливера?

А они мне назидательно:

— А это тебе потому, дорогой наш дружище, что в первые шестьдесят лет ты выбрал весь ресурс, что тебе был выделен ненавистным тебе Господом Богом!

Ну ладно, пошел я вспоминать, как хорошо мне было, когда меня не свежевали, как молочного поросенка перед копчением. Прилег я вздремнуть, а за мною кто-то бежит, ноги сбивая. Оглянувшись, а это некто в белом халате, запыхался весь:

— Сэр! Я спешил вам сообщить, что не только пить, но и курить вам опять можно. Ни в чем себе больше можете не отказывать!

— Что, не помогло отрезание разных частей моего тела?

— Почему же не помогло? — обиделся доктор. — Вот же, мы с вами еще разговариваем!

Пошел я к друзьям грустной новостью поделиться. А они мне:

— Ха, опять он нас всех обштопал!

— Ну, ты хитрец, а ведь всю жизнь татаринком притворялся!

— Маратик, ты сам-то видишь, как ты всех нас обошел! Нам здесь еще мучиться и мучиться, а у тебя уже не будут болеть ни спина, ни ноги. Ты не будешь больше вскакивать по ночам оттого, что ноги судорогой сводит или руки. Неблагодарный!

Я уже говорил, что так совпала моя болезнь, что нам переезжать надо в другой дом. И конечно, все мои друзья умоляют меня позволить помочь с упаковкой вещей. А я не люблю суеты — сам я, сам. Но у жены моей подруга есть, и у нее муж тоже чувствует себя очень нехорошо. И подруга говорит, что они с мужем приедут помогать, потому что он очень хочет. Ну как тут откажешь?

Муж ее, голландец, мне в сыновья годится, но успел отличиться. У него рассеянный склероз, и сейчас у него стремительным домкратом падает зрение. Он видит уже хуже, чем я, и ему Европейский союз даже собаку-поводыря выделил за тридцать тысяч евро.

Когда в первый раз они приехали к нам, я просто обалдел, хоть и видел в этой жизни уже очень много. Сандрос был полон энергии, а его поводырь полон дружелюбия. Эту огромную, с теленка, собаку моя младшенькая сразу принялась таскать за ее огромные уши, а я воздержался, чтобы уделить внимание гостю, которого Евросоюз такими дорогими собачками балует. И этот Сандрос, хоть и говорил со мной по-английски, очень симпатичным человеком оказался.

Он так весело стаскивал коробки с третьего и второго этажей, что я усомнился, что он безнадежно и смертельно болен. Они еще и еще приезжали помогать нам.

А сегодня жена Сандрика, как я для себя его обозвал, Света, позвонила Ритуле и объявила, что привезет его одного, буквально на часок. Пусть он поработает, пока она делами занята. Пусть, конечно. Они приехали, и Олаф, поводырь, побежал в дом посмотреть, не надо ли помочь моим девочкам. А мы с Сандриком сели во дворе возле разверстных коробок и тихо так накидались винушкой до изъятий любви. Несколько раз я в магазин дополнительно ездил.

Сандрос уговаривал меня забрать его почку, но на крыльцо вышли моя Ритулька и его Светулечка. Они попросили своих замечательных парней уговорить на се-

годня, ведь завтра Марату в онкоцентр ложиться по поводу теперь уже легких. Сандрос встрепенулся и пообещал мне и легкое тоже отдать.

Странная штука жизнь. Всякий раз есть чему удивляться. То улыбке, ни за что вспыхнувшей тебе навстречу на лестнице Эйфелевой башни, то незнакомый человек подошел и погладил тебя по голове в Стамбуле.

Всю жизнь я провел в окружении прекрасных друзей. Теряюсь в догадках, откуда они всегда брались и за что меня любили. Но когда я один, мысли меня одолевают одинокие и грустные. Что-то не так у меня в голове. Я даже в машине должен ехать, слушая какие-то чужие истории, чтобы не думать о своей.

Хотя жизнь, она ведь только начинается. Это особенно ощущается, когда тебя вывозят после онкологической операции, а наркоз еще не прошел.

В ближайший понедельник снова на операцию ложусь. Там доктора решили в легких моих поупражняться. А почему нет? Ведь те, с кем я рос на Первой Моторной улице в Химпоселке города Чирчика Ташкентской области, умерли давным-давно. Я слышу их голоса и воспоминания за них пишу.

Они столпились у ворот:

— Дружище, ты слишком хитрый! Почему мы давно здесь, а ты все еще там?

— Простите, братцы! Но не мог же я все быстро обстригать. Сначала родителей не хотелось расстраивать, потом детей сиротить было жалко.

5

Сегодня выписался из клиники с гордым названием «Германский онкологический центр». Ну они там, действительно, молодцы — ряд современных красивых корпусов, в коридорах портреты Джона Леннона, Ринго Стар и других знаменитостей. Оборудование опять же очень впечатляет. Не меня уже, конечно, — я всякого оборудования навидался и в других клиниках и госпиталях, а районных поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов у нас тут нет.

Со мной одновременно мой близкий друг, еще чирчикский, болеет похожим, только в Москве, и мы постоянно обмениваемся впечатлениями. И вот он грустит, что в Москве лекарства очень дорогие и палаты в госпиталях не такие, а мне как-то и сказать нечего. Обидно немножко — всю жизнь мы на родине медициной бесплатной гордились, а халява ни за что ни про что меня в обществе со звериным оскалом бездуховности ждала. И это при том, что я ни дня на них не работал!

Но и на солнце есть пятна: макароны варят здесь тоже неправильно. Хотя это следует списать на мою привередливость: мне не всякий итальянский ресторан угодит с варкой макарон.

Так вот, в последние полтора месяца я необычные для себя интересы в жизни обнаружил и множество приятных знакомств приобрел. Мне даже кажется теперь, что люди, работающие с онкологическими больными, особенно хорошие, и приятные, и добрые, хотя мой московский друг моих взглядов не разделяет.

В другом госпитале искали-искали и все-таки нашли у меня в легких что-то не то, и в немецком тут же всполошились:

— Мы сами ему биопсию сделаем, сами! Хватит вам его правой почки!

И вот, как обычно, к семи утра я приезжаю в клинику, теперь уже немецкую. Они определили меня в палату и дали полчаса полежать, послушать вышеупомянутых знаменитостей, пока мне в вену какой-то особо громоздкий катетер вшивали.

Отсутствие вен у меня такое, что вставить в них ничего нельзя. Только впихнуть, как в фильмах для взрослых. Недаром клиника немецкая.

Потом пришли молодые веселые медсестры и покатали меня с кровати в операционную. Глядя на их молодость, и я развеселился:

— А слабó, фройляйны, куикли-куикли меня поката́ть?

Оказалось, не слабо, и мы влетели в лифт так, что мой катафалк едва не пробил противоположную стену.

В операционной меня огорчили, что общего наркоза не будет, а я ведь в последнее время к нему так прилаhdился. Всякий раз в отходе от общего думаешь, что с выпивкой подошло время расшаркаться. Зачем читать всякую ерунду, когда есть Фазиль и Воннегут?!

Оказывается, наркоз невозможен потому, что я должен буду вдыхать, выдыхать и задерживать дыхание по приказу. Ладно, мне-то это не в труд — я ведь так первую половину жизни и прожил.

Велено было мне лечь на живот, и врач в тонких очках принялся всаживать двенадцать ножей в спину пионера-героя. Было больно, но терпимо. С годами физическая боль вообще притупляется, а духовная только вызывает недоумение.

Час они меня терзали, вкатывая меня в томограф и выкатывая, чтобы вонзить новые ножи, но я всем был доволен. Сняв меня с эшафота, эти добрые люди пообещали мне, что какое-то время я буду кашлять, все вокруг забрызгивая кровью. И снабдили меня емкостью и салфетками, чтобы я не забрызгал кровью свой телефон.

— Вы тут сумасшедшие! Какой телефон?! У меня кровью вся душа не забрызгана, а залита из брандспойта.

Эскулапы укоризненно посмотрели на анестезиолога.

В палате меня оставили в покое, предупредив, что сильные боли не надо терпеть — у них всегда наготове капельница. Я походил, попробовал кашлять — ничего не вышло. Вышел в коридор, и ассистент, увидев меня гуляющим и дирижирующим неслышной музыкой в голове, упал в обморок. Сбежавшийся народ обругал меня и велел лежать, не вставая, хотя бы два часа.

Два часа я лежал, и персонал уговаривал меня согласиться на обезболивание. Я был готов только на общий наркоз.

«Всю ночь кричали петухи...» Ах, нет. Всю ночь мне мерили давление и пульс. И уговаривали снять боль. А мне не было больно и хотелось крикнуть им слова благодарности:

— Мне не больно, дорогие мои, молодые и красивые! Я вас люблю!

Но у меня чудовищная и безжалостная память, которая все жилы мне перекрутила.

Мне было десять лет, и я лежал в больнице, чтобы никчемные глазки превратить хоть в какое-то подобие видящих. Это была Первая городская больница города Чирчика. В палате напротив моей лежал старик, который монотонно кричал каждые тридцать секунд. Кричал днем и ночью. Трое суток он меня терзал, пока не замолчал. И я на всю жизнь возненавидел людей, которые позволили ему это.

А я счастлив и люблю! Мне не будет больно. Только бы шестеро моих детишек были счастливы. И я вместе с ними буду смеяться и радоваться.

Раньше меня штормило не по-детски насчет рукописей моих. Начну одну вещьцу, дойду до третьего слова и принимаюсь за следующую. Потом допишу. Через двадцать лет возвращаюсь к первой, когда у меня уже начатых рукописей как пьес у Шендеровича¹. Но только он, хитрый, дописывает их тут же, как начал.

¹ Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

А когда в больнице меня огорошили, я строго пообещал себе не начинать новых рукописей, пока не открою дверь хотя бы двум топчущимся на выходе. Сказал — и тут же начал новую, задвинув пока эти две. Зарекалась свинья в грязи валяться! Самому стыдно, но зуб даю — за десять дней закончу эту маленькую смешную повестушку.

6

Жизнь прекрасна и удивительна. Как же она прекрасна, братцы! Но удивительно, что понимать это начинаешь, когда тебя уже трясут за плечо:

— Эй, юноша! Ваша остановка!

— Как это, как это, как это?! Совсем не моя! Я только вошел!!! Да нет, я только собирался войти!

— Давай-давай, не разглагольствуй! Собирай манатки и на границы 1997 года! Что-нибудь успел накопить?

— Да когда же ж? Я вот только-только собрался рассказик написать, хороший между прочим, а вы меня уже с подножки гоните!

— Что-то долго ты собирался с рассказиком! Другие люди, меньше твоего проехавши, успевали собрание сочинений в пятидесяти пяти томах выдать в синем переплете! А ты-то что делал все эти годы?

— Что делал, что делал... Многое делал... То одно, то другое... Все разве упомнишь...

— Да чего тебе вспоминать-то — всю жизнь пил да гулял, как тварь последняя! Не упомнит он...

— Ах так?! Тогда я вам скажу, что не приведи господи вам встретить ваших других людей с пятьюдесятью пятью томами! Такого вашего другого человека лучше было бы еще дедушкам и прадедушкам трамваем переехать! А я своим сволочным поведением никого не обижал, кроме близких, конечно, но без этого не бывает. Кстати, обратите внимание, как я виртуозно числительные склоняю! Вот выйду я из трамвая, кто у вас будет числительные склонять?

Да, нынче такому на филфаках не учат! Не говоря уже о том, чтобы разницу между частицами не- и ни- знать. Про эти частицы раньше многие знали. Ну, не певцы, конечно. Помню, еще в прошлом веке, вернее, в прошлом тысячелетии одна знаменитая певица из каждого окна сокрушалась: «Жизнь невозможно повернуть назад, и время НЕ на миг не остановишь...»

И я диву давался: ну ладно, певица — с нее какой спрос, а что же автор слов ей не поправит? Или он так и написал?

Зачем это я, однако, прошлое тысячелетие кинулся тревожить, когда меня сегодня с трамвайной подножки спихивают самым беспардонным образом. А я кричу, что не согласен, потому что жизнь прекрасна, а я так ничего и не успел об этом сказать. Спихватился, когда не я уже им, а юные девчонки втыкают мне свои многолитровые капельницы. Нет, не ожидал я от жизни такого коварства и подлянки.

А часики тикают, тикают, тикают,
тикают ночи и дни...

Да что же они так быстро тикают! Предупреждать же надо!

Я иду по бесконечно длинному коридору, а навстречу мне все люди, люди, люди. Они молодые, красивые и улыбчивые. Они спрашивают меня о чем-то, не уставая улыбаться, и зовут за собой. А я только беспомощно развожу руками, потому что я должен

в другую сторону. И зачем это они, молодые и красивые, улыбаются мне? Какая им выгода?

Девяностолетняя мама из Москвы приехала уговаривать, чтобы я не уходил раньше ее. Пожалуйста, говорит, живи, пока я живу.

А я, забравшись на вершину горы Олимп, осматриваю, что умею, то есть капот своей машины, уходящий в бесконечность моих глаз, и сетую, что, на мамино горе, ничего-то из меня не получилось — ни космонавта, ни нефтепромышленника, ни хоть какого-никакого репортера или журналиста, чтобы соседкам показывать газету.

Мне очень неловко перед мамой за то, что я не стал нефтепромышленником или хотя бы космонавтом. Хорошо в этой истории то, что Федерация космонавтики все-таки отметила мои заслуги в космосе особой медалью, а плохо то, что мама говорит: я тебя не для того рожала, чтобы ты нефтепромышленником не стал!

Она очень неумеренная читательница, мама моя. Читает безо всякой меры и удержу!

Раньше и я так жил, без удержу к печатному слову. У нас с ней и близорукость когда-то была одинаковая — минус три, когда я был совсем маленький.

Приехавшая мама захотела вдруг все мои книги перечитать.

— Мама, да ты же читала их все и, помню, не слишком одобряла.

— Давай-давай, я еще раз хочу прочитать! Только не про Окуджаву!

Мама читала и все время плакала или смеялась. Мне понравилась ее реакция, я именно так и хотел написать.

А потом мама вдруг каяться стала:

— Прости, сынок, что мы тебе любви и внимания недодали. Рос ты, как подорожник, сам по себе. А нас только и хватало, чтобы чтение тебе запрещать, а то ты совсем ослепнешь. И в больницу тебя клали каждое лето, чтобы ты не ослеп. Мы с папой все время на работе были заняты, иногда от темна до темна. И гордые были, и радовались, что мы так нужны на работе. А то, что детям нужны, не понимали. Прости нас, сынок, из тебя ведь приличный человек мог получиться, непьющий. Виноваты мы с папой очень перед своими детьми!

А я ей смеюсь в ответ:

— Мамочка! Ты напрасно посыпаешь голову пеплом! Это оттого, что ты ничего не помнишь и не понимаешь! А я помню и понимаю все лучше тебя, прости. Все, что вы с папой делали в жизни, было от души и по совести, а значит, правильно.

Я сейчас тебе расскажу, мама. Я помню, как вы с папой, дети войны, голодали, я помню, как он скитался беспризорником. Я помню, как война окончилась, и вы такие счастливые были — ты даже папу своего увидела. Ты не помнишь, а я помню, хоть меня там и не было. Помню, как вы хотели выучиться, чтобы не голодать и не быть беспризорниками. И вы выучились и стали очень нужными стране людьми. Очень, очень нужными, потому что «КОММУНИЗМ — ЭТО МОЛОДОСТЬ МИРА, И ЕГО ВОЗВОДИТЬ МОЛОДЫМ». Сейчас мне никто не поверит, но вы тогда верили в коммунизм!

На вас нет греха — вы же не виноваты, что вас развели, как лохов!

Меня тоже обманули, и я очень хорошо помню, как про коммунизм нам учительница в первом классе рассказывала. Я сидел за партой и удивлялся, как же мне в жизни повезло! Ведь мог же я родиться где-нибудь во Франции или — страшно даже подумать — в Америке! А вот поди ж ты! Никогда мне в лотерею не везло — а тут! Пусть один раз всего, но как!

И радость вперемешку с гордостью переполняли меня! Переполняли, переполняли, я чуть не лопнул и даже марки почтовые собирал про великих революционеров и коммунистов. И читал про них, читал...

Читал я, читал, читал, читал и дочитался — там, где гордость была, одна лишь горечь осталась. А там, где радость — алкоголизм.

— Сыночек, зачем ты все это помнишь? Мы же с тобой скоро уйдем!

— Это оттого, мама, что память моя болит. Зато я теперь счастливый, каким не был, когда был здоров. Это счастье, когда боль отступает, а раньше я этого не знал.

Я теперь даже молиться умею, хотя никогда не верил в Бога, а религию просто ненавидел, как футбол.

Господи, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого.

Дай мне, Господи, радости встречать рассвет и провожать заход солнца, как это делают имеющие разум твои сыновья и дочери. Было такое давно — я стоял и смеялся, глядя, как из моря выходит диск солнца цвета глазуньи. Теперь снова научился

Да что же это я все «дай да дай»! Бери, Господи, забери заблудшую истерзанную душу, истопчи ее в пыль и пусти по ветру. Если можно — ну чего тебе стоит! — над долиной реки Чирчик.

КИМ ЧИ

Было это много-много лет назад. Однажды в суровом Японском море потерпело крушение утлое корейское рыболовецкое суденышко. И чудом спасся один рыбак — его выбросило на необитаемый остров. Много лет прожил он на острове в ожидании спасения, каждый день мучительно всматриваясь вдаль.

И вдруг однажды видит: в море опять трагедия, но спаслась одна прекрасная молодая кореянка и пытается доплыть до его острова. Плывет она, плывет, силы уже покидают ее, и тогда она кричит корейскому Робинзону:

— Помоги, добрый молодец! И я дам тебе то, о чем ты столько лет мечтал!

Кореец обрадовался и стал прыгать и плясать:

— О-о-о!!! Чимча!!! Чимча!!!

Я это к чему, собственно? А к тому, что вчера у нас встреча была диаспоры нашей узбекской. Диаспора у нас небольшая: Феликс, еврей из Хорезма, Костя и Оля, молодая корейская супружеская пара из Ташкента, и ваш покорный слуга — татарин из Чирчика. Но вчера у нас даже узбечка была — в гости приехала к Феликсу. Вообще-то, она в Америке живет, но вот приехала плов приготовить.

Феликс — старый узбек, я тоже, сорок пять лет назад навсегда покинул Узбекистан, а вот корейцы наши совсем молодые, они даже поженились тут, и у них сейчас трехлетняя дочка. Жениться на Кипре им было нетрудно — фамилию никому менять не пришлось: оба Кимами оказались.

Тут меня может спросить недоумевающий читатель:

— Хорошо-хорошо, узбеки вы недоделанные, но при чем здесь какая-то чимча? Это что, узбекское блюдо?

Нет, это корейское блюдо, но и наше тоже — узбекское, татарское, немецкое, греческое, русское, уйгурское и так далее, так далее. Нас много там собрали. В небольшом двухсоттысячном Чирчике, который был ровесником моему папе, жило около ста национальностей. Из них коренными были только узбеки, казахи и таджики, все остальные — приезжие. И это очень плохо, если, допустим, межэтнических конфликтов кто-то ждет. Но мы не ждали и радовались, что в той тяжелой и веселой жизни мы оказались вместе. Может быть, не все радовались, но я безумно благодарен судьбе, что жил с ними, ел с ними, плакал и смеялся с ними, качал люльку с соседской деточкой.

Мы закрывали глаза на мелкие чудачества соседей. У казахов, скажем, кумыс такой же, как у татар, и здесь вовсе не за что бить морду друг другу. Но есть же и принципиальные разногласия! Казы, скажем, конская колбаса, это же для нас святое, все равно что чимча для корейца! И здесь полное поле для геноцида! Вот, скажем, всякий же дошкольник в Австралии понимает, что мясо валлаби кушать духовно, а мясо опоссума безнравственно. Так и с казы. Казахи — вы не поверите — конскую колбасу казы не вялили, а варили! Ну, разве это не безнравственно? А мы ничего, ко всему привыкли. И нынче я затрудняюсь сказать, какая казы вкуснее.

К счастью, казахам с татарами долго спорить не пришлось — бабушка Яга Софья Власьевна заботилась, чтобы никому скучно не было, и она еще тысячи и тысячи людей разных национальностей подогнала сюда, в казахстанские степи.

Некоторые — евреи и татары — даже добровольно сюда переселились, остальные, как положено, под дулом автомата. Когда я про добровольцев-татар сказал, я, конечно, не имел в виду крымских татар — те под дулом.

Им было очень холодно, очень голодно и очень жарко, и вода дизентерийная. Очень многие умерли. Но те, что выжили, многому научили друг друга: и баклажаны по-гречески, и рулька по-немецки, и варенья разные, и колбасы, и еще много-много всякого сладкого горьким людям.

Про чучвару я мог бы сейчас пару-тройку лекций с ходу прочитать, но сегодня случилось про чимчу вспомнить. Она очень острая, моя чирчикская чимча, которая продавалась в тугих тубах из полиэтиленовой пленки, перевязанных суровой ниткой, по одному рублю за большой пакет и по пятьдесят копеек за маленький.

Она очень острая, эта корейская чимча, и правильнее говорить ким чи, но мне привычнее так, как называли ее в Чирчике. Я ее очень люблю, особенно если вместе с горячими узбекскими лепешками и пухлыми от перезрелости помидорами с намечающимся целлюлитом.

В 2015 году ЮНЕСКО внесла божественную чимчу в список высочайших достижений человечества, а в Торонто, Зальцбурге и Куала-Лумпуре открыты культурные центры с монументами чимче и музеями ее имени. Я ее и сам люблю готовить.

Почему я так неистово люблю чимчу? Видимо, потому, что это — частичка моей родины. А люди, сидящие со мной в кружок за трапезой, — мои братья. И это уже навсегда — глаза закрою, вижу нас сидящими в кружок. А рядом река камешками перебирает:

— Чир-чик, чир-чик, чир-чик...

ОН ПОЗВОНИЛ...

1

Он позвонил и представился знакомым моего ленинградского приятеля. Ой, нет. Сначала он не позвонил. Сначала случилась перестройка.

Перестройка. «Совок» хоть и тронут уже ржавью, но еще кажется, что это только снаружи. И в страшном сне никто не видел, что конец совсем близко. Или в приятном сне, неважно, главное, что не видел никто. Теперь, правда, чем дальше, тем чаще встречаются люди, которые давно все знали и предвидели, но тогда они стеснительно молчали.

И вот гласность, понимаешь, ускорение и плюрализм... Они как наберут силу, как снова зашагаем мы вперед семимильными шагами! Да что там зашагаем — побегим, с ветерком догоняя и перегоняя Америку! У нас это издавна любимый вид спорта.

А главное — новые формы хозяйствования, возможность не батрачить на неведомого дядю, как это было принято семьдесят лет, а самому зарабатывать. Зачатки свободного предпринимательства, кооперативы со своими уставами, директорами и сче- тами в банке. Нам сказали:

— Давайте, ребята, вперед, все в ваших руках!

Но сначала, еще до кооперативов, появились так называемые центры научно-тех- нического творчества молодежи (НТТМ). Скромно и как будто даже ничего общего с предпринимательством. Само слово это — предпринимательство — пока еще вос- принималось как ругательное. От него уже и до слова «бизнес» рукой подать.

А бизнесменов мы знаем! С детства насмотрелся я в газетах и журналах на омерзи- тельные рожи тех, кто занимается этой гадостью. Все бизнесмены в карикатурах были, как правило, горбоносыми, плешивыми и старыми американцами. В отличие от ме- ня, прямоносого, красиво причесанного и молодого. Вот ничего общего у меня с эти- ми мерзкими бизнесменами не было, и тем неприятней они выглядели в моих глазах, эти акулы с Уолл-стрит.

Хотя насчет носа... Он у меня весь изломан так причудливо, что прямым его толь- ко сильно выпивший Сальвадор Дали решится назвать. Но если смотреть на мою фо- токарточку в профиль, нос мой будет вполне даже прямым. А здесь ведь главное — вид в профиль. У акул уолл-стритовского бизнеса носы в профиль фрагментами мо- сковского Садового кольца смотрятся, в отличие от моего, напоминающего Ленинград- ский проспект. И это еще неприятней. Хищные такие носы, злые, как у стервятников. Не то что у хороших людей — добрые, курносые, как у дельфинов.

Ладно, о носах и морально-этических качествах их носителей мы еще как-нибудь поговорим. Здесь есть чего возразить глупым фантазиям Ивана Ефремова. А сейчас мы за бизнес пришли поговорить, чтоб ему ни дна ни покрывши!

И вот жил я, жил, наслаждался рисунками Кукрыниксов и Бориса Ефимова, где они соревновались в кривизне носов отрицательных и в прямоте носов положительных героев. И постепенно понял, что с самого рождения я попал в королевство кривых зеркал. И прожив в этом королевстве всю свою жизнь, я не могу теперь ничего адек- ватно оценивать, даже прямизну носов.

Ну так вот, неожиданно свалились нам на голову гласность, ускорение и, не побо- юсь этого слова, плюрализм.

Народу объяснили, что бизнес — это не так уж и плохо, а где-то даже хорошо. Но если только маленький, почти игрушечный. Народ не поверил. Потому что не знал никогда, что частная собственность — это не ругательство, а просто нечто такое, чего никогда не было не только у нас, но даже и у прадедушек наших.

Ведь даже те поместья и крепостные рабы (тоже мы), что у некоторых из нас были, не были настоящей собственностью. Царь дал, царь мог и забрать, проснувшись не с той ноги. Недавно где-то прочитал, что в Японии есть маленький отель, которым более тысячи лет владеет одна семья!

Странные они все-таки люди, эти японцы! Забегая вперед, вспомню, как на исходе второго тысячелетия купил я у государства (нашего, к сожалению, не японского) не- большой подвальчик в доме хрущобного типа. Все чин чинарем: договор купли-про- дажи, свидетельство на собственность получил — вот она, частная собственность. Хо- роший такой подвальчик, только без света, трубы текут, и в образовавшихся озерцах крысиные трупы плавают. Но неважно это все — частная собственность же, можно и на ремонт потратиться. К началу третьего тысячелетия я ремонт наконец закончил, и все засияло в моем подвале! Потолки подвесные со встроенными светильниками, стеклопакеты и двери дубовые.

Тут и третье тысячелетие нагрянуло, а с ним и новый президент страны. Пришли в мой новый подвал новые чиновники, похвалили ремонт и огорошили:

— Это... Неправильно мы вам подвал продали. Передумали мы.

— Как это передумали? Вот же у меня и свидетельство на собственность есть!

— Не-не, неправильно это все. У нас московские и федеральные законы в противоречие вошли.

— А я здесь при чем? Я деньги за подвал заплатил сполна?

— О, не извольте беспокоиться, мы эти деньги как арендную плату вперед будем считать. Сидите пока в своем подвале, — милостиво разрешили мне новые чиновники нового президента и удалились.

Мне не хотелось больше сидеть в моем подвале, и вообще сидеть я не хотел. Захотелось бросить все и уехать и забыть, как страшный сон, все мои попытки заниматься бизнесом в России.

Но это все потом, а пока все очень радужно, и даже центры научно-технического творчества молодежи появились. Никакого бизнеса, только творчество. Притом научное и даже, черт побери, техническое.

2

И вот в этом еще, казалось бы, крепком «совке» начали твориться такие вещи, что дух захватывало! Зарплата молодого инженера еще была сто двадцать рублей, а в НТТМах заработки стали составлять четырехзначные цифры. В этом, как ни странно, ничего удивительного или криминального не было: молодые специалисты, объединившись в пятером-вшестером по профессиональному признаку, напрямую заключали договоры с предприятиями и распоряжались заработанными деньгами по своему усмотрению. А раньше ту же работу выполняла какая-нибудь проектная организация со штатом в двести человек. Или научно-исследовательский институт со штатом в две тысячи.

Помню один из первых своих заработков на этой ниве — договор на проект пожарной сигнализации с одним из дворцов культуры. Мы тогда вдвоем за месяц тысяч шесть заработали, если не изменяет память. И поделили их поровну. А если эти деньги поделить на весь штат проектного института, пусть даже поровну? Но нас было только трое, нам не нужно было содержать партком, профком и комсомольскую организацию вкупе с дирекцией и штатом уборщиц, поэтому зарплатка у нас вышла солидной и приятно тяжелила карманы. Проект этот мы провернули на дому, в свободное от основной работы время. Это был 1988 год, и инженер в НИИ, повторюсь, все еще получал сто двадцать рублей в месяц, а буханка хлеба продолжала стоить двадцать копеек.

Потом были еще какие-то проекты, и венцом моего предпринимательства в Узбекистане стал завод по производству мраморной крошки под городом Самаркандом. Ну, завод — это громко сказано, наверное, — оборудование стояло прямо под открытым жарким узбекским небом, и одна бытовка рядом, чтобы было где рабочим переодеться-перекурить. Ну, для начала и это неплохо, главное, что завод уже выдавал продукцию.

Предприятие по выработке мраморной крошки мы построили опять вдвоем с двумя моими приятелями. Все основное оборудование я купил на своем родном заводе в Чирчике. Купил как металлолом, как бы не за те же шесть тысяч рублей, какие мы заработали в начале предпринимательства. Но для этого пришлось сначала облазить на родном предприятии все свалки металлолома и заброшенные бездействующие цеха. Так что урона родному заводу я не нанес, если не считать, что прихватил оттуда еще своего приятеля инженера-механика. Все найденное, в том числе новоявленный главный ин-

женер будущего завода, было перевезено двумя длинномерными КАМАЗами на месторождение мрамора под город Самарканд. И через месяц завод действовал. Тогда чиновники еще не придумали миллионы всяких согласований, чтобы самим поучаствовать, поэтому мы быстро завод сделали. Конечно, если бы нынешних ушлых чиновников в те времена, мы бы и по сегодня завод не запустили.

К сожалению, воспользоваться плодами мраморного завода мне не довелось, ибо пока мы его строили, я все чаще уезжал в Москву и оставался там все дольше. И в конце концов однажды оттуда не вернулся.

Вот странная в моей судьбе закономерность: время от времени я вынужден бываю бросать все, что нажито непосильным трудом, и начинать все сначала. И в первый раз это случилось, когда я навсегда покинул Узбекистан. Все, что нажито было за долгую тамошнюю жизнь, я оставил там. Только свою огромную коллекцию марок забрал с собой. Ну, автомобиль еще перегнал в Москву. Писем от друзей и подруг еще был чемодан, но их в Москву я забирать не стал — сжег их все в банной топке. Вроде и небольшой чемодан был, но как же долго они горели! Минут сорок я с ними пропыхтел.

Все остальное оставил. Особенно жаль мне огромного количества старых книг, журналов и газет, которые я всю сознательную жизнь покупал, собирал по помойкам и тырил из макулатуры, которую мои бесхитростные одноклассники, как муравьи, тащили в школьный двор. Из остального имущества почему-то ничего больше не вспоминается.

В Москве осел, казалось, навсегда, хотя она мне и не нравилась. И действительно, почти четверть века прожил там по одному адресу. А потом вдруг снялся, как перепуганная цесарка, и улетел, опять оставив все, что нажито непосильным трудом, чуть ли не в одних трусах. И даже письма в этот раз не успел сжечь. Но марки зачем-то опять забрал.

Потом еще два-три года поклонялся по Москве, вновь обрастая имуществом и жирком. Но Москва и погода ее, стремительно меняющаяся, мне нравились все меньше, и вздумалось мне опять переехать. Подальше куда-нибудь. Выбрал Черногорию.

Уезжая, не думал, что это будет навсегда. Поэтому крупное имущество — мебель, технику — оставлял родственникам и друзьям во временное пользование, а остальное все, любовно упакованное в коробки — книги, домашнюю утварь, детские игрушки, — свалил в подвале у отца на даче. Марки спрятал понадежнее — на антресолях в гараже. Я потом вернусь и разберусь. Потом.

В Черногории надолго я не задержался — меньше двух лет прожил. Успел только обставить дом, обустроиться и садик посадить. Уезжая оттуда, я уже ничего по коробкам не упаковывал, оставил все, как есть. Только игрушки мы с женой в детскую кроватку покидали, чтобы они на полу не валялись.

Даже автомобиль на этот раз не забрал. Я переезжал на остров, машиной туда не доехать. Можно было, конечно, отправить ее паромом, но не стоила она таких затрат. Да и руль у черногорской машинки не с той стороны для этого острова.

В последний приезд в Москву обнаружил, что все более или менее стоящее из моих вещей, оставленных папе на хранение, он раздал. В подвале остался только хлам. И правильно сделал папа, потому что вся та мебель и техника, что я оставил на хранение друзьям и родственникам, давно уже устарели морально и физически.

И только марки, надежно упакованные на антресолях гаража, так и остались нетронутыми. Конечно, если бы я вернулся в Москву насовсем, а не на два дня, я бы их достал с антресолей и расставил бы свои альбомы красиво в книжном шкафу. Хотя они, наверное, истлели давно. Но я этого никогда не узнаю. Потому что не вернусь я сюда ни завтра, ни потом. Хотя бы потому не вернусь, чтобы не узнать, что марочки мои истлели.

Последние тринадцать лет я на Кипре. Барахла неизвестным образом опять накопилось столько, что и в гараже не помещается — даже сад пришлось захламить. И если вдруг опять куда-то переезжать, то все это опять бросить придется. Ладно — барахло, а курочки, а уточки, а деревья? Нет, надо найти здесь свой покой.

3

Барахолка в маленьком узбекском городе открывалась ранним утром по субботам в пойме давно высохшей реки, о которой и старожилы уже позабыли. Все, кому есть что предложить не особо придирчивому советскому покупателю, уже в полшестого утра красиво раскладывали свои богатства в придорожной пыли вокруг своих худых и натруженных или толстых больных, но тоже натруженных ног. Чего здесь только не было!

И одежда всякая, потерявшая всякий лоск и смысл, если она не военная. Последняя оставалась выглядеть горделиво, даже с не выжженными солнцем участками от ремней, портупей и дырочками от наград и знаков отличий.

Нет, ругать за бедность нашу барахолку не надо. У нас там и всякая цивильная одежда была, и не просто пиджаки и юбки. Пиджаки ценились за количество карманов в них, а юбки за количество оборок. Даже трусы, лифчики и носки ношенные тоже продавались. Но последнюю мелочовку продавец обычно в одну кучу сваливал, и жаждущие могли в ней копаться, сколько им вздумается, удовлетворяя свои эстетические и прочие потребности.

Были и другие продавцы, которые предлагали покупателю только что-нибудь железное. Ржавые болтики, замочки, задвижечки и шпингалетики составляли их основное предложение. Среди их железок попадались и не ржавые, а светящиеся благородным светом даже через патину времени какие-нибудь бронзовые задвижки или даже подсвечники, бесстыдно напоминающие, что до нашего времени было и другое какое-то время.

Почему-то ни продавцам, ни покупателям не казалась странной или даже ужасной разница между современными задвижками и старинными.

Другие специализировались на полиграфических изделиях, или на пластинках музыкальных, или на своих физических увечьях или недостатках.

Моя бабушка ни на чем не специализировалась. Она продавала все. Все, что ей домой приносили на продажу жители Химпоселка. Поэтому ее два квадратных метра на барахолке я по справедливости должен назвать универмагом. Или даже правильнее универсамом — она ведь и продукты продавала. Семечки, пастилу фруктовую собственно-го изготовления.

А вот сосед бабушкин по барахолке дядя Коля — тот специалист был. Он торговал исключительно радиодеталями. Они хоть и мелкие, но их же миллион, радиодеталей, если кто понимает. И все два квадратных метра перед продавцом были как поле с задумавшимися тараканами. Не могу сказать, что у радиолюбителя торговля бойчее шла, чем у моей склонной к супермаркетному бизнесу бабушке.

Но вот однажды в одну из суббот не с утра уже, а ближе к закрытию барахолки подскакивает к бабусиному соседу очень возбужденный гражданин. И умоляет о спасении. Ему срочно нужна некая радиодеталь, притом в большом количестве.

Оказывается, ему нужен резистор, маленький такой, зелененький, на двадцать ом, причем постоянный. Переменные резисторы, конечно, подороже будут, но ему нужен именно постоянный, которому цена две копейки и которым завалены все радиомагазины.

Кстати, отвлекаясь от повествования, хочу про переменные резисторы сказать два слова. Чтобы не подумал недоверчивый читатель, что выдумываю я все, в том числе и слово «резистор». Так вот, переменный резистор — это крутилка на радиоприемнике, например, чтобы громкость регулировать. Ну, это я для тех читателей говорю, которые помнят еще, что раньше была крутилка. А? Нет? Не помнит уже никто?

Ну и ладно! Пусть резистор останется моим изобретением!

Так вот, незнакомцу нужен был именно постоянный резистор, маленький, зелененький, с двумя проводками по концам. Ему цена, напоминаю, две копейки, и им завален весь радиоотдел нашего магазина.

А тем временем любитель резисторов на барахолке аж трясется весь. Оказывается, он специально из Ленинграда приехал. Там у них очень большой институт, и работают они над очень серьезным экспериментом, и очень срочно им кое-чего не хватает. А именно резисторов на двадцать ом. Их надо, оказывается, ни много ни мало двести семнадцать тысяч штук. Ну конечно, весь Совет Министров Советского Союза напрягли. Министерство радиоэлектроники без выходных работало, но смогло пообещать, что в такие ограниченные сроки они смогут только сто пятьдесят тысяч сделать. Выручило Министерство торговли. Оказывается, выпущено уже достаточно много этих резисторов, и они пылятся в торговых сетях нашей необъятной родины. Особенно в среднеазиатских республиках они плохо расходятся: радиолюбителей мало.

И вот ленинградский институт снарядил нескольких своих сотрудников добрать недостающее.

Сосед моей бабули по барахолке дядя Коля так растрогался и так преисполнился патристическими чувствами, что тут же согласился продать ленинградцу все, что у него есть, по пятьдесят копеек за штуку. Вообще-то, в магазине эта радиодеталь стоит раз в пять дешевле, но дядя Коля преисполнился важной государственной задачей и побоялся продешевить. Ленинградский покупатель зашикал на него — негоже подробности сделки так громко озвучивать. Можно, оказывается, по семьдесят в документах записать, а с лишними двадцатью копейками они как-то разберутся.

У продавца, к сожалению, с собой оказалось только четырнадцать штук искомых деталей, но он пообещал, что дома еще штук тридцать есть. Поехали домой, и там действительно еще нашлось. Ленинградский покупатель рассчитался сполна полноценным рублем и даже выписал квитанцию за сорок четыре единицы по семьдесят копеек за штуку. Сверхприбыльные деньги тут же поделили, но ленинградец расстроенным остался: такими темпами наш эксперимент не скоро закончится, и американцы обгонят нас в космосе, империалисты проклятые!

Покупатель очень добросовестным работником оказался и тем же вечером выехал на поезде в соседнюю среднеазиатскую республику, пообещав, что вернется через неделю, ровно к следующей барахолке, чтобы выкупить все, что успеет найти его новый друг.

Владелец радиоотдела узбекской барахолки на завтра побежал в родной универмаг, чтобы все перепроверить, и да, оказывается, позавчера приходил некто странный и выкупил все резисторы по двадцать ом.

В очередную субботу дядя Коля, объездивший за неделю все близлежащие кишлаки и выдравший из всей домашней радиоаппаратуры все кишки, сидел на барахолке праздничный и где-то даже торжественный.

Да, он не сумел собрать искомое количество, да и где уж — весь Советский Союз надрывается. Дядя Коля взял больничный на работе и за эти дни умудрился объехать всю республику в поиске нового золота. И преуспел в этом — две тысячи шестьсот штук резисторов лежали у него в неприметной сумке.

До базарного дня оставалось время, и дядю Колю обуревало беспокойство: а ну как ленинградский ученый больше не приедет? Но профессор приехал, никуда не делся. Узнав, что дядя Коля так много резисторов сумел выискать, ленинградец похвалил его за хорошую работу.

Пока профессор радовался, к нему вдруг подошли два очень скромных и уважительных узбека и говорят:

— Володя-ака! Куда же вы пропали? Мы для вас плов сделали, не побрезгуйте! Можно мы вас на полчаса отвлечем от важных дел?

Володя-ака забеспокоился было, но, увидев, что дядя Коля-барахольщик одобрительно улыбается, тоже разулыбался. И даже портфель свой с важными бумагами дяде Коле оставил на сохранение.

Едва Владимир-ака скрылся из вида — дядя Коля еще продолжал улыбаться, — как к нему подскочил какой-то другой псих и тоже русский с необычной пенопластовой коробкой в руках. Возбужденный незнакомец спросил ленинградского Владимира, и дядя Коля доброжелательно объяснил ему, что Владимир отошел, но через часок вернется. Психованный остался ждать, но очень нервничал и все время поглядывал на часы.

Володя задерживался, незнакомец все чаще беспокоил свои часы. Наконец он не выдержал и бросил свою пенопластовую коробку на землю. Оказывается, он на самолет опаздывает, а там, куда он летит, жена рождает первенца.

Попричитав, он снова схватил свою коробку и быстрым шагом пошел к выходу с рынка. Неожиданно он остановился, вернулся и раскрыл коробку, зеленеющую нутром резисторами зеленого цвета.

— Здесь пять тысяч восемьсот штук! Мне Владимир обещал по семьдесят копеек за штуку. Я вам отдам по тридцать пять копеек.

Коля, конечно, у всех своих соседей денег назанимал, но сумел набрать только полторы тысячи рублей. Эти полторы тысячи рублей дядя Коля и предложил владельцу пенопластовой коробки — все, что есть. Готовящийся стать отцом психопат еще подергался немножко и согласился. И, получив деньги, тут же побежал на самолет.

Больше дядя Коля никогда его не видел, как не видел больше и Володю-ака или вообще кого-нибудь из ленинградцев.

Надо заметить, что Володя-ака из Ленинграда не был большим оригиналом — такая схема мошенничества описана многожды, поэтому оставим о нем рассказ и вернемся к предыдущему.

4

Однако на мысли о том, что я все чаще и чаще стал уезжать в Москву и в конце концов остался там, Остапа понесло не в ту степь. Здесь надо объяснить, чего же это я, если за предыдущие десять лет, включая учебу в институте, Москву так и не полюбил, стал туда наезжать все чаще и чаще. Сидел бы себе под Самаркандом на мраморном заводе да барыши подсчитывал. Но нет, появились новые задачи.

Начиналась эра персональных компьютеров, и начиналась она, конечно, в Москве. Ну, в смысле в СССР она здесь начиналась. На Западе эта эра началась двумя десятилетиями раньше.

Плодотворная дебютная идея заняться компьютерами принадлежала моему троюродному брату, отцу-основателю нашего кооператива. Это все он. Это он, превосходя-

щий по своей талантливости, нудности и упертости всякие разумные пределы, заставил меня уволиться с химического предприятия и отправиться в свободное плавание.

Нет, здесь, пожалуй, надо вернуться сильно назад...

Вернемся во времена, когда я ни на какие авантюры нового времени и нового мышления не поддавался, а работал себе тихо-мирно на крупном химическом предприятии. И не собирался оттуда увольняться ни за какие коврижки. И тому была веская причина: я был записан в очередь на швейную машину, хотя непонятно, зачем она мне. Но если чтобы ее купить, надо несколько лет в очереди стоять, должно быть, вещь хорошая.

Дело в том, что когда я пришел в цех после окончания института, ко мне тут же подскочила симпатичная такая в рыжих завитушках председатель цехкома, взяла меня под руку и говорит, чтобы я, не откладывая, сейчас же в очередь записался на швейную машинку «Подольск».

Я попытался возразить, что шью редко — все больше крестиком вышиваю.

Ее красивые голубые глаза вдруг похолодели, как айсберг, а красивые крылья носа пришли в трепет, как крылья бабочки-капустницы в самый весенний момент сексуального восторга. И я услышал гневные слова:

— Ты что... — и дальше неперевожимая игра слов.

Я опешил и на всякий случай, чтобы избежать скандала — может, здесь у них так принято, нормальных не держат, — согласился, что да, есть немного. Но в самую меру, только чтобы мастером в их цехе работать.

Она потушила гнев и дарила меня своей улыбкой, пока я подписывался в очередь на швейную машинку «Подольск», и поводила по строчкам сладкими пальчиками незамужней ручки.

Потом она отвела меня в сторонку и, горячо дыша мне в ушко, сказала, что уже через два месяца меня в очередь на холодильник запишет вместо того, чтобы полгода ждать.

На холодильник я так и не записался, а швейную машинку «Подольск» купил бы, если бы через три года не уволился.

Так вот, мой троюродный брат сам жил в Ташкенте, но с завидной методичностью по несколько раз в неделю приезжал в Чирчик, чтобы свернуть меня с пути, как мне тогда казалось, истинного. В первый приезд он спросил меня своим бесцветным скрипучим фальцетом о моей зарплате на заводе. Я гордо ответил, что с разными премиями и добавками за вредность получаю четыреста пятьдесят—пятьсот пятьдесят рублей в месяц, и посчитал вопрос исчерпанным, потому что в то время зарплата в сто пятьдесят рублей считалась очень даже неплохой. Но кузена эта сумма не смутила, и он без всякой интонации и нажима заявил, что в НТТМ я буду зарабатывать две тысячи рублей в месяц. Минимум.

Поверить в такие астрономические суммы было невозможно, и я, советский до мозга костей человек, возражал, что все это еще бабушка надвое сказала, а здесь, на государственной службе, я уверен в завтрашнем дне.

Да, в этом и было главное преимущество социализма перед капитализмом — уверенность в завтрашнем дне. Там, в социализме, я мог быть уверен, что завтра, как и вчера, и позавчера, и послезавтра я встану в полседьмого и пойду себе на родной завод, весело насвистывая или грустно прихрамывая, в зависимости от стажа работы.

Вот хоть что бы ни случилось, а я встану и пойду. И там, на заводе — я знал это твердо — в двенадцать часов дня меня бесплатным обедом накормят. Очень вкусным обедом. Во всяком случае, тогда он был очень вкусным, я был уверен. И много, главное: супа полная тарелка, второе вообще чуть ли не из мяса и чуть ли не сметаны полстакана в придачу. И еще компот, компот не забудьте!

И на что я все это должен был променять?

Сегодня-то у меня нет никакой уверенности, что завтра будет компот. Даже наоборот, есть уверенность, что компота завтра не будет. Потому, что не пью я компот давно. И что обидно — не тянет совсем.

Возвращаясь к обеду заводскому: а хлеба вообще сколько хочешь! И все это бесплатно, напомню! Нам на месяц давали бумажную простынку талонов, ими мы и расплачивались за великолепный обед.

Мало того, нам по талонам еще в качестве компенсации за вредность (не нашу — химзавода) целых пол-литра бесплатного молока полагалось, целых пол-литра! Это уже ближе к концу рабочего дня, как бы на полдник. Многие, правда, предпочитали на молочные талоны в буфете сигареты брать, и в этом я вижу еще одно проявление торжества демократии и преимущества социализма над капитализмом.

Все это я пытался доходчиво объяснить своему назойливому кузену, который сам ни дня в своей жизни на заводе не работал, а теперь еще во что бы то ни стало решил меня вырвать из цепких лап здорового мировоззрения и коллектива. На мой последний довод мне кузен заметил, что в новой жизни я буду иметь вместо бесплатных сигарет, цена которым четырнадцать копеек за пачку, платные по рубль пятьдесят, и мне они не покажутся дорогими.

Хорошо, не сдавался я, а здесь, если однажды я не встану вдруг и не пойду на любимый завод, то самая бесплатная в мире медицина меня быстро на ноги поставит. А на работе тем временем у меня будет копиться каждый день по пол-литра молока.

Но если при всем этом однажды я таки все равно не встану и не пойду на любимый завод, меня забесплатно свезут на городское кладбище, будет бесплатно играть духовой оркестр и над свежевырытой могилой будут бесплатно говорить про меня проникновенные речи представители завкома, профкома и комсомольской организации. А на могилку мою потом поставят обелиск и оградку, и не просто железные, как всем, а из дорожной высоколегированной нержавеющей стали работы высококвалифицированных заводских сварщиков.

— А ты, ты что мне предлагаешь? Будет у вас в Ташкенте для меня оградка из высоколегированной стали? Не говоря уже про проникновенные речи завкома?

— А это главное, что тебе надо?

— Ладно, даже если я не умру и даже не заболую, завод меня два раза в год в свой собственный профилакторий устраивает. Без отрыва от производства, недалеко от проходной, чтобы близко к работе. Там я живу в теплой палате целый месяц, ем три раза в день и оздоравливаюсь душами Шарко и кислородными коктейлями. И все это совершенно бесплатно!

Дима мой — кузена Димой зовут — машет на меня рукой, как на безнадежно больного, и уезжает восвояси, чтобы через пару дней вернуться и снова меня смущать. А я уже новые аргументы приготовил:

— Летом я могу на нашу заводскую базу отдыха поехать, хоть на выходные, хоть на весь отпуск, и всю дорогу жрать там бесплатный заводской спирт самой высокой очистки!

Дима сам непьющий и некурящий, поэтому цедит сквозь зубы презрительно, что на новой работе я смогу не спирта, сколько мне влезет, пить, а коньяка французского, и не на псевдоречке Акташке, а в благородных кабаках.

Забегая вперед, должен заметить, что Дима как в воду глядел: довелось мне впоследствии напитки дорогие в интерьерах изысканных употреблять. Но что интересно: спирт на Акташке был много слаще, много...

Я еще не успел Диме донести, что на пенсию я выйду в пятьдесят лет. Потому, что за вредность (не нашу — химическую) нас на десять лет раньше других на пенсию отпускали. Не все, правда, далеко не все доживали и до этого льготного срока. А те, кто доживал, долго на пенсии не задерживались — год, два, но это детали... Про это я вовремя остановился и не стал Диме рассказывать, а вместо этого вдруг вспомнил, что у меня очередь на покупку швейной машинки «Подольск» подходит.

На это Дима слово в слово повторил вопрос, заданный мне когда-то рыжей председательшей цехкома. На что я ответил, что да, да, я такой! И не чуть-чуть, а на всю голову!

Здесь он впервые со мной согласился и резонно заметил:

— Ну, не понравится тебе на вольных хлебах, в свое родное стойло путь тебе всегда будет открыт.

Мне это почему-то в голову не приходило.

— Ну, хорошо, — наконец сдался я, — но теперь объясни, зачем именно я тебе так нужен, что ты, не жалея времени и сил, столько раз ко мне приезжал и печень мне выедал?

Дима засмеялся:

— Хороший вопрос! А ответ прост: ты умеешь разговаривать с людьми. Это, пожалуй, твой главный талант.

5

И вот теперь в Москве этот мой мнимый или реальный талант был просто необходим. Надо было протоптать дорожку к сердцу директора магазина «Электроника», что на Ленинском проспекте, и здесь таланта могло не хватить — гений нужен. Там продавался один из первых советских персональных компьютеров с красивым и неизбитым названием БК-0010. Точнее, на витрине он был, но купить его было нельзя. Существовала какая-то сложная система записей-отметаний на это чудо советской вычислительной техники, полгода надо было ждать. Причем, купив компьютер один раз, ты лишался возможности купить еще один, хотя бы снова через полгода. Паспортные данные счастливого обладателя БК-0010 вносились в магазинную базу данных.

Это при том, что стоила эта штука совсем нешуточных денег — шестьсот пятьдесят рублей! За такие деньги хороший мотоцикл можно было купить, а этот БК был размером с нынешнюю клавиатуру, только попухлее и покорявее. Собственно, он почти что только клавиатурой и был. Чтобы пользоваться им, нужны были еще телевизор и кассетный магнитофон.

— А зачем же магнитофон? — удивится нынешний продвинутый компьютерщик.

А те, что помоложе, спросят:

— А что такое магнитофон?

Ну, что такое магнитофон, я объяснять не стану, тем более что и сам уже забыл, а вот каким он боком к компьютеру тогда был, скажу. Он выполнял функцию накопителя информации. То есть все программы были записаны на кассете, которая входила в комплект. Программ было немного, в основном игры: стрелялки какие-то, поедалки типа «Диггера», но главное, конечно, «Тетрис». Это была умопомрачительная игра, на много лет сведшая с ума все прогрессивное, и не только, человечество. Кстати, этот «Тетрис» был чисто нашим, советским ноу-хау. Потом, конечно, появилась уйма разных вариантов этой игры, в том числе и на Западе, но первый был советским. Возможно, потому что наши сразу поняли, что главное предназначение компьютера —

это игры, и «Тетрис» очень помогал советскому человеку на работе скрашивать томительные годы ожидания, когда же наконец появится «Пасьянс».

Так вот, ждать полгода, чтобы купить одну корявую, об углы которой можно было одежду порвать, клавиатуру, я не мог. Тем более что не одна мне нужна была, а много. Потому, что наш кооператив нацелился на этот бизнес. А именно: покупаем в Москве компьютеры и продаем их в Ташкенте разным организациям, докупив в комплект телевизор и магнитофон.

Ходил я, ходил по магазину «Электроника» и вокруг него, да и нашел какие-то ходы-выходы. Ну, не по шестьсот пятьдесят рублей, а за тысячу получалось, но все равно хорошо, ведь комплект мы продавали уже за десять тысяч рублей.

Но не просто перепродавали, а с обучением и технической поддержкой в течение года. А техническая поддержка ой как нужна была. Очень капризные и нежные это были изделия, и постоянно у них что-то ломалось или просто не хотело работать. Наши специалисты неделями не выходили от покупателя, потому что не успевали они дойти до дверей, как снова что-то ломалось.

Поэтому мы быстро остыли к этим компьютерам и перешли на более продвинутые.

Новые назывались еще красивее — ДВК, что расшифровывалось так: Диалоговый Вычислительный Комплекс. Но остановились мы на этих комплексах не из-за красоты названия, а из-за их технического совершенства. К ним уже ни телевизора покупать не надо было, ни магнитофона. У них были свои громоздкий, но с малюсеньким экраном монитор и жесткий накопитель информации объемом аж в пять мегабайт! Это, поясню, пять миллионов байт, что всего лишь в двенадцать тысяч восемьсот раз меньше, чем помещается на крошечную, чуть больше булавочной головки, карточку, что теперь стоит в мобильных моих малолетних дочерей.

Вначале я покупал эти ДВК все через ту же «Электронику», хотя ДВК делали совсем рядом с Москвой — в Зеленограде, на заводе, который по забавному совпадению назывался так же, как и наш кооператив — «Квант». Новые компьютеры упаковывались в огромные деревянные ящики, поэтому привозили их ко мне домой на грузовике. Я тут же, даже не распаковывая ящиков, звонил специалистам с «Кванта», с которыми уже успел познакомиться, и вызывал их к себе. Потом несколько дней специалисты с завода «Квант» прямо у меня на дому пытались запустить свои замечательные компьютеры, и иногда им это удавалось, чему они сами удивлялись и радовались, как дети. Тогда я эти удачные экземпляры укладывал обратно в ящики и самолетом вез их в Ташкент. В аэропорту тоже пришлось подружиться с людьми, чтобы они принимали в багаж мои контейнеры.

Меня могут спросить: а какой дурак вообще покупал ваши компьютеры, если никто никогда о них не слышал, о существовании «Тетриса» не подозревал и, стало быть, никакой практической пользы в этих компьютерах не видел? Директора какой организации можно на это уговорить?

Оказывается, можно. Можно уговорить директора той организации, где работают наши друзья или знакомые. И если этим друзьям удастся убедить своего начальника, что XX век на исходе и без компьютера им теперь никак нельзя, то этот друг включается в группу разработчиков проекта с соответствующим материальным вознаграждением. А заодно и директор предприятия.

6

К этому времени многие наши друзья поразъехались из Узбекистана кто куда, что сыграло добрую службу в расширении географии наших продаж.

Мой самый давний друг Валера, например, с которым мы когда-то сутками в шахматы играли, обосновался под Ригой. Он там на каком-то автопредприятии сумел убедить директора, что им крайне необходим вычислительный центр, а Валера, на их счастье, как раз программист.

Я несколько раз ездил к Валере в Ригу, мы обсуждали проект с их директором, и вот наконец я еду с оборудованием. Багажа много, ящиков двадцать. К счастью, это уже не ДВК, а гораздо более современные УКНЦ (тоже красивое название!), и ящики значительно меньше. Но одному мне все равно не справиться, и со мной едет мой московский друг Леня. Он когда-то был начальником в охране, где я студентом подрабатывал, а в тот момент журналистом стал и никакого отношения к нашему бизнесу не имел. Но как другу не помочь!

Ну вот, затащили мы с Леней в плацкартный вагон наши многочисленные ящики, заставили ими все третьи полки вагона и сели на свои места, отдуваясь и утирая пот. Проводница вначале роптать было вздумала, но я с ней договорился.

Кроме вычислительной техники, наш багаж включал еще десять литровых бутылок водки.

— А это зачем? — воскликнет недоуменный читатель.

А затем, что в то время в СССР все еще продолжалась ожесточенная из последних сил борьба с пьянством и водка была в большом дефиците. Валера как раз звонил из Риги за пару дней до поездки и очень просил привезти хоть немножко водки. Хоть немножко, очень просил! Там у них с этим вопросом было почему-то особенно трудно. Рижский бальзам есть, но его много не выпьешь.

— Хорошо, но для чего надо было брать именно литровые бутылки?

А это для того, чтобы Валериной жене не показалось, что водки слишком много.

И вот сидим мы с Леней, пыхтим, отдуваемся, от погрузки отдыхаем. Вагонная обстановка ему воспоминания навевает. Он рассказывает, как они с друзьями, которые художники, каждый год на день рождения Пушкина в Ленинград ездят. Каждый год ездят, ни один не пропустили. Вот так же поездом. Вообще, друзья у нас общие, но сам я как-то ни разу с ними не собрался. А они каждый год. Ни разу не пропустили.

И ни разу не доехали, потому что всякий раз их аккуратно на полпути с поезда ссаживают, в Бологом. А я и не сомневался в способностях своих друзей. Потому что художники — они такие люди... как бы это сказать... художественные очень. Я уже рассказывал как-то, как они всем кагалом ко мне из Москвы в Чирчик на день рождения пожаловали. Но тогда они благополучно добрались до места назначения, потому что летели самолетом, а с самолета на полпути не ссаживают, как правило.

Посмеялись мы Лениному воспоминанию, а поезд все не трогается и не трогается. Обсудили детали предстоящего путешествия. Я рассказал, что Валера обещал нас по грибы сводить. Интересно, там грибы как у нас или другие?

— А вот еще интересно: водку мы хорошую взяли или так себе? — вдруг вслух подумалось мне.

— Ты это к чему? — с подозрением возрился на меня Леня. — Не забывай, у нас груз! И это... бутылки литровые только!

Да, это резонно. Литр на двоих — перебор, пожалуй, когда мы в командировке. Беды бы не было! Он вообще очень резонный и здравомыслящий, Леня мой, что нас с ним и разнит. Помолчали. Поезд тоже молча стоял у перрона Рижского вокзала, чего-то ожидая.

Зато я находчивый:

— Так у нас же бутылки с закручивающейся крышечкой! Открutum, снимем пробу и закрутим опять.

— Ага... Закрутим мы... Знаю я, как мы закручиваем, — загрустил здравомыслящий Леня. Но тут поезд тронулся, бутылки под сиденьем дрогнули, мягко и зазывно звякнули, а с ними дрогнуло и сердце Лени:

— А впрочем, кто нам помешает закрутить? Откручивай!

Нас не ссадили в Бологом. Потому что на маршруте Москва—Рига такой станции нет. Нас ссадили в Великих Луках, что аккурат тоже на полпути по нашей трассе.

Леня кричал, что его нельзя ссаживать, потому, что он — пресса. И для убедительности махал удостоверением сотрудника газеты «За кадры московского автомобилизма». Милиционеры и проводники, которые выпроваживали нас из поезда глухой ночью на незнакомой станции, с ним не спорили, но аккуратно и проворно выносили наши пожитки и элементы будущего вычислительного центра, чтобы не слишком задерживать поезд. И оставшиеся литровки наши в количестве семи с половиной штук бережно вынесли — и прямо в руки нам.

Вокруг ночь, мороз, пурга, но местные милиционеры не оставили нас на перроне, помогли переместиться в здание вокзала. Уважали раньше прессу.

И наши друзья-художники здесь, оказывается, ни при чем. Не такие уж они и художественные. Просто дорога из Москвы хоть в Ленинград, хоть в Ригу такая длинная, что за раз ее никак не осилить.

7

<...>

8

Работать с отечественной вычислительной техникой было интересно, конечно, но крайне хлопотно, если учитывать, что с ней постоянно что-то случалось. Все время там, напомним, что-то надо было налаживать и переналаживать. Да и не такая прибыльная эта работа оказалась, если посчитать затраты на гарантийное обслуживание. А еще и тяжелая, как показывает пример с рижским проектом. Но сравнительно не опасная. Вот, пожалуй, все характеристики этой деятельности: хлопотная, малоприбыльная, тяжелая, но и малоопасная.

Конечно, хорошо бы переключиться на другую технику, но западных компьютеров к нам не возили — на эту продукцию действовало эмбарго. И все-таки эра советских персональных компьютеров закончилась очень быстро. В общем-то, даже не успев начаться. Потому что через границу контрабандой начали просачиваться компьютеры с Запада. Их начали возить частные лица из числа тех, что были когда-то нашими соотечественниками. Давно когда-то, потому что и акцент иностранный они уже приобрели. Меня познакомили с одним из таких, по фамилии Амедюри. Он согласился привезти мне компьютер. Не помню уже, «Amstrad» это был или «Atari», но цена на него была какая-то несусветная — пятнадцать тысяч рублей, что немногим меньше, чем стоили тогда три автомобиля «Жигули». Причем это был очень простенький компьютер, не сравнить с тем, что сейчас в копеечном мобильном телефоне.

И как-то неожиданно быстро Амедюри этот компьютер привез. Приехал он чуть ли не на один день, и ему срочно деньги вынь да положь! А у меня, как назло, денег сейчас нет, не то чтобы всей суммы, а совсем нет. Кинулся я к друзьям-художникам — они меня на смех подняли: откуда у них такие деньжищи? И все-таки собрали с миру по нитке: один уговорил свою мать снять тысячу рублей со счета в сберкассе, другой у тетки

своей выпросил то, что она себе на похороны приберегала, третий у соседа займы взял пятьсот рублей... Этого все равно было мало, и большую часть суммы мне тесть дал. Снял со всех своих сберкнижек все, что накопил за много лет, и отдал.

Я ему их так и не вернул — он сам отказался и при этом был очень рад, что успел так удачно распорядиться своими многолетними сбережениями. Другим повезло меньше — буквально через несколько месяцев их сбережения превратились в ничто.

Купленный за пятнадцать тысяч компьютер был отправлен в Ташкент и сразу же продан там за сорок тысяч. И без всякого обслуживания — этому оборудованию обслуживание не требовалось.

И пошло-поехало, все более разрастающимися ручьями в страну хлынули зарубежные персональные компьютеры. А на отечественных «Электрониках», ДВК и УКНЦ была поставлена жирная точка.

В стране сложилась целая каста компьютерных бизнесменов, на которую тут же был открыт охотничий сезон. Их били как мух — уж очень там барыши были серьезные. Это тебе не «мелочь по карманам тырить»: договорился о сделке, назначил встречу и хлопнул продвинутого бизнесмена. Навар сразу тысяч сорок-пятьдесят.

И тут он мне позвонил. Позвонил и представился знакомым моего ленинградского приятеля. Что это за приятель был, помню плохо уже, и даже, как познакомился с ним, вылетело из хорошо проветриваемой головы. Наверное, через французов, компьютерных корабейников. Помню лишь, что сходил с ним настороженно. Уж очень он похож был на авторитетного человека. Точнее, на человека в «авторитете». Было это году в 1989-м или 1990-м, и тогда такие «авторитетные» люди, как раз вовремя освободившись после очередной отсидки, начинали новую жизнь в новых условиях.

Но тот мой ленинградский приятель, при всей своей «авторитетности», производил впечатление интеллигентного человека, и это сыграло свою решающую роль в наших отношениях. Он был очень аккуратен, вежлив и щепетилен. Приезжая ко мне из Ленинграда, он непременно привозил сувениры моим жене и детям. А мне так не просто сувенир, а полотно хорошего художника, например.

И вот вдруг позвонил неизвестный мне знакомый моего ленинградского приятеля.

Впрочем, раз уж мы так много говорим о бизнесе, надо сначала нарисовать более полную картинку тогдашней деловой жизни в стране.

9

И здесь я как раз подошел к той интересной и загадочной особенности юного российского предпринимательства, о которой давно хотелось рассказать. Загадочность ее проявлялась в выборе предметов торговли. Дело в том, что самыми популярными товарами тогда были «тушки», красная ртуть и медвежья желчь. Изредка кто-то предлагал что-то другое, например, пчелиный яд или шкурку гюрзы.

Дело в том, что большинство граждан компьютерный бизнес пугал сложностью и непонятностью объекта купли-продажи, а еще, более того, внезапной и преждевременной смертью самого предпринимателя. А заработать быстро и много хотели все.

Был такой анекдотец на заре постсоветского капитализма. Встречаются двое. Один говорит другому:

- Слушай, есть два вагона маргарина. Интересует?
- Конечно! За сколько?
- Полтора миллиона!

— Не, дороговато... Давай за миллион?

— Договорились!

И разбежались в разные стороны — один побежал искать деньги, а другой — маргарин.

Новоявленные бизнесмены, вчера еще тихие, скромные научные сотрудники разных НИИ, как с цепи сорвались! Раньше, в советское время, предпринимательская их деятельность не выходила за рамки того, чтобы засадить свой садовый участок картошкой с тем, чтобы потом ее весь год есть, пусть подгнившую, но зато бесплатную, как им казалось. Этот вид бизнеса был очень популярен среди москвичей, тем более что в магазинах картошка была тоже гниловатая, но не бесплатная, а по десять копеек за кило.

И вдруг буквально в одночасье все коренным образом изменилось! Вчера еще сшибавший трешку до получки научный сотрудник вдруг стал таким важным, таким серьезным! На работу ходить забросил и, сидя дома, сутками изучал какие-то контракты, кому-то названивал, оговаривая детали сделки по купле-продаже каких-то «тушек» и комиссионные проценты.

Должен заметить, что мобильных телефонов в описываемое время все еще не было, хотя сам уже себя чувствую каким-то лжецом, в лучшем случае фантазером. Время от времени продавец «тушек» вскидывался, сгребал свои бумаги в портфель и бежал на деловую встречу. Встречался он где-нибудь в метро с таким же, как и сам, бывшим научным сотрудником, но из другого НИИ. Встретившись, они заговорщицки шептались, свысока поглядывая на других пассажиров, и, обменявшись бумагами, разъезжались с сознанием своей многозначительности.

Теперь надо пояснить, что же это за «тушки» были, торгуя которыми люди преисполнялись таким самоуважением. «Тушки» — это совсем не продукция куроводческих ферм, как, может, кто-нибудь подумал. Это — самолеты. Большие такие, пассажирские. Аэробусы тоже. Не настоящие Airbus, конечно, так у нас тогда называли Ил-86.

Потом я размышлял над природой происхождения этой клички и думаю, что первым продавцам в голову пришло начинать с самолетов марки Ту, поэтому они ласково прозвали предмет своего интереса «тушкой». А потом увидели, что это обозначение подходит вообще ко всем самолетам, и слово приобрело в русском языке новое значение. Почему я говорю о полном правом вхождении этого слова в язык — а потому, что «тушками» тогда не торговал только ленивый, по-моему. Ну или тот, кто уже торговал компьютерами.

А таких, кто торговал более прозаическими вещами, ну, там, продуктами или одеждой, я тогда просто не встречал. Нет, были, конечно, коробейники, тягающие неподъемные баулы с разным барахлом из Польши или Турции, но это мелкий бизнес.

А я сейчас о крупном бизнесе говорю потому, что мелким бизнесом никто заниматься не хотел. Всем хотелось, глядя на компьютерщиков, сразу и много.

Поэтому преискурانت молодой рыночной экономики составляли почти исключительно три вышеупомянутых товарных наименования. Продал литр желчи — получи сто тысяч комиссионных, продал «тушку» — получи миллион, продал банку ртути — миллиард! И посрамленные компьютерщики горько плачут в стороне.

Нет, были, конечно, и любители змеиного яда или мумие, но там все не так интересно — ценник напоминает не международный телефонный номер, а лишь автомобильный.

Причем если самолеты многие видели, а некоторые даже летали в них, то медвежья желчь и красную ртуть видеть не доводилось никому — ни тем, кто покупал,

ни тем, кто продавал. Так же, как никто не знал достоверно сферы применения этих замечательных товаров.

Не довелось мне также встретить человека, который хотя бы одну из подобных сделок довел до конца. Но зато было очень много таких, кто почти совершил сделку, но в самый последний момент что-то сорвалось по какой-то ерундовой причине. Еще больше было таких, у которых ничего не сорвалось, все шло по плану и вот-вот должно было счастливо закончиться. Но боюсь, что у них тоже ничего не получилось, во всяком случае у приверженцев красной ртути, потому что через несколько лет выяснилось, что такого вещества просто не существует в природе.

Я, человек прозаический и без фантазии, старался держаться подальше от этой коммерции. Спокойно занимался компьютерами, не помышляя о более высоких сферах. Но многие мои знакомые считали своим долгом и меня вовлечь в эту интересную и бесплодную деятельность. Особенно мой сосед Владимир Иванович, немолодой уже человек, мучил меня. Почему-то он очень хотел, чтобы я поучаствовал с ним в баснословных прибылях, и таскал на разные встречи, питая ничем не обоснованные иллюзии по поводу моего коммерческого гения. Я ездил с ним отчасти из любопытства, отчасти от нежелания обижать соседа, но уж никак не с целью наживы — мои устремления, повторяю, были скромнее.

Да, все эти желчи, «тушки» и ртути сулили моментальное обогащение, и именно эта легкость перехода в новое качество и была так мила моим соотечественникам, многим из которых, в том числе и моему соседу Владимиру Ивановичу, так и не удалось пережить то интересное время.

10

Однако вернемся к тому, что он мне позвонил. Позвонил и, представившись Анатолием Константиновичем и хорошим знакомым моего питерского приятеля, поведал, что у него есть хороший компьютер. Полный комплект — системный блок, монитор, клавиатура и даже мышка. Рассказал о конфигурации и характеристиках компьютера. Стоит комплект всего шестьдесят тысяч рублей, но владельцу нужно очень быстро продать, он должен срочно возвращаться в Ленинград, поэтому пять тысяч он готов уступить сразу, без торга.

В общем, да, для этой конфигурации шестьдесят тысяч — действительно неплохая цена, но что-то сразу скороговорка моего собеседника мне не понравилась. Вот именно скороговоркой он как-то все это говорил, не давая собеседнику опомниться. Я поблагодарил и вежливо отказался, мотивируя отказ отсутствием средств. Отказ мой его не смутил, он сказал, что в Москве проездом, с компьютером в машине ему ездить неудобно, он готов его привезти и оставить у меня дома с тем, чтобы я в спокойной обстановке протестировал бы машину, насладился ею и назвал свою цену. И если мы не сойдемся, завтра он компьютер заберет. Это был неслыханный акт доверия — вот так незнакомому человеку отдать, пусть на время, вещь, которая стоит, как одиннадцать автомобилей «Жигули»!

Но он как будто услышал мое удивление и сказал, что наш общий знакомый много обо мне говорил как о человеке, которому можно безгранично доверять.

Ну ладно, пусть везет, думаю, это меня ни к чему не обязывает.

Через некоторое время звонок в дверь. Открываю и, взглянув на лицо гостя, понимаю, что никакого компьютера мне от него не нужно, даже и бесплатно. Анатолий Константинович, хоть и в изысканном галстуке, и в отутюженном костюме, был страшен. Он улыбнулся мне улыбкой Квазимодо, и худшее, изможденное лицо его,

изъеденное оспой, стало жутким до умопомрачения. И мало того, что он заговорил скороговоркой, он весь был, как скороговорка: необычайно подвижен во всех су-ставах и даже вне их.

Я был так ошарашен, что не успел и слова сказать, как страшный гость ненавязчиво протолкнул в дверь две большие коробки и поспешно откланялся, не напрашиваясь на чашку чая. Напоследок он, так и не переступив порога, протянул мне руку для рукопожатия, и пальцы его показались мне бескостными, потому что извивались, как щупальца осьминога.

Закрыв за гостем дверь, я накинул цепочку, и тут силы оставили меня. Я сел на одну из принесенных коробок и стал думать, как жить дальше. По всему выходило, что никак.

К вечеру я успокоился и даже стал укорять себя, что негоже так по одежке встречать гостей. И может быть, это и никакая не оспа, а банальная ветрянка так разукрасила моего гостя. Так расхрабрился я в конце концов, что решил открыть коробки и посмотреть, что же там мне предлагают с хорошей скидкой. Я знал, конечно, что бесплатный сыр только в мышеловках лежит, но разные же бывают обстоятельства! Сам я не раз продавал что-то дешевле, чем покупал — обстоятельства.

Но увиденное в коробках меня опять не порадовало. Да, все там было на месте, но это был не новый компьютер и даже не из одного комплекта. Монитор одной фирмы, а системный блок другой. Вооружился я лупой и стал изучать винтики на системном блоке. Ну конечно, их уже откручивали. Да, это был так называемый «рабочий» аппарат, который уже не раз и не два, наверное, продавали таким идиотам, как я. И я, скорее всего, назначен быть следующим покупателем, труп которого ночные дорожные рабочие должны будут закатать в свежий асфальт за скромное вознаграждение в сто долларов.

Что делать? Надо как-то избавиться от этого комплекта, но о том, что хозяин его еще раз придет ко мне домой, не может быть и речи. Надо на нейтральной территории.

На следующий день никто мне не позвонил обеспокоиться судьбой своего компьютера. И я даже совсем успокоился и думать стал, что у страха глаза велики и ни к чему так нервничать. Через день опять никто не позвонил, и я подумал, что если позвонят, почему бы мне и не купить этот товар. Ну, не за шестьдесят, конечно, тысяч, а, скажем, за сорок очень даже может быть.

На третий день утром раздался телефонный звонок, и я услышал наконец скрипучий голос страшного обладателя сборного компьютера. Оказывается, он, как и обещал, уехал тогда в Ленинград, но дела его там задержали, и он приносит извинения за то, что его компьютер несколько дней у меня квартировал. Он сейчас придет за техникой, если я не надумал покупать, а в качестве компенсации с него бутылка хорошего коньяка причитается.

Да ладно, говорю ему я, приезжать ко мне необязательно, я тебе сам этот компьютер привезу, куда скажешь. А если действительно хочешь продавать, могу тебе предложить сорок тысяч, больше у меня нет. Если согласен, скажи, куда подвезти деньги.

Анатолий Константинович расстроился:

— Нет, на такую цену я полномочий не имею... Я сейчас хозяину позвоню, а потом с вами свяжусь, ладно?

Через какое-то время звонок, и ленинградский продавец расстроенным голо-сом скрипит, что хозяин компьютера не только торговаться — вообще продавать компьютер раздумал. И надо бы его забрать у меня в любом месте, где мне удобно. Но коньяк за беспокойство остается в силе, и даже умноженный на два.

— Ладно, — говорю успокоившийся я, — приезжайте ко мне домой, ваши коробки стоят в прихожей.

Анатолий Константинович был очень признателен мне и примчался через полчаса. Он опять не сделал попытки войти в квартиру, и в этот раз он мне не показался таким уж страшным. Ну, скелет и скелет, со всяким может случиться и даже случится обязательно.

На прощание он вручил мне две бутылки действительно очень хорошего коньяка, а я, пожимая его руку, не заметил, что пальцы его похожи на щупальца осьминога.

11

Вечером следующего дня вдруг звонок. Анатолий Константинович, не давая мне опомниться, своей обычной скороговоркой, глотая слова, спрашивает заговорщицки, могу ли я срочно, через полчаса подъехать к такому-то метро. Оказывается, у хозяина компьютера вчера случился ужас: сын в аварию попал, лежит со сломанной ногой в реанимации, и ему срочно нужно возвращаться в Ленинград. Поэтому он готов расстаться со своим замечательным компьютером и при том на моих условиях! Но ему срочно нужны деньги, через три часа ему в аэропорт.

Времени остается мало, через час я должен быть на месте и с деньгами.

Я обескураженно:

— Ну, за час мне туда на машине никак не успеть.

— А вы на метро поезжайте! Я у выхода вас встречу на своей машине, — заливается скороговористый соловей.

Не понравилась мне его прыть, и что это вообще такое — семь пятниц на неделе: продаю — не продаю. Но главное, что мне не понравилось, это то, что я должен на его машине ехать неизвестно куда. С полной сумкой денег не хотелось ехать, а торговля компьютерами у метро тогда была не принята. Но и поездка куда-то на его машине была совершенно исключена.

Тогда я решил позвонить своему близкому другу — он как раз недалеко от той станции метро живет, куда мне ехать надо. Думаю, если Сережа сможет поехать со мной — поеду, а нет, так провались пропадом этот слишком дешевый компьютер! Сережа смог.

Едва выйдя из метро, я тут же столкнулся с ушлым продавцом компьютеров по сходной цене, и он заторопил меня — вон его «Волга» стоит, и шофер скучает, не глуша мотора. Но тут я и встречавшего меня Сережу увидел и заявил владельцу «Волги», что я поеду на своей машине, вон она стоит, рядышком с твоей «Волгой».

Видно было, что визави мой несколько обескуражен, но возразить он не нашелся чего и только сказал, чтобы мы ехали за ними.

Мы с Сергеем ехали за этой «Волгой» по каким-то незнакомым улицам и переулкам и все ближе были к тому, чтобы развернуться неожиданно и ударить по газам обратно. Но казалось, пока контролируем ситуацию, и откладывали разворот. И вдруг мы въехали в крошечную тьму, и впереди идущая «Волга» резко затормозила. Мы оказались рядом с последним подъездом какой-то потрепанной пятиэтажной хрущобы, и путь вперед был нам прегражден «Волгой» продавца этого треклятого компьютера, который мне совсем уже не хотелось покупать. Мне хотелось одного — выйти живым из этой переделки. Хотя, будучи здравомыслящим, я почти не допускал такой возможности. Ведь знал же все про бесплатный сыр, но алчность лишила рассудка!

Но теплилась, теплилась надежда, что у нас только отберут деньги, а самих оставят в живых. Ну, почему нет? Мы же сопротивляться не будем. Особенно Сережу было жалко, который страдает только за то, что не умел правильно выбирать друзей.

Темень стояла уже кромешная, и для вящей убедительности Толина «Волга», что загораживала нам путь вперед, потушила огни. В ту же секунду из «Волги» выскочил скороговорочный осьминог в изысканном галстуке и подскочил к нам. Я закрыл глаза, но Анатолий Константинович почему-то не мог стрелять через стекло и просил открыть окно.

Я открыл — не могу не откликнуться на вежливое обращение. Вместо звука пистолета из-за окна послышался смеющийся скрипучий голос этого гада:

— Что, даже грузить сами не будете? Вон ваш компьютер у подъезда стоит.

Действительно, у подъезда белели две большие знакомые мне уже коробки. Грузить не хотелось и даже видеть эти коробки не хотелось, и, наблюдая наше замешательство, осьминог в галстуке, продолжая похихатывать и балагурить, сам пошел за коробками и крикнул своему шоферу, чтобы тот помог. Но видно было, что, несмотря на веселость, продавец немного нервничает.

Коробки были большие и просто так в багажник Серезиной «восьмерки» не поместились бы. Пришлось нам с ним выйти из машины, чтобы сложить заднее сиденье.

Уложив коробки с компьютером, Анатолий Константинович с хохотком призывал нас посмотреть, не кирпичи ли он в коробки нам положил, но мне уже было все равно, я уже был согласен и на кирпичи и вслух сказал, что доверяю ему. Крышку багажника захлопнули, и только тогда продавец поинтересовался деньгами. Я протянул ему сумку, но он ее даже раскрывать не стал, сказав, что тоже доверяет мне.

Мы собрались было уезжать, но Анатолий Константинович попросил подождать еще немного: он отнесет деньги в квартиру и вернется. Оказывается, у него еще есть сказочное предложение для нас. Отдав деньги, мы с Сергеем почти совсем успокоились: зачем нас теперь убивать? Забрать обратно компьютер? Он мог его и не загружать, не мучиться, мы бы и так ему деньги отдали.

Вернулся он быстро, но слегка озабоченный. Оказывается, его «Волга» должна срочно везти в аэропорт бывшего хозяина компьютера, и ему самому не на чем теперь уехать. Он просил о маленькой услуге — подвезти его до метро, которое, кстати, скоро должно было закрыться. Подвозить осьминога не хотелось — опять зашевелились страхи. Тем более что он стал особенно суетлив.

— Анатолий Константинович, у нас же и места нет! Мы же сложили заднее сиденье!

— Да ничего, я худенький, куда-нибудь протиснусь, — продолжал суетиться всеми щупальцами осьминог.

Конечно, можно было как-то потесниться, но чем больше суетился этот субъект, тем отчетливее понимал я, что сажать его к нам в машину никак нельзя.

Сергей включил задний ход, и Осьминог Константинович совсем расстроился:

— Подождите, подождите, я же вам еще не рассказал о сказочном предложении!

— Завтра, Толя, завтра, все завтра! — прокричал я в открытое окно, пока Сережа лихо выруливал из тупика.

12

Мы успели на задней скорости вырулить на улицу и проехать по ней метров пятьдесят, как вдруг сзади нас нагнал милицийский «москвич» с включенной сиреной. Ну попали! Из огня да в полымя! Сейчас повяжут: откуда у нас среди ночи в машине компьютер и безо всяких документов. В лучшем случае до утра в милиции продержат, а в худшем...

Мордатый сержант подошел к нашей машине и предложил выйти и предъявить документы. Лейтенант остался стоять у своего «москвичонка», готовясь применить

оружие. Мы с Сергеем вышли из машины и увидели бегущего в нашу сторону... Толю. Но он не добежал до нас, остановился возле милицейского «москвича» и стал что-то эмоционально говорить лейтенанту. Вот ведь молодец какой, за нас заступаться прибежал! А я так плохо о нем думал...

Анатолий Константинович в красивом галстуке не зря размахивал руками перед лицом лейтенанта, через минуту тот вдруг приказал своему подчиненному оставить нас в покое. После этого Толя подошел к нам и сказал, что все урегулировал и мы можем спокойно ехать дальше.

Мы и поехали, окончательно успокаиваясь и впадая в бурное веселье.

В два часа ночи Сергей довез меня до дому, мы затащили с ним треклятый компьютер в квартиру, и он поспешил домой, справедливо полагая, что на сегодня с него довольно.

Едва лишь под окном стих звук удаляющегося Сережиного автомобиля, в доме раздался телефонный звонок. Это был многорукий Анатолий. Убитым голосом он сообщил, что случилась накладка и наша сделка отменяется. Он скоро приедет и привезет мои деньги, а взамен хочет получить свой компьютер.

Это уже было слишком, и я категорически возразил, что сегодня об этом не может быть и речи, подождем до утра.

— Нет-нет! — горячо возразил Толя. — Именно сегодня! Я выезжаю!

И повесил трубку.

Мне снова стало страшно, хотя в квартире я был не один, а вместе со всей семьей. Но оттого и страшней было. Времена были очень лихие.

Через короткое время звонок в дверь. Я, не открывая, велел гостю убираться во-свояси. Он уговаривал меня открыть дверь, забрать деньги и вернуть компьютер. Голос его был спокоен и тем страшней. Я сказал, что вызываю милицию.

— Давай-давай вызывай, — тем же спокойным голосом воодушевил меня проклятый компьютероторговец.

Может быть, он подумал, что я не решусь, чтобы не объясняться с милицией про непонятный компьютер, но я набрал «02» и сказал, что бандиты ломаются в мою квартиру.

Милиция приехала чуть ли не тут же, как будто они ждали моего звонка за углом дома, но настырный гость удивительным образом успел покинуть подъезд и двор нашего дома буквально в последнюю секунду. Я смотрел из окна — едва его «Волга» скрылась за углом нашего дома, как из-за другого угла показался милицейский уазик.

Я наконец открыл дверь и встретил двух вооруженных автоматами милиционеров, один из которых взбежал по лестнице, другой поднялся на лифте. Они выслушали мои объяснения и извинения за ложный вызов и приободрили:

— Ничего страшного, если он вернется, сразу звоните снова.

Про компьютер ничего спрашивать не стали, сразу откланялись. Все-таки были еще в Москве хорошие милиционеры.

Тоскливо было оставаться одному, захотелось позвать кого-то из друзей, чтобы не так тоскливо было — не будить же семью. Но Сережа уже уехал, а мобильных телефонов, как я уже говорил, еще не придумали. И тогда я позвонил другому своему старому московскому другу, старейшему. В двух словах обрисовав ситуацию, я ему сказал: приезжай, что-то скучно мне. Он, ни слова не говоря, взял такси и приехал. И это удивительно, ведь из рассказа моего было понятно, что его здесь убьют.

Как-то мы с ним скоротали остаток ночи, а утром вновь позвонил обладатель красивого галстука и сказал, что ему все же крайне необходимо вернуть компьютер обратно. Он подъедет и не будет заходить в подъезд, готов меня встретить внизу и от-

дать деньги. А потом я сам поднимаюсь домой и вынесу ему его проклятый металлолом. Предложение звучало разумно, но я все же вызвал еще подмогу на двух машинах для нашей новой и, как я был уверен, последней встречи.

13

Прошли дни, а может, и месяц, и я стал потихоньку приходить в себя, забывая нашу последнюю встречу с экстравагантным продавцом компьютеров.

Но он не успокоился и, выждав некоторое время, пока я перестану бояться темных подъездов, снова позвонил. Жуткий голос дружелюбно обрадовался моему «Алло», извинился за недоразумение, которое он мне непременно разъяснит при ближайшей встрече, и вообще с него ящик коньяка за доставленное мне беспокойство.

Я попросил компьютероторговца коньяк выпить самому, а мне больше не звонить никогда.

Но он время от времени продолжал звонить, нечасто, раза два в месяц, но регулярно. То предлагал какой-то выпавший из контейнера на таможене телефакс совсем за бесценок, то еще что-то неожиданное и сладкое.

Телефакс — это уже точно надо объяснять, что такое, причем не только старым, но и молодым. Потому что это гениальное изобретение человечества просуществовало совсем недолго — лет десять-пятнадцать. Сначала хотел написать два-три года, потом решил посчитать, и, господи, как быстро летит время!

Телефакс в двух словах — сунешь у себя дома в аппарат письмо какое-нибудь, даже написанное от руки, или даже дулю нарисованную, или сторублевку и набираешь на аппарате телефонный номер того, кому письмо хочешь донести. Потом еще одну кнопку нажмешь, и они там, куда ты звонишь, сию же секунду получают эту сторублевку или дулю.

Если, конечно, у них есть такой же аппарат.

Так вот, этот компьютерный аферист продолжал мне звонить, но теперь он расширил свой ассортимент до телефаксов и прочих новинок оргтехники. Я всякий раз от всех его предложений вежливо, но категорически отказывался, но он не унывал и продолжал позванивать.

В последний раз он предложил мне выкупить вместе с ним партию телефонов-автоответчиков «Panasonic-2490» с двумя кассетами. Новая модель. На одной кассете записываешь свое сообщение для тех, кто тебя домогается, а на другой записывается их ответ. Это был сравнительно громоздкий аппарат, потому что микрокассет тогда еще не придумали, и в него надо было вставлять две обычных.

Оказывается, это задержанный на таможене товар, и они его продают за бесценок. Но только брать надо сразу целую коробку, а там не то шесть, не то двенадцать телефонов, сейчас не помню. А у него на всю коробку денег не хватает.

Ну вот, он нашел все-таки правильное время позвонить, когда я сидел в квартире один, немного навеселе и поэтому смелый. И я согласился посмотреть на его телефоны.

Он приехал довольно быстро и деловито втащил в квартиру большую коробку автоответчиков «Панасоник». Зайдя в комнату, он осмотрелся и несколько фамильярно и неодобрительно заметил:

— Квасишь?

Составить компанию отказался и сразу приступил к финансовым выкладкам. Рассказал, сколько мы сможем на этом заработать. Точных цифр не помню, но что-то раз в семь-восемь мы должны были подняться.

И я согласился поучаствовать в совместном с ним предприятии, но сначала захотел выслушать его рассказ про ту нашу первую, так и не состоявшуюся сделку.

Толя подробно рассказал мне о той сделке, а заодно и многое о себе. Оказывается, зря я его так боялся: он не бандит никакой, а скромный вор и честный мошенник. Позже выяснилось, что зря он скромничал: Толя был высокопрофессиональным вором-карманником, входящим в десятку лучших в СССР, и гениальным мошенником.

Он недавно освободился после шестилетней отсидки и решил начать честную жизнь — времена, пока он сидел, сильно изменились, и незачем теперь было мелочь по карманам тырить — можно зарабатывать по-честному и по-крупному.

— Неплохо же ты новую жизнь начинаешь! — съехидничал я, имея в виду нашу первую сделку, с которой теперь стало все ясно.

Оказывается, это была блестяще задуманная афера, которая сорвалась только потому, что у нас с Сережей места в машине для Толи не оказалось. Он должен был непременно сесть в нашу машину, чтобы милиционеры в «москвиче», которые были с ним в доле, задержали нас всех троих. Нас должны были доставить в отделение милиции, а ближе к утру отпустить, причем нас с Сергеем пораньше. Выйдя из отделения, мы должны были не обнаружить нашей машины, потому что ночью ее кто-то угнал. И это все! Рабочий компьютер вернулся бы к Толе, с которого теперь взятки гладки, потому что он в момент угона машины вместе с нами сидел в отделении милиции.

Я был поражен:

— Ну и что? Ну забрали бы менты только нас с Сергеем, без тебя? А дальше менты сами так же бы угнали машину и вернули тебе компьютер! Почему нет?

— Нет, потому что в таком случае вы могли заподозрить меня! А это в мои планы никак не входило.

Потом, спустя долгое время, я его спросил как-то, как когда-то своего кузена Диму в Чирчике: зачем я ему так был нужен? Он меня не знает, я его не знаю, почему именно я так потребовался ему, чтобы начинать какой-то бизнес? Что он, своими друзьями не обзавелся за почти сорок лет жизни?

— Нет, — ответил мне Толя, — не обзавелся. Как-то не удалось. А тебя я выбрал потому, что ты очень осторожный. Ты тогда разрушил всю мою любовно придуманную операцию.

Странно, я-то всегда думал, что я бесшабашный и где-то даже безбашенный. Трусливый, может быть, но бесшабашный все равно.

— Ты хочешь сказать — трусливый я и этим тебе понравился?

— Нет. Ты не трусливый, ты именно осторожный.

Так я и не понял, в чем разница. Но думаю, была и еще причина, почему свою новую жизнь Толя решил строить с моей помощью. У меня были наработанные связи в части реализации оргтехники, которых у Толи из-за пребывания в местах, не столь отдаленных, не завелось.

Но и мне от этого сотрудничества большая польза была. Дело в том, что сам я очень неорганизованный и ленивый. И занятие бизнесом, не знаю почему, но никогда мне особого удовольствия не приносило. Того самого, когда вложенная копеечка в рубль превращается, а рубль в миллион, и ты, как игрок маниакальный, стоишь над этим процессом. Я занимался этим для денег. Но как только деньги появлялись, я сразу терял интерес к работе, ибо не могу я работать, когда есть у меня деньги, — их надо срочно потратить. И вот теперь Толя заставит меня работать.

14

Однажды теплым весенним вечером в середине 1970-х годов из парадного ленинградской гостиницы «Европейская» вывалился в благодушном настроении и в ненашенском костюме гражданин в поисках алкогольных и сексуальных приключений. Он уже выпил, но пока недостаточно.

Не только по костюму — по всему видно было, что человек он не нашенький. Хотя бы потому, что он в гостиницу «Европейская» вхож.

Единственное, что роднило его с нашими, это изрядное, хоть и недостаточное подпитие.

Не успел гость Северной столицы сделать и нескольких шагов, как к нему подскочил какой-то вертлявый абориген и, охваченный невероятной радостью, начал суетиться руками, лицом и словами, обнимая и тиская недоумевающего финна.

Да, это был финн, и его неожиданный обниматель и целователь прекрасно это знал, потому что суетился не просто словами, а исключительно финскими. Любвеобильный абориген не давал гостю и слова сказать, и финские слова выскакивали из его захлебывающегося от радостных похихатываний рта.

Некоторые слова могли бы показаться знакомыми и нашим людям, не знавшим финской мовы. В частности, несколько раз прозвучало имя уставшего от бесконечного президентства финского лидера Урхо Кекконена, который был большим другом Советского Союза и даже кавалером ордена Ленина, что для лидера капиталистической страны было просто нонсенсом.

Советско-финская дружба в те годы была тесной до неприличия — с некоторыми социалистическими странами у нас были более прохладные отношения, чем с капиталистической Финляндией.

Поэтому наши друзья финны любили на выходные в Ленинград смотаться. Сейчас это назвали бы алкотуром. А чего им дома не пилоь: у нас водка слаще, что ли? Может, и не слаще, но дешевле и доступней. Финляндия хоть и не была в то время совсем «сухой» страной, но любителю, а тем более профессионалу разгуляться было трудно.

Вот такого туриста и выждал виртуозный специалист по чужим карманам Толя, выучив в финской газете несколько абзацев речи Брежнева на встрече с дорогим другом Урхо Кекконеном.

Ну, им там с Брежневым хорошо, а вот соотечественнику Урхо повезло меньше. Довольно быстро его визави понял, что ошибся, приняв финна за друга детства, и, расшаркавшись, быстро удалился, пряча в рукаве бумажник алкотуриста.

Толя, вообще-то, не склонен был хвастаться, и подробности его биографии я узнавал очень постепенно, гомеопатическими дозами. Как-то — не специально, а к слову — он сказал, скромно потупив взгляд, что в свое время входил в десятку лучших карманников Советского Союза, и я в восхищении стал требовать его продемонстрировать свое искусство.

Я не то чтобы сомневался в его способностях — просто хотел посмотреть, на какие хитрости пускается карманник, чтобы облапошить свою жертву. Хотя и сомнения, конечно, тоже были. Даже не то чтобы сомнения — упрямство какое-то. Дескать, ну, с какими-то лохами у тебя это, может быть, и проходило, но не со мной! Хотя это и не совсем честно с моей стороны было (если слово честность вообще применимо к карманному ремеслу) — ведь я сам провоцировал преступление, то есть был готов к нему, предупрежден.

Но Толя всякий раз отмахивался. Дескать, забыл все и руки навык потеряли — сколько уж лет прошло, как не практиковал. Но я нет-нет и вспоминал снова о своем желании быть обворованным.

И вот однажды, когда мы с ним прогуливались по участку моего загородного дома, я снова вспомнил, что неплохо бы слова подкреплять делами. В тот день я был в туго обтягивающих мое доброе тело джинсах. Настолько туго, что объемистое портмоне, покоившееся в левом кармане этого изобретения американских пастухов и доставлявшее мне страдания при ходьбе, сам я достать не мог. Ну не то чтобы совсем не мог — если лечь, вытянувшись в струнку, двумя руками — одной вытягивая портмоне, другой поддерживая карман, чтобы не оторвался вместе с содержимым, можно было. Не знаю, зачем я его и носил, ибо потребительского смысла в этом не было никакого, и деньги я держал в другом кармане.

И вот теперь я с особенным злорадством снова предложил своему другу занести меня в список «потерпевших». При этом я на всякий случай левой рукой крепко придерживаю карман с портмоне. И только ядерный взрыв способен оторвать от кармана эту руку. Пальцы сжаты до хруста и белизны. Я понимаю, что он захочет дожидаться, пока я забуду и расслаблюсь. Но не дожидется, злодей.

Мы стояли возле грядки с хорошо уродившимся чесноком, и Толя только поцокивал языком, расхваливая мои агрономические успехи. На мои претензии он снова запел было песню о старых, забывших ремесло заскоружлых руках и вдруг безо всякого перехода неожиданно и прямо-таки хамски крепко схватил меня за место, где сходятся штанины джинсов, или, по определению Игоря Губермана, «за фаберже».

Возмущенный и ошарашенный, я инстинктивно отбил его руку и предложил объясниться. Он миролюбиво заявил, что пошутил. С трудом приходя в себя от его идиотской шутки, я посетовал, что лучше бы он занимался, чем велено было — сегодня не его день для шуток, — и тут обнаружил, что рука моя, бросившаяся на защиту самого драгоценного, так еще и не вернулась к своей главной обязанности на сегодня — защите кармана. Рука моментально метнулась к своему посту, но... вместо твердости высушенной воловьей шкуры нащупала сквозь материю брюк лишь податливую и вялую человеческую плоть.

15

Мы начали работать вместе. Я его сразу предупредил, что криминала у нас не будет, и он с удовольствием согласился. Мы быстренько открыли свою фирму, наняли добросовестного и исполнительного юношу, и работа закипела.

Толя был генератором идей, но окончательное решение, принимать их или нет, было за мной. Большинство из его идей были потрясающе интересными, но сомнительными в плане законности, и я их сразу отсеивал.

И все-таки одно из самых первых наших дел удостоилось заметки с обидным названием «Жулики из...» (далее шло название нашей фирмы) в одной из московских газет.

Так уж прямо и жулики! Просто нам надо было быстренько сколотить первоначальный капитал для нашей молодой фирмы, и Толя придумал простой, как две копейки, способ, который я счел безобидным.

Тогда была такая услуга (а может, и сейчас есть) — письма наложенным платежом. То есть это какое-то ценное письмо, которое не доставлялось адресату, а оставалось на почте, пока адресат сам за ним не придет и не заплатит сумму, в которую письмо оценено отправителем. А почта потом переводит эти деньги на счет отправителя. Вот и вся схема.

Мы напечатали тысячу экземпляров нашего предложения, а предлагали мы купить у нас компьютеры и другую оргтехнику, запечатали их в конверты и разослали налоговым платежом в двадцать рублей тысяче крупных предприятий, адреса которых почерпнули из телефонного справочника.

Лихо это было, конечно, — не просто навязывать свою рекламу потребителю, а еще и за деньги.

Жулики! А бумага, а печать, а конверты? А почтовые услуги? Да мы рублей как бы не сто на все это потратили!

И получили в итоге не двадцать тысяч, а гораздо меньше, тысяч двенадцать — многие ушлые предприятия не захотели на почте выкупать кота в мешке. Но мы на много и не рассчитывали.

С Толей мы очень быстро сближались — почти каждый день встречались у него или у меня дома. Он оказался очень интересным, начитанным и остроумным человеком.

Вначале я еще искоса на него поглядывал и даже сказал как-то: вот я тебя привечаю у себя дома, а ты меня потом ограбишь! Он сразу посерьезнел и сказал, что у них так не принято:

— Если я с тобой за одним столом ел-пил, то нет, никогда!

Он был очень привержен каким-то старым воровским кодексам, но наступали новые времена, и в криминальном мире такие, как он, оставались недовымершими ма-монтами. На смену им приходили молодые, но сразу отмороженные беспредельщики, которые быстро перестреляли недовымерших, а потом и друг друга.

Жены наши тоже благосклонно отнеслись к нашей дружбе. Моя — потому что Толя оказался непьющим, и это одно перевешивало все его прошлое. Боюсь, она даже серийные убийства простила бы ему за его трезвость, хотя и не принципиальную, а просто здоровья у него не было, чтобы еще и пить.

Жена же Толи, моя землячка Надира, тоже была мне рада. Но не за то, что я алко-голик, а до меня, оказывается, у ее мужа вообще друзей не было, во всяком случае та-ких, чтобы домой приходили и часами до ночи чай пили на ее кухне.

В наш бизнес жены совсем не лезли, но Надира, подсмеиваясь над своим мужем, говорила, что в тандеме самый хитрый и ушлый совсем не он, с чем Толя радостно соглашался, как старший брат, правильно воспитавший младшего. Он был на семь лет старше меня. А теперь он на двадцать лет меня младше. Какая странная наука арифметика!

Сыновья мои малолетние тоже беззаветно полюбили дядю-волшебника, потому что он им всякий раз показывал какие-нибудь фокусы, притом приятные. Придет, на-пример, и прямо с порога спрашивает старшенького, нет ли у того займы пяти копеек.

Тот бежит, находит у себя пятак и приносит еле помещающуюся в детской ла-дошке монету. Дядя Толя с благодарностью пятак принимает, зажимает его в кулак и тут же разжимает его снова, а на ладони пятак уже нет. Вместо него лежит бумаж-ка в пять долларов.

Довольный фокусом ребенок убегает с пятью долларами и через минуту присы-ляет братишку с пятачком. Пока волшебник дядя Толя повторяет фокус с младшим, я быстренько снабжаю старшего еще одним пятачком и отправляю его повторить, но фокусник уже машет руками:

— Э, нет, братцы, хорошо! С вашим папкой фокусы показывать я не договаривался!

Фокусы всегда были разные, дядя Толя не повторялся.

Он, оказывается, не лукавил, когда говорил, что настоящий вор не украдет у того, с кем хлеб за одним столом ел. Действительно, он меня больше никогда не обманы-вал, не то что обворовать.

Случалось, я ездил в Узбекистан, где у меня еще оставались родители, и иногда долго ездил, чуть не на месяц. Тогда Толя работал один, мы только обсуждали с ним какие-то дела по телефону, а когда я возвращался в Москву, он приходил с чемоданом, спрашивал ехидно, сладкая ли водочка была в Узбекистане, и вываливал из чемодана на стол пачки денег.

— Вот твоя доля за то время, что ты узбекскую водочку трескал!

Однажды в очередное мое пребывание в Узбекистане Толя вдруг и сам как снег на голову свалился — решил посмотреть, как я там живу. На родителей моих он произвел глубокое, но удручающее впечатление, и отец мне даже сказал потихоньку:

— Вижу, хороший человек твой друг, но он же профессиональный вор! Ты хоть знаешь об этом?

Я засмеялся:

— Как же ты видишь, что он вор? На нем написано, что ли?

— Написано, сынок, написано. Большими буквами написано.

Я объяснил папе, что Толя давно в завязке и теперь он честный бизнесмен и надежный друг.

Мы часами сживали у него или у меня на кухне, строили очередные планы или трепались о том о сем. Иногда он рассказывал что-нибудь из своего прошлого. Иногда даже и выпивали понемножку, чтобы мне сделать приятное. Обычно многословного, его, когда выпьет, вообще не остановить. Да и не хотелось останавливать, если честно. Но выпивал он нечасто и понемногу, мотивируя тем, что ему своей дури хватает.

Очень жалею, что не было диктофона — так колоритно, занимательно и смешно Толя рассказывал. Мне, к сожалению, так не пересказать.

16

<...>

17

Анатолий Константинович все-таки гениальный был придумщик, и я до сих пор считаю, что дележка поровну между нами была несправедливой его затеей. Через короткое время у него новая затея появилась: купить брокерское место на недавно появившейся Российской товарно-сырьевой бирже и непременно опять пополам.

Я даже еще знать не знал, что появился такой гениальный бизнесмен, который придумал такую гениальную структуру, а Толя уже загорелся идеей стать биржевым брокером.

Толя мне рассказал, что брокерское место на бирже сегодня стоит двести восемьдесят две тысячи рублей и с каждым днем дорожает. И если бы я вчера не водку пил, а кумыс, мы купили бы место гораздо дешевле. А завтра будет в два раза дороже.

Я ему возражал вежливо:

— С чего это ты взял, что завтра дороже будет? Может быть, наоборот, в два раза дешевле... Подумать надо...

— Потом будешь думать! Завтра я сам тебе водочки куплю! А сегодня нам срочно нужно по четырнадцать тыщ найти, чтобы десять процентов стоимости внести! Вставай уже!

— А остальные девяносто процентов где возьмем?

— А на остальные девяносто нам сама биржа рассрочку дает. На бирже мы быстро заработаем и рассчитаемся.

В это время, напомним, хлеб все еще двадцать копеек стоил. Это если в Чирчике, но там большая буханка. А в Москве, скажем, батон нарезной все еще тринадцать копеек стоил, но масса его много меньше была чирчикской буханки.

То есть двадцать восемь тысяч двести рублей — немалая сумма, хоть это всего и десять процентов от стоимости. Пришлось вставать. Пришлось думать. Друзей, конечно, напрячь опять пришлось.

Деньги удалось собрать только завтра, но сегодня мы свое брокерское место зарезервировали.

На Российской товарно-сырьевой бирже продавалось все — от носков до автомобилей «Жигули».

И понеслась наша брокерская жизнь! Сами мы, конечно, в торгах не участвовали — брокеров наняли. Толя совсем нет, а я иногда и сам забредал и руководил нашим брокерским отделом. Тогда мы покупали партию веников из сорго или весь тираж двухтомника Зигмунда Фрейда. А это, оказывается, были не самые лучшие вложения.

Вскоре и Толя заметил, что водку пить у меня лучше получается, чем биржевать, и начал задумываться: не пора ли нам продать наше брокерское место. Тем более что цена на него выросла, и можно уже было получить три с половиной миллиона против двухсот восьмидесяти двух тысяч потраченных.

Пока мы с ним думали и решали, цена на наше брокерское место подскочила до шести с половиной миллионов рублей. И тут мы уже перестали думать и быстренько продали наше брокерское место.

С чемоданами вырученных денег мы кинулись по магазинам — квартиры и другую недвижимость законно тогда купить еще было нельзя.

Но мы опоздали: магазины уже были пустые совсем, как голова после вчерашнего застолья. В промтоварные и соваться было нечего, а полки продуктовых магазинов буквально пару дней назад еще были уставлены километрами консервов с морской капустой по сорок копеек и сушеными бананами по девяносто копеек. Я морскую капусту очень люблю и, заходя в магазин, подсчитывал судорожно, сколько на свою половину в три миллиона двести пятьдесят тысяч рублей смогу банок купить.

Но несколько не получилось: сегодня полки магазина сверкали белизной и чистой, как операционная кремлевской клиники. Не понимаю, почему вообще магазины были открыты — продавцам абсолютно нечего было делать.

И вот здесь Толе его резисторы вспомнились. Мы зашли в пустой радиомагазин. Он не совсем пустой был все же, то тут, то там на полках валялся какой-то неликвид сорокалетней давности.

И Толя сказал продавцу, чтобы он полки полностью освободил — мы покупаем всё. Склад тоже надо вычистить, мы и со склада покупаем тоже все. Магазинщики не спорили, все собрали до последней крошки. Барахла набралось много, мы еле в «ниву» мою все запихнули.

— Сколько с меня? — завопил счастливый Толик.

— Семьсот двадцать восемь рублей и семьдесят девять копеек!

Мы приуныли... Что же делать с остальными шестью миллионами четыреста девяносто девятью тысячами двумястами семидесятью одним рублем и двадцать одной копеей?

— Что, совсем больше ничего нет? — спросил расстроенный Толя.

— Совсем ничего, — горестно развел руками директор магазина. — Можете сами обыскать.

Пока мы по магазинам бегали, оказывается, открылось акционерное общество под названием «Ринако». Телевизор по всем каналам захлебывался рекламным слоганом, который я, может быть, помню неточно:

Вот разбогатею и куплю собаку,
Назову не Шариком, назову «Ринако».

Чтобы разбогатеть до покупки собаки, мы с Толяном побежали и купили акций «Ринако» на сто тысяч рублей — по пятьдесят каждому. Там же, в новом офисе, торговали акциями еще одного нового акционерного общества — «Ваше коммерческое телевидение». Взяли до кучи и этих по двадцать пять тысяч на лицо.

Потом нашли других ловкачей — акционерное общество «Военно-промышленная инвестиционная компания». Здесь мы уже не мелочились — купили по пятьсот акций каждому стоимостью по тысяче рублей за каждую.

Мудрый Толя говорил, что инвестиционный портфель должен быть диверсифицирован — разные акции будут расти в цене по-разному.

Но здесь он ошибся — кинули нас все эти АО без затей и совершенно одинаково.

В общем, распорядились своими миллионами мы довольно бездарно: накупили на нашей же бирже всякого мусора, а на остатки съездили с Толей в круиз по Средиземноморью.

ВПИК, конечно, гады, но на «Ринако» и ВКТ я не в такой обиде.

18

Фирма наша разрасталась. Мы сняли большой подвал в Свиблове и набрали штат. Я съездил в Промстройбанк и довольно легко получил кредит в десять миллионов рублей, о котором вскоре забыл, но утешает одно: не один я забыл, они тоже забыли.

У нас уже был не один помощник, а человек до сорока работников от компьютерщиков до сторожей. И милиционеры дежурили при входе. И еще собака Толина поселилась у нас в подвале — огромный немецкий дог по имени Бари. Он быстро влился в коллектив и стал его полноценным членом. Ночными сторожами у нас подрабатывали мои друзья из числа творческой интеллигенции, и они время от времени устраивали ночные пирушки. Барика тоже не обходили, и он, бедняга, напивался подчас так, что ноги его разъезжались в разные стороны, и он падал.

Даже не знаю, что бы мы без Толи делали. Бандиты тогда в очередь выстраивались, чтобы ввалиться к предпринимателю с предложением, от которого невозможно отказаться. К тем, кто попроще, приходили и говорили, что на нашей территории, мол, работаете, ребята, делиться надо. Тем, что покруче, ворковали, что господа вы уважаемые, делом занимаетесь серьезным, вам защита нужна. Милиционеров, стоящих при входе, они не боялись и даже в упор их не видели. Милиционеры их тоже не замечали.

Но у нас проблем с бандитами не было. Один только раз ввалилась к нам компания из пяти-шести особей коротко стриженной молодежи в кожаных куртках и сообщила, что такой уважаемой фирме непременно защита нужна, а они как раз на этой территории за порядком следят.

Все, кроме Толи, оцепенели. А Толя не оценил вежливого тона гостей, смело шагнул к ним и строго спросил, от кого они работают и почему позволили себе прийти без звонка. Разговаривать с кем попало у него времени нет.

Старший из стриженных выдержал паузу, сверля ледяными глазами моего Толю, и спросил очень тихо, но веско:

— Мы от Отари Витальевича работаем. Могу ему позвонить.

Толя обрадовался:

— Звони, конечно, и не забудь сказать, что он мне партию на билиярде на Аэропорте остался должен.

Свирепый глаз заколебался, но звонить никому не стал. Толя потребовал, чтобы незнакомцы представились, он сейчас сам позвонит Отари Витальевичу и расскажет, что его нерадивая шпана без толку шляется на районе, серьезных людей от дел отвлекает.

Незнакомцы вдруг засобирались — вспомнили, что у них дела неотложные:

— Мы в следующий раз зайдем!

— Милости просим! Отари Витальевичу привет! — радушно провожал незваных гостей Толик.

Следующего раза не случилось. Больше к нам никто не приходил — ни от Отари Витальевича, ни от кого бы то ни было еще.

Кстати, Толя не блефовал — он действительно был знаком с Отаром Хванчкарашвили еще по прежним далеким временам.

Наладив работу, мы с Толяном решили отдохнуть и проветриться в Таиланде. Поселились там в маленьком, но роскошном отеле на берегу океана близ города Паттайя. Такого великолепия я раньше не видел: сады диковинные, бассейны, пруды с золотыми рыбищами по килограмму каждая, скульптуры мраморные, мебель садовая из ви того чугуна. И все это великолепие прямо на берегу океана и только на четверых. Дело в том, что, кроме нас с Толей, в отеле жили еще только два молодых человека, остальные номера пустовали.

Вообще, русских в те годы не так много ездило, но двое наших соседей по отелю оказались-таки ими, точнее, один был русский, другой татарин.

Соседи оказались приятными во всех отношениях людьми, дружелюбные и вежливые. Сразу видно, что бандиты на отдыхе. Потом, познакомившись поближе, мы узнали, что они не совсем бандиты, но бойцы профессиональные: борьба, карате, бокс — все в одном флаконе. То ли они телохранителями где-то трудятся, то ли костоправами — неясно, а спрашивать бестактно как-то. Но зато о своем хобби ребята рассказывали с удовольствием — оказывается, в свободное время они еще на «Мосфильме» каскадерами подрабатывали. Они очень интересно рассказывали о каких-то киношных эпизодах, и мы подружились.

Всюду стали ходить вчетвером.

Однажды вернулись мы в отель из города, как обычно, около двух часов ночи, и сели за столик у бассейна горло промочить.

Хорошо, тихо, вокруг ни души, весь обслуживающий персонал спит давно и не в отеле даже, а у себя дома. Только мы да лунная дорожка, убегающая в океан.

Вдруг наша идиллия была нарушена: из кустов выполз какой-то абориген и, не мешкая, направился к нам. Подходит и говорит без обиняков на своем полуанглийском-полутайском, что вот, мол, тут такое дело, что Америка — это намбер ван, а Россия, наоборот, — недоразумение сплошное. Не знаю про первую, но насчет второй я мог бы согласиться, если бы этот разговор не в Таиланде и не с незнакомым тайцем был.

Кстати, вблизи неожиданный гость уже не показался таким уж сильно незнакомым — какое-то отношение к отелю он имел. Видел, видел я его пару раз то лампочки вкручивающим, то газон стригушим.

И вот теперь этот поклонник Америки стоит перед нами и всякие песни обидные поет про географию. Я, кстати, допускаю, что если бы мы были американцами, он бы пел свою песню наоборот. Ну, не понравились мы ему, что делать!

Мои уставшие от впечатлений длинного дня друзья знали, что делать, но я их остановил, потому что международные отношения — это моя прерогатива.

Я сдержанно поблагодарил туземца за исчерпывающую политинформацию и дружелюбно предложил ему продолжить путь, который он из-за нас вынужден был прервать. В ответ на это разумное предложение мой визави понес что-то насчет тайбоксинга. Дескать, он сейчас выступит, а я буду иметь возможность по достоинству оценить его мастерство. Мои товарищи нетерпеливо заерзали на своих стульях, но я их снова остановил и выдал оппоненту контрпредложение: заменить тайбоксинг армреслинг. Русоненавистник неожиданно легко согласился, и мы пошли с ним за другой столик, чтобы было где локти расставить.

Пока мы шли вдоль бассейна, я размышлял о глупости моего соперника: на что он рассчитывает, когда его вес пропорционален моему, как один к трем. Но противник мой оказался не столько глупым, сколько подлым. Когда я шел по самой кромке бассейна, н, семеня шаг за шагом, вдруг изловчился и толкнул меня. Но не рассчитав разность наших масс, незадачливый таец скользнул руками по моему мокрому после купания телу и сам полетел в бассейн. Я же в недоумении и возмущении остался стоять на берегу.

Из-за нашего столика раздался хохот и аплодисменты. А подлый тайбоксер тем временем стал проявлять себя как тонущий. Простодушный, я помог ему вылезти из бассейна, после чего, не мешкая ни секунды, он снова попытался столкнуть в воду меня. Но снова я остался стоять на берегу, а мой толкатель снова очутился в воде. Он, наверное, плохо в школе учился по физике, если не понимает, что при соотношении масс как один к трем надо рычаг использовать или строительную технику.

За моим столом смех перерос в гомерический, а обиженный таец больше не стал изображать тонущего, отплыл в сторонку и сам вылез на берег.

И в этот момент я вдруг вижу, как из темноты, из-за каждого дерева, каждого куста вырастают и двигаются в мою сторону фигуры друзей нашего надоедливого туземца. Прямо как тараканы, только покрупнее. Вероятно, его коллеги по тайбоксингу.

Я с грустью понял, что переговоры на высшем уровне провалены, поняли это и мои товарищи, но с радостью. Они с облегчением вскочили из-за стола и моментально оказались возле меня. И вовремя, ибо один из самых шустрых гостей примеривался уже своей изящной тайской ножкой в мою грубую татарскую головушку.

И тут началось! Прямо как на «Мосфильме». Наши с Толей новые знакомые показали себя во всей красе! Они встали между нами и нападавшими и косили агрессоров мельтешащими руками и ногами, как из автомата.

Мы с Толей никакого участия в драке принять не могли: наши защитники танцевали вокруг нас, не давая ни нас достать, ни нам как-то поучаствовать в дискуссии. Но нападавших все прибывало и прибывало, и они уже начинали нас теснить.

Из-за спин наших друзей, умудряющихся в своем бесконечном танце загораживать нам все поле боя, мы с Толей ничего не могли разглядеть. Тогда мы стали хватать тяжелые стулья из кованого чугуна и бессистемно кидать их через головы наших защитников в эпицентр пожара. Что-то вроде артиллерии.

Я кидал, как учили меня на разгрузке вагонов, чтобы не устать — размеренно и неторопливо. Но стулья вскоре закончились, и пришлось нам браться за кресла и столы.

Противник все прибывал, и мы стали тесниться к отелю, в котором так ни единой души и не было, чтобы хотя бы позвонить в полицию. Мы уже были совсем рядом со зданием, и, кинув последний стол через головы моих защитников, я бросился внутрь звонить в полицию.

Первое, что я увидел в холле, это лежащий навзничь без признаков жизни любитель Америки, виновник всего торжества. Кто его здесь мог пришибить, ведь никто

из нас с момента начала конфликта в отель не заходил? И понял я, что этот скотина, заваривший всю кашу, попросту сбежал и прятался в холле, пока не увидел меня. Тогда он лег на пол и притворился бесчувственным или мертвым. Хотелось мне пнуть мерзавца, но времени на это не было, бой уже шел в холле.

Полиция подоспела вовремя, и вскоре мы с Толей оказались в полицейском участке. Оказалось, что от наших действий тяжело пострадало тринадцать мирных тайских тружеников, девять из которых госпитализированы. Кроме того, мы разнесли по кочкам весь прибрежный отель, гостеприимно нас приютивший, а именно: фонтаны, балконы, бассейны с золотыми рыбами, статуи древнегреческих богов и еще четыре стола, восемь кресел и четырнадцать стульев из кованого витого металла.

Отвечать пришлось нам с Анатолием, ибо наших подельников тоже увезли в госпиталь, где наложили девять швов на голове Рушану, а Сергею восемь. Но вскоре их тоже привезли в полицию и закрыли нас четверых в одной камере.

Не помню, сколько мы просидели, прежде чем снова начались переговоры, теперь уже нас с полицейскими. Мне как опытному дипломату наша компания делегировала все полномочия. Переговоры были трудными, и одним днем дело не закончилось. В итоге сошлись на четырех тысячах долларов. Но за эту сумму полиция должна была нас еще из разрушенного отеля вывезти и перевезти в другой, в самой Паттайе, уже без океана, но с бассейном, где мы могли бы спокойно дожить оставшиеся нам от тайландского отпуска несколько дней.

Мои товарищи больше не вернулись в свой отель, даже за вещами. Меня одного свозили полицейские забрать все вещи и сразу отвезли в Паттайю, в новый отель. А чуть позже привезли и моих товарищей.

Хочу успокоить сегодняшних туристов — описываемое мной действие происходило в начале девяностых, когда руссо туристо для тайландцев что-то вроде белых медведей были. Вот слышали же, что есть такая страна и она чуть ли не половину глобуса занимает, а кто, что, зачем — непонятно.

19

Мы потом еще в круиз по Средиземноморью с Толей съездили. И тут он единственный раз на моей памяти напился. Сейчас я понимаю, мне кажется, какие чувства тогда им овладели. Вот он — сиделец и изгой — вдруг дожил до того, что в круиз едет, как белый человек, с заходом в порты лучших европейских стран.

Он умудрился напиться еще до входа на трап нашего корабля, мирно ждущего нас в Одесском порту.

Я только чего хотел сказать — этот круиз стал последним, когда мы были так счастливы.

Еще до круиза дела наши были совсем уже нехороши. Компания наша компьютерная хирела на глазах. Конкуренция стала страшной.

Очень скоро стало ясно, что счастье наше кончилось. И тут Толя делает ход конем: объявляет мне, что уходит из фирмы. Уходит как настоящий мужчина: ничего, кроме трусов, с собою не берет. И даже больше того — Барика нам оставляет. Хотя кому нужен был спившийся уже к тому времени Барик?

Толя нашел каких-то старых знакомых, и они устроили его в группировку, базирующуюся на фармзаводе... Но вскоре пришлось всю группировку поубивать. И надо же было Толе незадолго до этого туда влиться!

В последний раз мы с Толей виделись на проходной. Он был очень счастлив и воодушевлен. Сказал мне, чтобы я готовился: скоро он меня к себе заберет. Он уже

со всеми переговаривал, и все согласились, что такие люди, как я, им очень нужны в руководстве.

Не забрал, скотина! Хотя нет, он не виноват — он никогда не разбрасывался невыполнимыми обещаниями. Он не смог не по своей вине, он исчез. Вся группировка в одночасье исчезла, но до нее мне дела нет. Исчез Толенька мой, и тела его не нашли до сих пор.

20

Он позвонил... Позвонил однажды и в жизни моей тем звонком большой след оставил. И я все время жду, но он не звонит больше. Много лет не звонит, и ясно, что не позвонит больше никогда, но я все равно жду.

Теперь он уже реже меня мучает, а в первые годы я очень тяжело ощущал пропажу Анатолия Константиновича. Ночами часто снился мне он, причем так явственно, так отчетливо, что, проснувшись, я еще минут пять никак не мог поверить, что неживой он, это лишь сон был. Наверное, потому это, что непохороненный и свидетельства о смерти нет.

Поэтому, надо думать, и меня долго еще не трогали насчет поделиться, и только когда всем стало ясно, что больше Толя не появится, на меня, как мухи на дерьмо, кинулись «разруливатели вопросов», воркуя задушевно, что надо поделиться.

Делиться, впрочем, уже было нечем, но Толя продолжал помогать мне разговор вести с бандитами. Он приходил ко мне во сне, как обычно, многословный и смешливый, и учил, что и кому я должен сказать, чтобы отстали, а на какую стрелку вовсе не должен ходить — там в меня пулю всадят. Я удивлялся мудрости его советов, он казался мне аксакалом, а ведь было ему всего сорок лет.

С его ли помощью или нет, но от меня отстали.

Незадолго до полного краха моей незадачливой бизнес-карьеры мне позвонила жена Толи Надира. Позвонила и приехала ко мне в офис, откуда уже выносили вещи. Приехала, поговорили мы о том о сем, и она попросила денег — совсем ей тяжело одной сына Костика растить.

Просьба была вполне уместной и законной. Но денег у меня уже не только в сейфе не было, но и в кармане, случилось только то, что я сегодня, в шесть утра выехав потаксовать, сумел заработать. Я, конечно, отдал ей все и сказал, что завтра еще где-нибудь разыщу и непременно ей домой привезу. Она посмотрела на меня пристально и с сожалением и не велела больше приезжать. Потом я ее следы потерял.

Распродав остатки компьютерного барахла и бытовой техники из нескольких когда-то магазинов, я закончил очередной этап своей жизни, протекающей почему-то всегда по синусоиде, и в очередной раз впал в бедность.

Меня это, правда, уже мало занимало: я нашел себе новое увлечение и почти переехал жить в писательский городок Переделкино.

У Толи никогда не было друзей. Облик его жуткий и путь, который он выбрал, не предполагали настоящей дружбы. И вот всего за три года до смерти в его жизни случилась настоящая и бескорыстная мужская дружба.

Настоящая дружба всегда наносит непоправимый урон каждому — оба становятся другими людьми. И наша дружба — не исключение. Он стал другим человеком, что-то взяв от меня, и я за эти три года нашей дружбы стал другим человеком.

Он был вором когда-то, а кончилось дело тем, что это я у него наворовал много.

Помню, еще в раннем детстве меня бабуля любимая все время уговаривала красть. Она говорила, чтобы я воровал у всех, кто имеет какие-то знания. И дружить я должен с теми, кто имеет много знаний, тогда будет много чего украсть. Она переборщила, бабуленька моя. Я послушался ее и за жизнь свою успел украсть так много, что в голове моей огромной не помещается давно. От переполнения ее так и подмывает взорваться иногда, бестолковушку мою, наполненную ворованными знаниями. Надо бы отдать кому-то, так не берет же никто.

Он давно мне не снился, не говоря уже о том, чтобы позвонить. А тут вдруг опять, как раз когда я заканчиваю этот опус. И опять живой, опять смеющийся всем своим испещренным глубокими оспинами лицом. Говорит: я же специально так долго скрывался, чтобы понять, как ты ко мне относишься.

А как я отношусь? Не знаю.

Я позвонил своему сыночку старшенькому. Он, конечно, тогда маленький был, но вдруг вспомнил:

— Я прекрасно помню дядю Толю-волшебника. Он всегда был веселый, громкий, шутил, показывал фокусы, смеялся. Один только раз я спросил его о чем-то, и он неожиданно ответил на мой вопрос серьезно. Не помню, о чем я спрашивал, не помню, что он ответил. Но то, как резко он переменялся, каким стал грустным и тихим голос его, как он не смотрел на меня, отвечая, — этого не забуду никогда.

И я тоже не забуду.

И снись мне дальше, Толя! Я больше ничего тебе не должен.

ВРЕМЯ ПИТЬ ВОДКУ

Бывали разные времена, прошу поверить на слово. Владимир Семенович вспоминал, что бывало даже, что и цены снижали. Я и сам прекрасно помню все и знаю даже, что дальше будет.

Так вот, хочу душевно признаться, что много лет пил исключительно водку. Потом я как-то стареть начал и с водки на красное сухое вино вынужден был перейти. Объем пришлось увеличить в разы, но в общем и целом жизнь продолжала удаваться. Потом я почувствовал, что и красное вино уже тяжеловато заслуженному советскому пролетарию, и перешел на белое.

Сейчас совсем уже было на кефир думал перейти, так опоздал чуть-чуть вскочить на подножку уходящего поезда...

Тогда время от времени мне разные знакомые и незнакомые люди водку в подарок приносили. И не простую, как во времена, когда я сантехником в военном общезжитии подвизался, а пафосную и этническую. Коллекционную, можно сказать, в красивых бутылках.

И вот однажды, когда деньги в семье совсем закончились, даже и литр винишка за рубль семьдесят в соседнем сельпо не купить, я вдруг вспомнил, что коллекция же у меня имеется!

— Жена, а где тут у нас водка в красивых бутылках, даренная мне за писательский талант? Что-то я не помню, чтобы я ее дегустировал, и на бутылочные осколки не помню, чтоб наступал?

А она мне нагло так:

— Так нет, любимый, в доме даже капли водки, я за этим строго слежу!

— А-а-а... А где же мои подарки за писательский талант? Я же хорошо помню хоть двух-трех настоящих трезвых читателей на этой земле!

А она, бесстыжая, глазом не моргнув, отвечает с улыбкой:

— Я твоей водкой, любимый, пульверизатор для мытья окон заправляю. Сильно уважают твой писательский талант — я даже забыла, когда специальную жидкость для этого покупала.

Я аж задохнулся от возмущения — вот для чего я пишу, оказывается.

— Ты что — совсем?!

— Нет, это ты совсем, поэтому водку я в доме не держу! С вином еще туда-сюда — рассказы пишешь. А с водкой ты слишком активный становишься и кидаешься огород копать. Потом три дня лежишь в коме, и все, что ты посадил, успевает засохнуть.

И вы еще хотите, чтобы я 8 Марта праздновал после этого?!

Уткнулся я горестно в окно монитора, обиженный, но высокий интеллект и здесь не позволил впасть в уныние:

— Что-то у меня монитор запылится. Где у нас пульверизатор?

Жена, бесхитростная такая, принесла требуемое.

Хорошая жидкость оказалась, по-моему, словацкая грушевая. И главное — бутылочка почти полная была, вовремя я успел.

Успел-таки! Хоть к последней бутылочке, но успел. А сколько всего хорошего в жизни своей бездарно проморгал!

Окончание следует

Владислав КИТИК

* * *

Тряпки, склянки, ржавые ножи,
Шляпы старомодные из фетра,
Выброшенный кем-то сборник Фета,
Пережитых фабул фетиши,
Календарь, краснеющий от дат,
От сенсаций желтые газеты, —
Это хроникальные приметы,
Голых фактов антиквариат.
Трафареты званий и наград,
Маски, так похожие на лица.
Беллетристам это пригодится
Лет, пожалуй, через пятьдесят.
Впору все: дуда — под дурака,
Стул — по чину, шапка — по Семену.
Доставай гроши к аукциону.
Продается время с молотка.

МОРЕ

Волнуется по разным пустякам,
Поскольку равнодушия не терпит.
Всегда идет по собственным следам,
Чтобы собрать обломки звезд и терний.
Витийствует, лепечет, ворожит,
Перебирает крепдешин июня,
Для выпендрежа пляжников страшит,
Из берегов выходит в полнолуние,
Поет, как nereida у кормы,
Как счетовод над цифрами, бормочет.
Оно совсем такое же, как мы:
Всего-то лишь услышанным быть хочет.

Владислав Адрианович Китик родился в 1954 году в Архангельске. Лауреат муниципальной премии им. К. Паустовского, дипломант премии им. Кириенко—Волошина (Киев). Автор книг поэзии и прозы, ряда обзоров и статей по литературной критике. Публикации в журналах «Знамя», «Нева», «Гостиная», «Южное сияние» и др. Живет в Одессе.

* * *

В обрамленье кольца приуныл попугай-попрошайка.
Не меняются люди, меняя свои адреса.
Кто стирает во время дождя? Ты плохая хозяйка,
И на кухне твоей завелись в решете чудеса.
Дождик, с неба бегущий со стрекотом швейной машинки,
Беспредметностью темы похож на твою болтовню.
Только не умолкай, только пой и кружись, как пластинка,
И над газом суши в голубых облаках простыню.
Чайник выпустил пар, хорохорясь, и пышет эмалью.
Ни к чему этот чай, золотая шасла, алкоголь.
Только не уезжай за шальной иноземной печалью, —
Там отчаянье родины вскроется, как бандероль.
...Только не забывай. Там, за морем, баталий не слышно.
Отсеваются плевели. Спит чемодан под рукой.
Слился с рокотом лайнера грохот кудрявый на крыше.
И одна виноградина долго кислит за щекой.

* * *

Как будто кто-то там в сторонке,
По виду строг, но не суров,
Склонился, словно на иконке:
Скупая просьба. Вечный зов.

Глоток воды, щепотка соли
И мысли жалящей оса
О том, чтоб от земной юдоли
Забиться хоть на полчаса.

Там, в небе, жить легко и просто.
«Ты правда хочешь?» — «Да, хочу!
Мне крылья подбирать по росту?»
Смеется:
«Лучше — по плечу».

* * *

И случай — Бог, и крест — на всякий случай,
Хоть плюнь на все и разверни гармонь
Во все меха и весь диапазон
От диссонанса до благосозвучья,

Так день за днем. Лишь памяти плечо,
Пока за нею движешься сквозь тучи,

Да осознание помнить для чего,
Когда всю ложь, как шапку нахлобучат,

И напрягаешь слух, как ученик,
Чтобы расслышать гулких слов гекзаметр.
И опыта — лишь выписки из книг,
И времени — лишь ночь перед экзаменом.

* * *

Июльский зной тяжелый, как весло
Галерника. А что не тяжело?

К обратному обычный разворот?
Листая память, ночь впотьмах бредет.

А что легко? Лебяжий пух, вода?
Привычка, что дается без труда?

Сверчки, ракетный залп. Залаял пес.
И воздух их известия разнес.

Ребенок всхлипнул, растревожил род,
Как будто зная что-то наперед.

И мать спешит, склоняется над ним...
Из темноты всплывает лунный нимб.

* * *

Тепла не кончился лимит,
Все так же параллельны рельсы,
Листвы седеющие пейсы
Ленивый ветер шевелит.
Звон православный, гул в трубе,
Гудки в порту для равновесья,
И всей эклектикой Одесса
Морочит голову тебе.
Пошатываясь во хмелю,
Трамвай пересекает площадь.
Жизнь не сложнее и не проще
Того, что в ней и так люблю,
О чем грущу, о чем пишу
Свою несложную молитву.
Стучат под каблуками плиты.
Этаж прижался к этажу.

РАССКАЗЫ

БОРОДАТАЯ АФРОДИТА

Я недавно по телевизору смотрела передачу про путешествия. Что-то типа «Галопом по Европам». Там рассказывали про удивительную находку на Кипре — бородатую Афродиту. Такая небольшая статуэтка с формами женщины, но с растительностью на лице. Меня это удивило, и я долго думала, что древние греки имели в виду. Наверное, у них тогда еще не было этого безобразия в виде Кончиты Вурст. Значит, что-то другое. Еще подумала немного и поняла: бородатая Афродита — это я.

Нет, у меня все нормально, никаких волос на лице нет, и вообще повезло: я красивая. Этому есть масса подтверждений. И мужское внимание, и зависть знакомых девиц, да и зеркало никто не отменял. Повезло. И помогло для достижения моих целей.

Уже в десять лет я тщательно все спланировала наперед. Напрасно вы считаете, что дети ничего не понимают в жизненных ценностях. Я очень хорошо понимала и очень хорошо помню, как резко изменился мир вокруг меня.

Я жила в обычной семье. Почти в обычной. Мои родители — очень прагматичные люди. Что дарили ребятишкам на праздники в других семьях? Игрушки, безделушки, сладости. Мои предки считали, что дети способны купить себе то, что им нужно, поэтому у нас всегда считалось: деньги — лучший подарок. Когда я совсем маленькая была, тратила сразу все. Жвачка, заколки, куколки. Папа с мамой ничего не говорили, лишь плечами пожимали и никак не ущемляли меня в правах. Поэтому только в четвертом классе до меня дошел великий смысл пословицы «Копейка рубль бережет». И я стала откладывать деньги. И это стало моим смыслом.

Я ни в чем не нуждалась. Была сыта, обута, одета. Да, одежда была скромная, а еда обычная. Но никто не голодал. Гречка, картошка, суп варили с косточкой, а мясо шло на второе. В основном курятина, если честно. На подмосковном участке родители выращивали овощи, выделили и мне грядку. Думали, я клубнику посажу, чтобы есть, а я цветы научилась разводить. Они удивились, но перечить не стали. В библиотеке была куча книг по садоводству, я их проштудировала. И вот! Пока они картошку окучивали, у меня с весны до глубокой осени росли цветы. Вот и посчитайте, кто больше заработал! Весной срезала тюльпаны — и к станции. За час-другой все мои цветочки разлетались, как горячие пирожки. А что? Стоит скромная девочка в линялом платишке, ничего не просит, к людям не лезет. У кого быстрее купят — у милого подростка или у горластой бабки? Сами понимаете. И так весь теплый сезон. Начинала с тюльпанов, потом нарциссы шли в ход, там и пионы расцветали. Их особенно взрослые жен-

Татьяна Сергеевна Воронина родилась в Томске. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар критики и публицистики). Автор более ста статей в СМИ, сценариев художественных и документальных фильмов. Совместно с П. Кузьменко издала четыре книги в жанре нон-фикшн. Ее двадцать пьес входили в лонг- и шорт-листы различных конкурсов. Лауреат Международной литературной премии им. В. Г. Короленко (2019). Живет в Москве.

щины почему-то любили. Летом декоративные подсолнухи с травкой — самое милое дело! И выглядят богато, и уход за ними элементарный. А дальше уже георгины и гладиолусы. На первое сентября вообще, что ни принеси, все сметут. Хризантемы тоже отлично продавались. С розами не заморачивалась, очень капризные. За сезон прилично зарабатывала. Да и во время учебного года без прибыли не оставалась. Кусок хлеба с сыром или с вареной колбасой — вот и весь обед. Мне хватало. А деньги на школьную еду — в кармашек. Подруг у меня не было. А зачем? Одноклассницы меня жалели, мальчишки смеялись, а мне-то что? У них свои планы, у меня свои. Помню, одна девочка, Катей ее звали, подарила мне красивую заколку. Дорогую, наверное. Но ей-то что. Она несколько лет за границей жила с родителями, когда вернулась, всем одноклассникам презенты привезла. Кому ручку красивую, кому жвачку, а мне вот заколка досталась. Может, потому, что у меня волосы длинные. Самые шикарные в классе. Храню эту заколку до сих пор. Когда грустно, достаю ее и люблюсь. Ни разу не примерила даже. А перед кем выпендриваться-то? Вещь добротная, пусть полежит, она кушать не просит.

Помню, пришла в седьмой класс, так все мои одноклассники по стойке смирно встали. Тогда я и поняла: повезло мне с внешностью. За лето выросла, грудь стала оформляться, волосы выгорели, почти блондинка, да еще и загорела на участке, не хуже, чем на их Кипре. И ничего, что платье прошлогоднее, короткое, зато ноги стройные. Тут уж и смеяться перестали, а пацаны подкатывать начали. Но у меня ни-ни, не надо этого. У меня план.

Вот и про план. До сих пор эта тетрадка школьная, где детским почерком расписана вся моя жизнь, лежит в укромном местечке.

ПЛАН

1. Накопить денег.
2. Поступить в институт, закончить на отлично.
3. Купить машину.
4. Устроиться на хорошую работу.
5. Найти хорошего мужа с квартирой, чтоб работающий был и не жадный.
6. Накопить денег и купить дачу.
7. Родить ребенка.
8. Еще накопить денег (побольше).

Маленькая была, каким быть девятому пункту, представления не имела, но время подумать было. Я немедленно приступила к осуществлению задуманного.

Первый пункт, основной и главный, присутствует во всех последующих пунктах неукоснительно. Это, вообще-то, процесс, а не результат.

Пункты 2 и 3 — поступить в вуз и купить машину — вообще не сложные. Училась хорошо, поступила в институт сразу и без всяких репетиторов, жила у родителей. На втором курсе купила подержанный автомобиль, деньги-то были. Тут уж я на калькуляторе подсчитала, так выгоднее оказалось, чем из Подмоскovie на электричке и на автобусах мотаться на учебу. Родители только головой покачали. А у меня на все времени стало хватать. И на учебу, и на подработку — на первом курсе стала писать за деньги курсовики для ленивых студентов. Потом и репетиторством занялась. Так что меньше чем за год машину свою отбила с плюсом. Родителям помогала урожай вывезти, а то они уже не такими шустрыми стали. Платили мне за бензин, а их картошкой и морковкой я и так пользовалась. Мама сама стала цветы разводить,

так что деньжата у них водились. Младшая сестра подрастала, но не такая умная, как я. То помада у нее, то джинсы с рынка. Но я молчала, чего учить, своя голова у каждого есть.

4. Устроиться на хорошую работу

Тут у меня не сразу получилось. Устроиться надо было не просто на хорошую работу, чтоб зарплата была большая, но и подумать вперед, про следующий пункт. То есть искать такое место, где много мужчин. На улице я принципиально не знакомилась, хотя многие подкатывали. Видала я таких, наврут с три короба, а бедные дурочки уши и развесят. А потом сама с пузом и жених ни кола ни двора. Поэтому работа — наиважнейший пункт. Походила я, посмотрела и выбрала фирму, где машины производят. Там же не только работяги, есть и своя интеллигенция. Инженеры, сотрудники охраны труда, проектировщики и начальники разные. Тут уж не соврешь, вместе трудимся. Пошла к девочкам в бухгалтерию, поболтали, и зарплата его уже не секрет. В кадрах, пожалуйста, узнала про семейное положение и жилье, будьте любезны. У нас еще и диспансеризация два раза в год. Так что и здоровьем поинтересоваться можно. А что? Муж — это долгосрочный проект. Кому нужны больные или, там, шизофреники. И корпоративные мероприятия способствовали правильному выбору. Тут и познакомишься в неформальной обстановке, и посмотришь, не заглядывает ли в бутылку. Алкашей я сразу отметала. Мой отец сроду не пил, чего столько денег тратить на ерунду. А потом еще и болеть с похмелья. Алиментщиков тоже вычеркивала сразу. Зачем это нужно, чтоб из зарплаты куда-то вычитали? Небось и подарки своим детям дарил бы. Не нужно мне этого. Тоже в кадрах сразу можно было узнать. Короче, хорошую работу я нашла. Очень довольна была.

5. Найти хорошего мужа с квартирой

Собственно говоря, реальных претендентов было трое. Этих я просеивала тщательно. Вася, первый, недолго продержался, хотя был самым перспективным. Сами посудите — квартира в центре. Двушка в собственности. И симпатичный. Подарки дарил хорошие. Золотую цепочку и кулон как-то преподнес. Платок красивый, дорогой, наверное. Один раз деньгами дал на Восьмое марта, извинялся долго, что не успел купить, а я и рада. В кафе приглашал и в «Макдональдс». А в рестораны я и сама не хотела. Понимала же, что не соответствую по дресс-коду. В джинсах туда не пойдешь, а другого наряда у меня не было. Всем хорош был Вася, только не верил, что я девственница. Мне тогда уже двадцать три года было. Проверить все хотел, но я крепень. Поцеловаться еще можно, а там уж — прочь ручонки от девчонки! Надоел, хотя больше всех по-мужски нравился.

Потом я на Витьку переключилась. Тоже ничего с виду, солидный. Хоть и молодой. В театр любил ходить, а я не отказывалась. Там у них все демократично, можно и в джинсах, и в кроссовках. Повязала Васькин шелковый платочек, уже и нарядная, не хуже других. В кино были. Честно говоря, мне там даже больше понравилось. Сама я, как вы понимаете, не ходила, а тут Витек пригласил. Роскошно, вот что скажу! Попкорн мне заказал сладкий и кока-колу. Такая вкуснятина! Сиди себе в уютном кресле, смотри на огромном экране кинофильм да попкорном похрустывай. Вот это я называю — шикарная жизнь. Иногда можно. За чужой счет, конечно. Полгода мы с Виктором встречались, а потом как отрезало.

А дело вот как получилось. Пригласил меня Витя в путешествие. Виды имел серьезные. Да не абы куда, а в самую Турцию. Путевки купил на свои средства. Стоимость была немалая. Я подумала, заманчиво, конечно, чужие страны посмотреть, да в море первый раз искупаться. Я эти их пальмы только по телевизору видела. Но подума-

ла и отказалась. Сами посудите: я девушка, а придется мне с чужим мужиком в одном номере жить. А вдруг разомлею на заграничных харчах или солнце голову напечет? А он потом переменит решение? И кому я нужна буду порченная? Потом, хочешь не хочешь, а свои деньги тоже надо иметь. Хотя у меня доллары припрятаны, но тратить их в обозримом времени я не собиралась. Короче, больше нет было, чем да. Отказалась с легким сердцем.

А он взял да с мамашей своей поехал. Ну и ладно, мне-то что, не с чужой бабой же. Через неделю вернулся загорелый, посвежевший. Позвонил, сказал, подарки привез. Подарки я люблю, намечтала себе колечко золотое, там, в Турции, говорят, дешево. Думала, предложение сделает. Встречаемся, а у него пакет в руках, такой объемный. Но и не слишком большой. Точно не дубленка или пальто кожаное. А он светится весь, чувствует себя Дедом Морозом. Подарки из мешка достает. Сначала сладости ихние, потом платочек опять шелковый, а потом... тра-та-та-там! Вручает красивый пакет, дескать, сама посмотри. Я разворачиваю, а там... белые тапочки. Реально! Меня аж в жар бросило. Он понял, что мне не понравилось, стал бормотать, что из натурального какого-то меха, ручная работа, бисером расшиты. Да по фиг мне! Подарить невесте белые тапочки, это какой же тварью надо быть! Я развернулась и ушла. Он все понял и окликать даже не стал. А мне спокойно стало, отвела судьба. Я минут тридцать отшагала, как заведенная, потом остановилась, успокоилась. Смотрю, а пакет-то в руках у меня. Вместе с тапочками, платком и финиками его дурачками. Хотела выкинуть, но вовремя остановилась. Чего разбрасываться-то? Я тоже, знаете ли, время на него свое тратила. И тапочки, в принципе, красивые. Я бы себе такие сроду не купила. А как уютно и тепло в них зимой! Так что я его добрым словом иногда вспоминаю. Но не жалею о своем решении.

А замуж я вышла за Сергея. Никаких особых достоинств у него не было. Разве что однушка в Выхине. От бабушки досталась. Мне богатого и не надо, чтоб попрекал потом, что голодранку взял. И внешне такой непримечательный. Работает в охране труда. Подкупил меня заботой своей и экономностью. На работе пирожки приносил к обеду, мамаша его пекла, на праздники деньгами поздравлял или спрашивал, какие у меня потребности. Как-то сказала, что шапочку теплую надо. Так он через три дня принес. Красивую, вязаную. До сих пор ее ношу, теплая. Опять же маман его связала.

Короче, расписались мы с ним без шума и помпы. Потом с родителями посидели у нас дома. Сами все приготовили, тут уж потратиться пришлось. Платье на мне новое было, из секунд-хенда, но так вот не скажешь, сидело отлично. Родители, как полагаются, конвертики вручили. За что им спасибо, конечно. Но свекор со свекровью могли бы и побольше дать. Еще и про меня сказали: «Хорошая девка, жадненькая». А мне понравилось, в смысле экономная.

Еще сестра была со своим парнем. Мне он не глянулся вообще, прям видно, много себе позволяет. И сеструха моя ему позволила. Уж я ее ругала, а она смеялась только да рукой махала, дескать, колхоз я. Чего там беречь?

Пережила я брачную ночь, ничего хорошего. Но гордость была, что чистая замуж вышла, пусть ценит. Стали жить с Сергеем настоящей семьей. Тут уж мы душа в душу, лишней копейки не потратим.

Я уж беременная была, сидели мы как-то с коллегами, взрослыми женщинами, на работе, чай с печеньем пили. Я, между прочим, напекла. Про жизнь говорили. Я им свою концепцию, они мне свою. Рассказала им, как мужа выбирала, а они в голос: «А как же любовь?» Да зачем она вообще нужна, эта любовь? Вон моя сестра Ритка год почти мечется со своим Виталиком по съемным квартирам, а замуж он ее не зовет! Да и кому

он такой нужен, голытьба? Хотя в ее нынешнем состоянии, пока совсем не истаскалась, и такой сойдет. Вот и вся любовь. Короче, взрослые женщины с высшим образованием, а такую галиматью несут.

6. Накопить денег и купить дачу

Сергеем я очень довольна была. Сказала, надо землю купить да домишко поставить, чтоб будущий ребенок на свежем воздухе рос. Согласился с радостью. А тут участок рядом с родителями продают. Купили, даже торговаться не стали. Муж сам дом строить начал, отец мой ему помогал. Они даже подружились за этим делом. Хоть сами и делали, все равно дороговато вышло. Стройматериалы, доставка. Но хоть рабочая сила бесплатная.

Тут уж я не выдержала, шикануть захотела. Была у меня мечта: камин настоящий. Чтобы сидеть зимой и смотреть, как огонь потрескивает. Сергей, видать, предкам рассказал, а уж они сами печника позвали, он нам камин и сладил. За их деньги. Так что я очень счастлива была и благодарила их бесконечно! Домишко получился маленький, но уютный. Я хоть и с животом была, но грядки обустроила и клубнику посадила. Для ребенка. А что останется — продам.

7. Родить ребенка

В положенный срок родила Настеньку. Роды были тяжелыми, но я ничего, сама справилась. С работы уволилась. Пришел срок в декретный отпуск идти, я к начальству. Говорю, отработала я у вас пять лет без нареканий. Если надо было выйти в выходные или в праздники, всегда пожалуйста. Так что, когда выйду из декрета, будьте любезны, зарплату повысьте. Получала я шестьдесят тысяч, а теперь мне сто надо. Короче, не согласились они. Я и уволилась. У меня, между делом, договоренность была в другом месте, там меня с распростертыми объятиями ждали. Я уж с матерью сладилась с Настенькой сидеть за небольшие деньги. Не суть. Вот и ушла, поминай как звали. Пособия, естественно, все получила.

Только я родила, еще не очухалась, а тут ковид объявился. Все прахом пошло. Я с ребенком сижу, муж дома штаны просиживает, их в отпуск отправили, а денежки мы потихоньку проедаем. И работа моя перспективная накрылась медным тазом. Что делать?!

Не представляете, сколько я пережила! Но понемногу все налаживаться стало. Завод заработал, деньги мужу стали платить. Только Сергей отчего-то стал отдаляться. Я это кожей почувствовала. Я ему ужин, а он вроде как и не замечает. Сидит с отсутствующим видом, весь в мыслях своих. Задерживаться стал на службе, а потом сказал, зарплату им сократили. Я своим девочкам знакомым звоню в бухгалтерию, а они говорят: не имеем права разглашать, ты у нас теперь не работаешь! Забыли, мерзавки, как я их финиками турецкими угощала! Но потом одна, Нинка, сжалилась, позвонила. «У мужа твоего, — говорит, — любовь. С нашей одной крутит, из бухгалтерии». Тут мне понятно стало, чего он задерживается да куда деньги семейные спускает.

Я их подкараулила возле проходной. Смотрю, мой идет, а она рядом. И ведь людей не стесняются даже. Что про нее сказать? Если честно, ни кожи ни рожи. Но одета фасонисто. Сумка кожаная, туфли на каблучках. Я прямо к ним. Подхожу, смотрю, молчу. Она аж пятнами покрылась. Тут и мой голос подал. «Это не то, что ты думаешь, это просто...» Я выслушала его мычание и говорю: «Ты, Сергей, сам выбирай. Или уходишь к этой, или живешь с нами. Деньги таскать из семьи — не позволю». Развернулась и ушла. Я, вообще, понимаю, мужикам надо на сторону сходить, хлебнуть легкой жизни. Это у меня не забалуешь, без дела не посидишь. А у этих: Сереженька, отдохни, Сереженька, полежи. Никаких обязательств. В романах про это много на-

писано. Мое такое мнение: змеи они подколодные, разлучницы эти. Влезут в чужую кровать тихой сапой, мужик оглянуться не успеет, как уже весь в долгах да в обязанностях. Прощай, дорогая семья и ребенок! Папка ваш теперь с б... жить будет.

Однако вернулся в тот день. Поздно уж было. Я ужин разогрела, отказался. Спать пошел на отдельную кушетку. Ну и ладно. Немного с него проку на супружеском-то ложе.

Утром разговор случился.

— Не могу, — говорит, — люблю ее

— Да что же ты в ней такого хорошего нашел? Что-то до тебя никто не позарился.

— А мне, — говорит, — плевать. Я без нее жить не могу. Хоть в петлю.

— Чем это она тебя так прельстила?

— Она, — говорит, — легкая. Хорошо с ней. И знает много. И была везде.

— А со мной плохо, значит? Не легкая я?

— Ты, — говорит, — душная. Тебе, кроме денег, ничего не интересно. Ну еще накопишь, и что? И зачем? Копишь, копишь, так вся жизнь и пройдет, а когда жить будешь?

Вот так и поговорили. Я, значит, душная, а она воздушная. Прямо фея Драже из оперы Чайковского. Отпустила его. Договорились, что ползарплаты нам отдавать будет. И квартира за мной осталась, и дача моя. Вот и пусть у своей мымры живет, а мне дочь его растить одной. Я погрустила, конечно, как водится. И слова его мне в душу, хочешь не хочешь, а запали. А тут сестрица единокровная, змея подколодная, на свадьбу позвала. В ресторане шикарном праздновали. Вот уж я там поела и икры, и рыбы всякой, и фруктов заморских. Невеста, Ритка моя, уже на сносях. Жених, ну этот парень, Виталик, с которым она сколько времени мыкалась, не бедным вовсе оказался. Родители им квартиру подарили, не чета моей, в центре. А на рождение ребенка машину обещали купить. Папаша у него крутой, как выяснилось! И на работу к себе сыночка пристроил. Так и сказал: погулял, и хватит, теперь у тебя семья. Ритка сидит довольная, счастливая. Вот уж не гадала, а богатство само к ней в руки припылыло. Не напрягалась даже, жила себе в удовольствие. Виталика этого любила, и все.

Ну почему так? Одним все и сразу, а другие бьются-колотятся, а им фигу под нос?

Без пункта

Сию я у камина в белых турецких тапочках, заколка импортная в волосах, сама красивая еще, мужики до сих пор подкатывают, а что я накопила? Открыла сейф — пачка евро, пачка долларов, рублей несколько пачек. Красный диплом. Дочка в кроватке спит — самая моя главная ценность. А машина как была на втором курсе куплена, так и езжу на этой колымаге. Мужа нет, работы нет. Нигде не была, ничего не видела. Даже эту Афродиту только по телевизору. И тогда подумала: а ведь я и есть она, бородатая Афродита. Вся из себя самодостаточная. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Меня в пустыне брось — выживу. Еще и деньжат подкоплю.

И вот что решила. Поживу немного для себя. И для дочки. Отдохну, мир посмотрю. А там, глядишь, и придумаю, как быть дальше. Тетрадку свою детскую выкину и новый план напишу. И там все, все, все про нас с Настей будет. И добыюсь всего, чего там себе намечтаю, вот увидите. Мне не привыкать. Я сильная.

МУЖЧИНА И ЕГО СОБАКА

Мужчина закрывает дверь. Рядом терпеливо ждет пес. Хозяин прячет ключи в карман, собака виляет хвостом строго один раз и направляется к лифту.

Мужчина морщится: «Ну нет, мил друг, пойдем-ка пешком. Ты скоро обрюзгнешь и вообще ходить разучишься». Пес вздыхает, бросает на хозяина умоляющий взгляд. Тот пожимает плечами. Неожиданно открывается лифт, собака радостно вбегает туда.

«Умеешь ты добиться своего. Но уверяю, в следующий раз точно будем спускаться пешком».

На первом этаже один достает газету из почтового ящика, хочет выкинуть в коробку, но другой берет бумажный рулон в зубы и направляется к выходу.

«Все это дешевые понты, Джим. Никак это не прибавляет тебе солидности. И газетенка, между нами говоря, мусор. В такую и селедку завернуть не комильфо». Джим виляет хвостом.

Поравнявшись с молодыми мамами, человек учтиво приподнимает шляпу и слегка кланяется.

— Доброе утро, дамы.

Дамы, сверкая веселыми глазами и белоснежными зубами, радостно галдят в ответ. Обойдя их и пройдя несколько шагов, мужчина слышит их захлебывающийся шепот.

— Какой вежливый!

— Какой симпатичный!

— Какой эlegantный!

— Какой одинокий...

Пес оборачивается, и они замолкают. «Не обращай внимания, друг. Они правы. Особенно по части эlegantности и симпатичности. Пойдем-ка позавтракаем». Джим виляет хвостом два раза. Немного подумав, виляет еще раз. Хозяин приподнимает бровь. Пес делает вид, что не заметил.

Мужчина, устроившись на веранде кафе, делает заказ, закуривает трубку и обращается к постоянному собеседнику. «Ну, где твоя газетенка? Джим!» Немного обслуженная пресса лежит у него на коленях.

Уставшая уже с утра официантка приносит яичницу с ветчиной, воду без газа, крохотную чашку кофе. Отдельно сосиски подает Джиму в одноразовой тарелке. «Приятного аппетита». — «Спасибо». — «Чего ждешь? Ешь, блохастый».

Пес презрительно фыркает, но от угощения не отказывается.

Так они проводят полчаса в молчаливом поглощении пищи, чтении, раскуривании трубки и оценивании проходящих сук. Потом хозяин резко встает, оставляет деньги на блюде, прощается, и они выходят.

Человек и пес уверенно идут по известному им маршруту, пока хозяин не поворачивает в сторону ярко освещенной солнцем аллеи. Джим внимательно смотрит на него, но, не дождавшись ответного взгляда, делает вид, что заинтересовался кустиком.

Навстречу идет женщина с коляской. Рыжие волосы незнакомки освещены весенним светом, оттого кажется, что вокруг ее головы пылает нимб. Человек откровенно любуется ею, а пес проявляет еще больший интерес к молодой зелени.

— Здравствуй, Света, — хриловато произносит мужчина, приближаясь, но шляпы не приподнимает.

— Привет, Сережа. Давно не виделись. А я вот завела младенчика. Джим, ты не хочешь со мной поздороваться?

— Совсем одичал, от рук отбился. Представляешь, недавно сосиску своровал. В кафе.

Джим не поворачивается, однако видно, что он прислушивается к разговору. Уши его направлены в сторону хозяина.

— Никогда не поверю. Джим, милый, ну подойди сюда. Я так соскучилась.

— Упрямый как баран. Что втемяшит в голову, потом никак не растемяшишь. Кто у тебя родился?

— Арина. Я так счастлива, что у меня девочка. Нарочно заранее не узнавала пол ребенка. Муж уговаривал, а я ни в какую. Какая разница? Главное же — ребенок. Правда?

— Наверное.

— Ну да. Ты же не хотел детей. Тебе это не интересно.

— Почему, интересно. Джим, мерзавец блохастый, подойди, кому говорю!

— Джимушка, ну иди сюда, я тебя с Ариной познакомлю.

Пес нехотя подходит. Женщина вынимает из коляски младенца и показывает собаке. Тот отворачивается.

— А ведь он меня так и не простил.

— Ты, как всегда, все усложняешь. Он же собака, животное.

Джим горестно вздыхает, округляет спину, причудливо выгибает хвост и изображает аккуратную кучку на асфальте.

— Скотина этакая, ты что творишь?!

Мужчина суетливо ищет что-то в карманах, достает мятый пакет и принимается убирать остатки жизнедеятельности своей собаки. Лицо его приобретает пунцовый оттенок.

— Извини, Светка. Такого даже я от него не ожидал. Мы пойдем, пожалуй.

Он переминается с ноги на ногу, пряча за спину злосчастный пакет.

— Идите, конечно. Счастливо, Сережа. Будь здоров, Джим. Я тебя люблю и помню, поверь.

— Да. Да. Мы тебя тоже. Тебе, вам тоже всего хорошего. С Ариной.

Сергей торопливо идет прочь от рыжей женщины, от ее оранжевой коляски и незамутненного счастья. Джим весело бежит рядом, накручивая хвостом бесчисленные круги.

— Мерзавец, ты просто мерзавец, каких свет не видывал. Как можно было так оскопиться? Ты же не только себя, ты и меня опозорил.

Мужчина бежит к урне, выбрасывает свою досадную ношу, тщательно вытирает руки платком, выкидывает и его.

Вот в субботу куплю собаку,
Буду петь по ночам псалом,
Закажу себе туфли к фракку...
Ничего. Как-нибудь проживем.

— Боже, Джим, только не это! Сто раз тебя просил! Это пошло, заруби на своем длинном носу: по-о-ошло!

— А мне нравится.

— Потому что у тебя нет ни литературного вкуса, ни просто разума. Ты, к сожалению, обычное животное. И в поэзии не разбираешься.

— А ты м.... И тоже не разбираешься.

— В поэзии?! Я, вообще-то, филолог и редактор отдела.

— Нет, в любви ты младший редактор. Стажер даже.

Сергей громко хохочет, приседает на корточки, обнимает Джима.

— Как там у тебя с Вертинским?

Это все, что от Вас осталось —
Пачка писем и прядь волос.
Только сердце немного сжалось,
В нем уже не осталось слез.

Улыбаясь во всю пасть, обнажая свирепые клыки и беззащитные десны, Джим отвечает: «Ничего. Как-нибудь проживем».

Наблюдая за ними из тени, рыжая женщина, наверное, на секунду жалеет, что бросила когда-то этих сумасшедших. Мужчину и его собаку.

МИСТЕР СЧАСТЬЕ

Мыльные пузыри, переливаясь всеми цветами радуги, мельтешат вокруг мокрого Сережи. Ему год. Мама гладит его по голове, приближает розовые нежные губы и тихо шепчет:

— Радость моя, мальчик мой, лапушка мамина. Только никому не говори, — ты счастье мое.

Карапуз блаженно щурится от света, радужных пузырей, маминого голоса и теплых прикосновений. Сережа счастлив.

Снег хрустит под ногами, обнаженные деревья разбрасывают фиолетовые тени по белому полотну. Сереже шесть лет, он смотрит на папу, легко несущего его огромную спортивную сумку. Папа высоко, там, где деревья и небо. Слышен его воркующий бас:

— Молодец, парень. Мужик, как ты обошел всех на повороте. Это лучший день в моей жизни. Счастье ты мое, сын.

Сережа улыбается во все румяные щеки, ему хорошо оттого, что все кончилось, оттого, что папа рад, от ощущения любви и надежности.

Сереже хочется вдохнуть полной грудью свежего ветра, наполненного запахом молодой, терпкой зелени. Но блеклые, в мутных разводах, школьные окна отделяют его от свободы. Он в восьмом классе. Он в третий раз объясняет тупому Ване, соседу по парте, теорему. Мимо проходит тощая, как единица, училка. Шершавым, наждачным, но не лишенным теплоты голосом она констатирует:

— Сережа, ты молодец. Иванов, это счастье для тебя иметь такого товарища.

Сережа благодарно кивает. Ему нравится, когда его хвалят. Приятно, что не зря зубрил урок. Спокойно, что огромный Ваня еще больше обязан ему.

Красный кождам приятно холодит пальцы. Итог, долгожданный диплом. Ночная зубрежка, полуобморочное состояние на экзаменах, мерзкие обеды в столовой — все закончилось. Сережа потеет, и ему хочется женщину. Седой декан тоже потеет и мечтает о пиве. Пожилой мужчина трудно откашливается и величественно произносит:

— Сережа, Сергей, вы у нас единственный краснодипломник. Это большое счастье для вас и для всего нашего коллектива.

Сережа встает и кланяется. Ему радостно, что самая красивая девушка на курсе смотрит на него благосклонно и улыбается. Парни говорили, у Ани пятый размер груди.

Протяжный стон Галочки, и они, как однополюсные магниты, устремляются в разные стороны. Обязательный супружеский секс окончен. Сережа с чувством выполненного долга закрывает глаза и думает об Ане. У нее прохладное, даже в жару, тело, с ней можно курить в постели, и в ее холодильнике всегда есть пиво. Галочка склоняется над Сережей. Вполуха он слышит ее липкий шепот:

— Мне так хорошо, так хорошо. Ты мое счастье, Сереженька.

Сережа гладит ее по жарким волосам и некстати вспоминает, что у Ани короткая стрижка.

Теплый конверт с рюшечками прижат к груди. Легкий ветерок играет розовыми ленточками. Молодой папаша смотрит на сморщенное личико нового человека. Постаревшие родители и подурневшая Галочка с восторгом глядят на Сережу.

— Счастье, счастье, счастье, Сережа, Серега, Сереженька...

Сережа думает о зарплате, о дырке в носке и о зиме, которая наступила слишком рано.

Обнаженный Сережа курит в окно, наблюдая легкие облачка дыма. Как бы резвясь и играя, они скрываются в вечернем небе. Женщина с прохладным телом встает с кровати и прижимается коротко стриженной головой к голому торсу мужчины. Прерывающимся от любви голосом она шепчет в его волосатую грудь:

— Счастье есть, нет, ты послушай, я это только что поняла. Полное, безоговорочное счастье — это ты. Мой мистер Счастье.

Сергей слушает ее, смотрит на бутылку пива, покрытую холодной испариной, и понимает, что все мимолетно и малозначительно. Успехи в спорте и школьные радости, красный диплом, секс с нелюбимой женщиной, секс с любимой женщиной. Даже собственный ребенок. Все это — награда за усилия. А безусловное счастье — это мыльные пузыри, переливающиеся всеми цветами радуги, мама, глядящая его по голове и приближающая розовые нежные губы.

— Радость моя, мальчик мой, лапушка мамина. Только никому не говори, — ты счастье мое.

Сережа безоговорочно счастлив. Ему один год.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

— Здравствуйте, Сергей.

Седоватый мужчина неохотно оторвался от сочной отбивной, поднял голову и увидел перед собой немолодую полноватую женщину. Капля клюквенного соуса фривольно скатилась с его жирных от мяса губ.

— Я Иветта. Я сразу вас узнала, хоть на фотографии вы значительно моложе.

Сергей вытер губы льняной салфеткой, привстал, дожевывая, жестом пригласил женщину к столу.

— А что так рано? И знаете, вы тоже на фотографии значительно моложе.

Помедлив несколько секунд и не дождавшись, когда мужчина подвинет стул, Иветта села напротив.

— Я лучше качеством была. Время никого не жалеет. Особенно женщин. Но фотография не такая уж старая. А вы кушайте.

Иветта была филологической дамой, и все ее естество было решительно против этого мещанского «кушайте», но в данной ситуации ей показалось, что следует говорить именно так. Сергей недовольно поморщился, но отрезал небольшой кусочек мяса и направил его в рот.

— Вы бы, Иветта, заказали что-нибудь... на десерт.

Было заметно, а он этого и не скрывал, любви с первого взгляда не получилось. И со второго не получится. Сергей готовил себя совсем к иному женскому образу. И тратить на чужую, неинтересную тетку он был не намерен.

«Шиш тебе, а не десерт, приперся пораньше, чтоб похавать в одно рыло, а я жрать хочу», — подумала Иветта и сказала:

— Я бы от отбивной не отказалась. С работы еду.

«Дура толстомаяся», — про себя возмутился Сергей, но произнес:

— Тут десерты вкусные, мясо — не очень...

Иветта вдумчиво разглядывала меню.

«Сразу видно, пожрать она не промах», — неодобрительно поглядывая на новую знакомую, мужчина дожевывал сочную свинину.

— Люблю, знаете, хорошо поесть, — прочла его мысли собеседница. — Закажу, пожалуй, оливье. И... борщ.

— Ваше право, — кисло промямлил кавалер.

Иветта сразу поняла, что не понравилась ему. Но это только придало ей задора. Они переписывались на сайте знакомств, и Сергей казался умным и веселым. Но при личном знакомстве восторга тоже не вызвал. Она сделала заказ, присовокупив к салату и борщу полтишечку водки.

Сергей крикнул. Достал телефон, что-то написал. Настроение его улучшилось.

— А что, Иветта, как вас в детстве звали?

— Степанидой.

— В смысле?

— Ну, как меня знали, догадаться нетрудно. Так и звали.

— Я не про это. Уменьшительно как? Ива?

— А, это. Вета. Мне нравится Вета. А вас мама звала Сереженькой?

— Сергеем.

— Очень серьезно, но вам подходит.

Принесли оливье. Иветта-Вета аккуратно убрала веточку петрушки, украшавшую блюдо, а Сергей почему-то одобрил ее жест. Сам не любил петрушку. Он смотрел, как его новая знакомая интеллигентно пережевывает салат с отстраненным видом, и отчего-то почувствовал к ней смутную симпатию. Теплая волна поднялась от желудка в область сердца.

— Вкусно?

— Так себе. На троечку. Я добавляю в оливье свежий огурец...

— И зеленое яблочко!

— Точно! И горошек не консервированный, а свежий.

— Правда? Не знал. Надо будет попробовать.

— А вы сами готовите?

— Сам. Научился, когда мама умерла. Она долго болела, так что даже раньше научился. Пирог тоже печь умею.

— А у меня пироги никогда не получались. Дочка говорит, моей выпечкой гвозди забивать можно.

— У вас дочь?

— Да. Взрослая. Институт окончила. Замуж собирается.

— Никогда не подумал бы, что у вас такой взрослый ребенок, — неуклюже польстил Сергей.

— Знаю, что выгляжу не очень. Стараюсь похудеть, не получается пока. В бассейн хожу. В баню. Но в жизни так мало приятного, а еда — несомненное удовольствие. И так получилось на данный момент — единственное.

— Я вас понимаю, Вета. Особенно когда хорошо готовишь, остановиться трудно.

— Но вы-то, Сергей, в форме. Ничего лишнего.

— Гены, наверное. Я об этом не думаю.

— Я понимаю, для женщины очень важен товарный вид. Но встречают-то по одежке, а провожают по уму, верно?

Сергей кивнул, но подумал: минус килограммов десять Иветте бы не повредили. Тем временем на столе появился борщ, и беседа плавно перетекла в направлении супов. Оказалось, Сергей мастер первых блюд. Он оживился и рассказывал любимые рецепты. Вета кивала и жевала.

«Слушает она хорошо. И глаза умные. Сразу видно, битая баба. И ребенок взрослый».

«Хороший мужик, в сущности. Только несчастный. Всю жизнь с мамой прожил, а сейчас сам себе супчики варганит». Она вспомнила о запотевшей стопочке.

— За вас, Сергей. Чтобы в вашей жизни появилась хорошая, добрая женщина. И чтоб соответствовала вашим представлениям о красоте.

Легко опрокинув в себя сорокаградусную, Вета закусила наваристым борщом. Ей стало хорошо.

Сергей рассмеялся.

— Как вы лихо!

— Нам, разведенкам, не привыкать!

— К сожалению, не могу к вам присоединиться, я за рулем. Но мысленно с вами.

Рядом со столиком явился гений чистой красоты. Девушка была блондиниста и длиннонога. Как и тысячи подобных ей длинноногих блондинок.

— Сергей? — поинтересовалась девица, открыто проигнорировав соперницу и надув клюквенные губки. — Я Надя. Мы договаривались.

Мужчина мгновенно оценил свежесть образа, сантиметраж ног и общую ухоженность Надежды. Замешкался и ответил.

— Нет, вы ошиблись.

«Наш-то пострел времени зря не теряет», — констатировала Иветта.

— Девушка, вообще-то, это мой муж. Да, Евграф?

— Так точно, Степанида.

Надежда испарилась так же быстро, как и появилась, хотя по идее должна была сделать это последней. Новоиспеченные супруги развеселились.

— Вета, ты наелась? Может, закончим трапезу?

— Давай. А то, глядишь, еще и Вера с Любовью подвалят. Счет будьте добры.

Сергей вытащил карту и, невзирая по протесты Иветты, расплатился. Они дружно поднялись из-за стола.

— Спасибо тебе, Сергей. Все было очень вкусно, еда была изысканная, а разговор содержательным.

— Да ладно. Пойдем, что ль, в кино... толстожопенькая.

Смеясь, они вышли в весеннюю Москву. Свежий, прозрачный воздух обнял немолдых, отдававших жизни людей за плечи, и им показалось, что этот город, эти деревья, эти прохожие желают им чего-то хорошего. А им нужно только немного открыться, впустить в себя чужую судьбу, посмотреть друг другу в глаза. И употребить что-нибудь вкусненькое.

РАССКАЗЫ

МУДРЫЙ НАОХИРО ТАКАХАРА И ДРУГИЕ МУДРЕЦЫ

Весна вдохновила синекрылых соек, и они благодушно защебетали в зарослях дикой сливы. Первые муравьи, проснувшись после долгой зимы, поползли по ветвям к робким еще цветам прильнуть к их сладостному нектару. Легкокрылые бабочки приветствовали весну изощренным танцем под нежным ветерком, принесшим запах абрикоса с далекой Окинавы.

Щедрая солнечная богиня Аматаэрасу раскинула во все стороны свои теплые лучи. Кудрявые облака плыли по пронзительной синеве вечного неба, чтобы укутать еще не прогретую снежную вершину великого Фудзи...

Мудрый поэт Наохиро Такахара вышел на залитое солнцем крыльцо своего дома, почувствовав, как бережно дарят свое тепло босым ногам доски пола. Мудрый Наохиро Такахара внимательно оглядел все вокруг. Он видел далекие голубые горы и дорогу неподалеку, по которой ехали в телеге, запряженной волами, крестьяне по своим важным делам. Он наблюдал, как синекрылые сойки машут крыльями и щебечут в зарослях дикой сливы, как муравьи ползут вверх по веткам к первым цветкам. Такахара узрел и бабочек вблизи, и облака в невообразимой небесной дали. Поэт сел на колени, долго и задумчиво разглядывал вечные образы в своем саду камней, столько же времени провел, наблюдая за хладнотруйным ручьем за небольшой запрудой, в которой блистали на солнце золотые рыбки.

Мудрый Наохиро Такахара понял, что сейчас родится танка. Он хлопнул в ладоши три раза. Тотчас же на зов явился верный слуга, проникательный Ёсито Окубо.

— Слушаю твои приказания, мудрый поэт Такахара-сан, — произнес Ёсито Окубо.

— Мой верный Ёсито, — сказал поэт Наохиро Такахара, — принеси, не мешкая, все необходимое для письма.

— Будет исполнено, Такахара-сан. Мои ноги уже бегут быстрее ветра в комнату, где хранится все необходимое для письма, — доложил Ёсито Окубо и неслышно исчез.

И не успело вдохновенное сердце поэта пробить шестнадцать раз, как верный слуга аккуратно положил у колен мудрого Наохиро Такахары четыре листа бумаги, пузырек с тушью, сосуд с мелким песком и кисточку для письма. Поэт поблагодарил слугу и отпустил.

Он еще раз внимательно осмотрел все вокруг, не упуская ни единой детали. И сосредоточился. Потому что главное в сочинении танка — это сосредоточиться.

Павел Васильевич Кузьменко родился в 1954 году в Москве. Окончил исторический факультет МОПИ им. Н. К. Крупской. Печатался в журналах и альманахах «Столица», «Химия и жизнь», «Проза Сибири», издательствах ЭКСМО, АСТ (рассказы, литературоведческие и исторические статьи). Автор 20 книг и около 1000 статей. Некоторые написаны совместно с Татьяной Ворониной. Живет в Москве.

После чего аккуратно опустил кисточку в тушь и вывел на бумаге первый иероглиф. Изображение на бумаге получилось очень красивым. В нем были мудрость, вдохновение, полет мысли, неподвижность камня, скорость резвого скакуна и плеск морской волны. Вот такая танка родилась, когда тень от ближайшей сосны коснулась чела поэта.

Рис благородный сварен,
Горошек потушен и смешан
С рисом в нежных объятьях,
И соевый соус добавлен немного.
Вот и пришла весна.

Мудрый Наохиро Такахара полюбовался танкой. Присыпал песочком, чтобы ненароком не размазать. И понял, что на этом сегодня не остановится. Вторая танка получилась не хуже первой.

Печень коровы очищена, вымыта,
Ей предстоит встреча
С острым ножом и перцем
Не менее острым. А после с мукой
Все обжарить. Чудесна природа.

Третья танка не заставила себя долго ждать.

Печень готовая предается сладостной
Лени. Важные мандарины
Спешат ненадолго окунуться в то же
Горячее масло.
А птицы летят в поднебесье.

А где третья, там и четвертая танка.

Рис благородный на теплое блюдо
Ложится. Сверху его согревает печени слой.
А на печень льют свою сладость
Мандарины. И соевый соус.
Аматэрасу, храни микадо.

Прошло три дня, когда мудрый Наохиро Такахара вышел из сосредоточения и велел верному Ёсито Окубо седлать коня. Аккуратно сложив написанные танка в футляр, Накахара отправился по дороге на Сидзуоку к мудрому сэнсэю Хироси Кийотаки.

Через два дня, полные приключений, Такахара оказался у порога дома Кийотаки.

Сняв сандалии, поэт ступил на циновку и воскликнул:

— Привет тебе, светоч мудрости, уважаемый мастер Кийотаки-сан.

— И тебе здравствовать, великий поэт Такахара-сан.

— Я привез несколько новых танка. Не сочтешь ли ты за труд воплотить их в изделия, которые во всей Японии способен создавать только ты, сэнсэй Кийотаки-сан?

Мудрый Сэнсэй Кийотаки долго восхищался благозвучием танка и с удовольствием принялся за работу, распрощавшись с поэтом. Он поместил в крепкие тиски первое

рисовое зернышко. Поставил между ним и своими острыми глазами увеличительное стекло, сделанное голландскими варварами, и вооружился острым и тончайшим, как паутина, резцом. После чего сосредоточился. Согласно свои движения с ударами сердца, мастер Кийотаки принялся вырезать на рисовом зернышке первые иероглифы бессмертной танка поэта Наохиро Такахары.

На второй год работы мастера Хироси Кийотаки случилось землетрясение. Дрожали стены дома, рассыпались мелкие предметы. Кийотаки возблагодарил небо за то, что предусмотрительный слуга Масаси Накаяма прятал каждое зернышко с бессмертными иероглифами танка в небольшую лаковую шкатулку, обитую изнутри бархатом. Иначе произошла бы непоправимая беда.

Прошло еще два года, и Хироси Кийотаки закончил свой труд. И велел предусмотрительному слуге Масаси Накаяме запрягать телегу сильными буйволами, чтобы отвезти легкий, но объемный груз мастеру Масаюки Окано. Что слуга и исполнил, сосредоточившись.

Когда мудрый мастер Масаюки Окано, вооружившись увеличительным стеклом, сделанным белыми варварами из Голландии, прочитал первую танка, уместившуюся на тридцати двух рисовых зернышках, он не мог сдержать восхищения.

— Как удивительно твое произведение искусства, сэнсэй Кийотаки-сан! Оно достойно попасть к самому микадо. И при этом сколь изысканны танка, рожденные по этому Наохиро Такахарой!

— Лестно слышать твои похвалы, сэнсэй Окано-сан. Да, только великий микадо даст высшую оценку труду Такахары и моему. А также и твоему, мастер Окано-сан.

И не успел облететь клен, росший в саду у Масаюки Окано, и усыпать землю чудесной резьбы багровыми листьями, как все было готово облечься в окончательную форму, наполненную изысканным содержанием.

Корова Седзи Дзе сосредоточилась и отдала свою нежную печень мастеру Масаюки Окано. Мандариновое дерево Кисе Яно сосредоточилось и отдало свои спелые сладкие плоды. Мудрый мастер приготовления Масаюки Окано еще раз перечитал все танка, вырезанные на рисовых зернышках, и запомнил их наизусть. Потому что резные зернышки пошли на приготовление блюда для самого мудрого микадо Ацуси Янагисавы, правившего всей страной из своего золотого дворца в Киото. Масаюки Окано сосредоточился и начал...

Через должное время изысканное блюдо было готово. На подушке из отваренного резного риса покоилась нежная печень. Сверху дарили всем аромат и сладость чуть поджаренные мандарины. Масаюки Окано решил дать блюду немного остыть и впитать в себя запахи осеннего сада, хладнотруйной реки и вечеряющего неба. Он вышел помолиться перед домашней статуей Аматаэрасу.

А тут мимо как раз бежала мудрая собака Йохиро Какитани. Она была голодна. Не успело ее сердце пробить два раза, как она сожрала рис с печенью и мандаринами, даже особенно не пригнувшись. И уже потом Йохиро Какитани осознала свою большую ошибку. Она же перед этим не сосредоточилась!

СТРОИТЕЛЬ АБАБКИН

Больше всего на свете сомж Абабкин хотел быть незаметным. Ну, как можно быть заметным с редкими серыми волосенками, вечной трехдневной щетиной, лицом, напоминающим выпившего на рабочем месте рабочего с плаката по техни-

ке безопасности, при небольшом росте, природной сутулости и хроническом бронхите? Однако на него сразу же обращали внимание с самого детства. Благодаря фамилии, с которой начинался практически любой алфавитный список. Что за такая идиотская фамилия? Откуда она взялась в русском языке? Может, от предка А. Бабкина, которому рассеянная паспортистка случайно слила инициал с фамилией? А может, предка Бабкина когда-то занесло в Абхазию и он успел там обабахизиться? Кстати, сомжа Абабкина звали Александр Алексеевич. Кругом печать алефа.

— Абабкин пришел?

Это первое, что услышал маленький Саша Абабкин на второй день в детском саду. По мнению грудастой воспитательницы со списком младшей группы, день должен был начинаться с Абабкина, как человечество — с Адама.

В школе тоже. Входит учитель в класс первого сентября, а на доске еще с мая радостное дацзыбао «Прощай школа!», без запятой, которая в трудовой жизни не пригодится. Учительница, ясное дело, кладет в сторонку цветы, открывает журнал:

— Начинается. Лицо класса, можно сказать, доску в порядок не привели. Дежурным сегодня будет... сегодня будет... не мудрствуя лукаво, Абабкин.

Только в армии вначале повезло. Абабкин служил еще в Советской армии, и поэтому в списке учебного взвода впереди Абабкина оказался долговязый эстонец Тынну Аав. Но маленькая алфавитная радость длилась недолго. Размещая ноги в танке, Аав забыл о собственной голове и немножко прихлопнул ее люком. После чего лишился рассудка, был возвращен на родину и даже не заметил ее вступления в объединенную Европу.

И в строительном институте, и на работе в гигантском проектно-монтажном центре, и в частной фирме в новые времена, как ни сутулился, ни нагибался Абабкин, все начиналось с него. Конечно, это не нравилось, огорчало и удручало. Но хоть бы раз Абабкин пожаловался в вышестоящие инстанции: «Господи, ну почему я не родился Ящуровым, последним почти в каждом списке?» Ни разу. Такая вот терпеливая душа.

И когда фирма, сама собой, успешно разорилась, Абабкин только обрадовался тому обстоятельству, что больше не надо вставать и спешить на работу к определенному часу. Не надо гадать к определенному числу: дадут, не дадут, прибавят, не прибавят, инфляция скакнет, не скакнет? И никуда не стал устраиваться, надеясь, что три года до пенсии пролетят, как усталые птицы.

А зря не стал устраиваться, потому что свобода от работы оказалась жалкой крохой от всей возможной свободы в этом мире. К своей приметности Абабкин обладал еще одним неудобным для грешной жизни качеством — честностью. И ни с одной из четырех жен, последовательно ниспосланных ему судьбой, не разругался вдрызг, не расстался навеки и каждого из десяти детей по мере сил содержал и воспитывал.

С последней женой Ларисой и последним, рожденным по оплошности ребенком Юрочкой пришлось туговато, когда Абабкин освободился от постоянного дохода. Их новое жилище было еще недостроенным и недообставленным. А поскольку Абабкин ни воровать, ни грабить был не способен органически, то естественным путем оказался в раю для нынешних крыс и будущих археологов — на помойке.

То старый стул кто выбросит, кто полуисправный магнитофон, кто нечитательный «Капитал» Маркса, кто что. На помойке же есть все, это же целая цивилизация, отстающая на шаг от прогресса. Абабкин же придирчиво выбирает, что нужно, и в дом, все в дом.

— Сашка, да ты опустился, — как-то сочувственно заметила первая жена Маша, когда увидела, как бывший муж мастерит крышу нового жилища из крыльев разбитого всмятку автомобиля.

Абабкин же молчит и трудится.

— Александр, у тебя же высшее образование, зачем тебе собрание сочинений Горького? Ах, бесплатно, поди, с помойки... — вздохнула вторая жена Лена.

Абабкин же знай себе тащит.

— Лексеич, да ты, никак, помоечником стал. Дети, никому не говорите, кто ваш бывший папа, — возмутилась третья жена Люба, увидев, как Абабкин вставляет в оконный проем явно выброшенные кем-то старые рамы.

А он вставляет и не обращает внимания. Но даже четвертая жена, сама кротость, нет-нет да и обронит в сердцах:

— У всех мужья как мужья, а у меня помоечник.

Само собой, регулярное появление на помойке серенького немолодого мужичка не осталось без внимания бомжей и милиции. Взяли его однажды и повели в отделение. Потому что каждый бомж должен быть взят на учет, согласно закону о маргинальной и синантропной фауне. Каково же было удивление усатого начальника городской милиции, что этот по виду бродяга с трехдневной щетиной Абабкин, совершенно непьющий, имеет документы и жилье. Так он стал единственным в городе сомжем, то есть «с определенным местом жительства».

Более того, это было даже прославленное и достопримечательное место жительства. Не только Александр Абабкин, но и его предки Абабкины старались вести жизнь незаметную и жилье иметь скромненькое, а получилось наоборот.

— Что же это вы... — в смешанных чувствах заерзал в просиженном кресле усатый начальник городской милиции, — живете, понимаешь, в таком доме... Можно сказать, в достопримечательности, понимаешь, в гордости, чтоб ей провалиться... простите... Являетесь, понимаешь... совестью, что ли, нашего, понимаешь... И по помойкам роетесь, сомжете рядом с бомжами и крысами...

Абабкин только виновато развел руками и был отпущен. И даже не обложен полагающимися в таких случаях налогами на нищету.

История этой достопримечательности, о которой упомянул начальник, уходила своими корнями не то чтобы в такое уж далекое прошлое, но определенно куда-то почти под земную кору.

Еще прадед Абабкина, Абабкин Андрей Абрамович, каменщик, построил дом на тогдашней окраине города, заняв участок, где никто не мог построиться по причине невозможности вырыть яму для фундамента. Кругом нормальные суглинки да песчаники, а здесь гранитный монолит, словно штырь, словно гигантский гвоздь, забитый в землю богатырем. Каким именно, мнения историков и фольклористов расходились. Может, Ильей Муромцем, может, скандинавским Тором, испытывавшим таким образом свой молот, может, Николаем Валуевым. Зачем забитый — совсем непонятно. Однако же Андрею Абабкину, человеку терпеливому и честному, удалось диффундировать нижние кирпичи с гранитом, и домик, небольшой одноэтажный домик, вырос на редкость крепким.

Семья Андрея Абабкина, отмеченная печатью алефа, росла, к домику начали делать пристройки и надстройки, невзирая ни на революции, ни на уплотнения. Году к 1930-му уже стояло довольно странное сооружение, на которое невольно заглядывались все новоприезжие. Дом не дом, голубятня не голубятня. Там вдруг эркер сделан вопреки законам архитектуры, а там — балкон нависает вопреки законам физики. С одной стороны три этажа, с другой — полтора. И везде люди живут, из которых большая часть Абабкины. Прадед Андрей честный человек был, женился по любви, разводился по хорошему, детей плодил согласно зову природы.

Потом, при деду Анатолии Андреевиче, крановщике, дом еще больше разросся. И что самое интересное, не за счет поверхности земли, а за счет все тех же надстроечек, пристроечек на уровне второго этажа, прилепочек на уровне третьего. Все держалось на крепчайшем первоходе, слитом со скалой, как гриб на ножке. Форма дома сначала приближалась к осиному гнезду, потом начала немного удлиняться. Число обитателей росло. Жили по-разному, несмотря на разводы и новые браки. Но в основном дружно. Хоть и коммуна какая-то по большому счету получалась, а все же у каждого была своя ячеечка, своя комнатка. По прямой линии Абабкины-мужики все строителями были, все в генетическом родстве с муравьями, вооруженными цепкими жвалами, сильными лапками, клейкой слюной и инстинктом пристраивать, пристраивать, пристраивать.

В Великую Отечественную город изрядно бомбили. Дом Абабкиных совершенно не пострадал. После того как в крышу ударила трехтонная авиабомба, отскочила и взорвалась где-то в сторонке, в доме начали прятаться окрестные жители, как в бомбоубежище.

Во времена Хрущева горсовет твердо решил эту уже шестизэтажную нелепицу снести и на ее месте понаставить нормальных пятиэтажек-хрущоб. Как ни просил Алексей Анатольевич, какие ни приводил аргументы, как ни вспоминал трехтонную авиабомбу, все напрасно. В общем, выселили всех Абабкиных и прочую их родню. Подогнали разрушительную технику. Фигушки. Стоит почему-то дом на каменной ножке. Стекла и те от ударов не вылетают. Попробовали динамит — никакого эффекта. Пришлось жильцов назад возвращать. Под дворец культуры или крытый рынок дом никак не переделывался.

Вернемся, однако, в наши дни. Или, как любили прежде выражаться в этой несчастной стране, в последние времена.

Однажды Александр Алексеевич Абабкин нашел на помойке мобильный телефон. Старенький, поцарапанный слегка, но вполне исправный. Мужчина предпенсионного возраста не чужд был технического прогресса, но столь необходимую сейчас даже для первоклассников вещь все никак не мог себе позволить. Вся родня имела, а у него все прежние заработки уходили как раз на то, чтобы ближайшей родне обеспечить сносное существование не без мобильной связи.

Абабкин поставил старую сим-карту одного из сыновей, внес в записную книжку нужные номера и продолжил шастать по помойкам с возросшим чувством собственного достоинства. И не успел он дойти до ближайшего контейнера в надежде найти необходимый патрон для светильника, как в кармане выразительно звякнул аппаратик, сигнализируя, что пришла эсэмэска.

Абабкин прочитал с немалым удивлением, и прочитал несколько раз:

«Абабкин, не ищи патроны. Света не будет».

Он даже огляделся. Он же никому не сказал, куда идет и зачем. Даже жене. Снова посмотрел в экранчик, чтобы прочесть, с какого номера пришло сообщение. И еще больше удивился столь нехарактерной для мобильной связи формуле:

«Номер отправителя непознаваем».

Поколебавшись между предположением о шутке и природным доверием, Абабкин решил ответить на непознаваемый номер:

«Почему?»

Новое СМС пришло почти мгновенно:

«Не твое дело. Лучше сделай раствора побольше и замажь во всем доме окна, двери и все отверстия до третьего этажа».

Не успел Абабкин проморгаться, как следующее сообщение:

«А снаружи гидроизоляции в семь слоев».

И вдогонку:

«Только умоляю, Абабкин, материал не ищи на помойке. Купи на строительном рынке. В магазинах Е25 (спросить Эдика) и Г44 (спросить Вову). Там товар качественный. Деньги займи у родни. Дадут».

Как часто можно видеть такую картину: человек спешит, получает СМС, останавливается и читает то, что заставляет его остолбенеть ненадолго. «У вас на счете 1 000 000 рублей», «Ваш сын сбил человека. Это не мошенничество, но бабки готовы-те», «Ты покойник» и т. д. В Москве, рядом с метро «Пролетарская» и конечной остановкой трамвая, напротив магазина «Арбат Престиж», задолго до изобретения мобильных телефонов была поставлена и до сих пор стоит статуя пролетария, читающего остолбеневшее СМС. Так и Абабкин застыл в чтении, забыв, куда шел и зачем. Внутренняя честность и печать алефа подсказывали ему, что это не прикол оператора, не розыгрыш несуществующих, в общем, друзей.

Подходя к своему дому, Абабкин заметил, что новая подпристройка, его нынешнее жилище, находится на уровне третьего этажа. Значит, придется замазывать окна и вентиляцию. Да еще гидроизоляцию в семь слоев. Тут упорный строитель снова остановился, только не в остолбенении, а в молчаливом возмущении. Что за бред?! Да его многочисленные родственники быстро упекут в психиатрический стационар.

Немедленно тренькнул мобильник. СМС.

«Это не бред, а моя непознаваемая даже мной воля. Будешь возмущаться — накажу. Неужели до твоей тупой башки ничего еще не дошло?»

Палец Абабкина уже начал набирать буковки в ответном послании: «А кто вы?», но остановился. До него, живущего в постиндустриальную и предапокалиптическую эпоху, начало что-то доходить. Раньше адресат получал тяжелые, неудобные для транспортировки каменные скрижали, а теперь вот простенькие электронные тексты. Но должны быть доказательства. Обязательно. Какое-то чудо, лучший аргумент для подтверждения истинности всякой истины.

Зайдя в дом и продолжая размышлять о своей избранности, он и не заметил, как оказался перед дверью квартиры. Только не своей, а второй жены Елены. Она была самой хозяйственной из всех его жен и самой жадной. Деньги были единственной причиной их развода. Не в мужской черствости, не в утрате чадолюбия попрекала она Абабкина в свое время, а в том, что он относится к другому виду человекообразных, нежели Потанин и Абрамович, чьи фотографии неммым упреком украшали ее стену на месте устаревших Рокфеллера и Кобзона. От жадности Елена даже отказывалась, чтобы ее нынешний муж Мамед, ИЧП «Азербайджанские помидоры», начинал строить особнячок, и по-прежнему ютилась с мужем и двумя детьми в шести комнатах странного дома.

Елена открыла дверь и с прежним выражением немного упрека посмотрела на жалкого Абабкина с трехдневной щетиной и в потертом, лоснящемся пиджачке.

— Лен, ты, это... Мне неудобно... Обстоятельства... Не одолжишь мне тысяч пять-шесть... Ну, десять, а?

— Зачем?

— Гидроизоляцию делать. Там, рубероид, гудрон, то да се... Я отдам!

— Гидроизоляция? Это на крыше, что ль?

— Нет, Лен. По всему дому снизу.

На полном, румяном и жадном лице женщины прочиталось несколько дополнительных вопросов, возмущение, страшная внутренняя борьба. Но неожиданно Елена

тяжело вздохнула и шагнула внутрь квартиры, делая приглашающий жест и шаря рукой в огромном лифчике.

— Ох, Абабкин, Абабкин, разоришь ты бедную женщину. Десять тысяч... На. Вернешь, когда сможешь.

Чудо! Настоящее чудо! В указанных магазинах на строительном рынке у Эдика и Вовы товар действительно оказался качественным, а главное, очень недорогим. Тоже чудо!

Когда Абабкин закупил гору стройматериалов и заполнил ими все недостроенное жилище, кроткая жена Лариса сперва обрадовалась: наконец-то долгострой завершится, и они заживут по-человечески. Когда же муж начал замуровывать окна, сказала:

— Саша, любимый... Может, хватит идиотничать?

И в тот же миг Лариса онемела на две недели. А потом стала еще более кроткой.

Лишив свою квартиру-подпристройку дневного света, Абабкин робко постучался к соседям. Там жила сестра его второй мачехи с дочерью и ее мужем, негром из подтанцовки Валерия Леонтьева. Дверь открыл запыхавшийся после домашней репетиции подтанцовщик.

— Прошу прощения, — вежливо начал Абабкин, чтобы сразу скрасить ожидаемое «да пошел ты», — позвольте у вас замуровать окна и вентиляцию.

— Зачем?

— Надо, — пожал плечами Абабкин.

— А как же я буду репетировать? У Леонтьева чес через месяц.

— Вы меня, конечно, извините. Но я не советую вам ехать на этот чес. Здесь вы имеете больше шансов выжить. Но искусство танцев вам... всем нам в будущем пригодится. Я надеюсь.

И подтанцовщик удивительно легко поверил этой на первый взгляд ахинеи. И чудеса продолжились. Никто не возражал на устраиваемые Абабкиным неудобства: гидроизоляцию первых трех этажей, соединению балконов пятого и шестого этажей в единую галерею, монтажу в некоторых свободных помещениях дизелей и электрогенераторов. Прямые и не прямые родственники, которыми являлись все жильцы странного дома, охотно давали Абабкину деньги на эти причуды, и некоторые даже помогали трудом. Но немногие и неохотно. Трудяга и бывший помощник не раз и не два интересовался у сожителей — не получали ли они странные СМС? Удивительно, получал их только он, и через него распространялись непознаваемо чьи приказы.

Получив очередной приказ, в ответном послании Абабкин робко поинтересовался: «А помещения для животных и растений строить отдельно? Или мы потеснимся?»

Ответ был совсем странным:

«Купи 75 трехлитровых банок соленых огурцов. И съешь».

Как непьющий, Абабкин относился к соленым огурцам с предубеждением. И решил на альтернативу:

«А нельзя ли огурцы заменить компотом?»

«Можно. Главное, банки не выбрасывай и приготовь 75 плотных крышек к ним. Чистые банки отнесешь на 5 этаж к своей четвероюродной сестре Марфе Дарвиной. Она принимает в поликлинике мочу на анализ. Привыкла. Только скажи ей, пусть банки не открывает и следит, чтобы не разбились при качке».

Так и было сделано. От большого количества компота Абабкина пучило, но он терпеливо все сносил и продолжал трудиться. С недоступным ей пониманием медсестра принимала пустую посуду и относилась к ней как к великой ценности. Семьдесят пятая банка заняла свое место в ставшей весьма стеклянной квартирке Марфы, и наутро

смысл затеи стал понятен. Банки сами собой наполнились неудобоваримым, неразличимым на составные части невооруженным глазом содержимым и небрежно сделанными маркером надписями на крышках: «Млекоп. Парнокоп.», «Млекоп. Непарнокоп.», «Домаш. Млекоп.» И т. д. вплоть до «Бактер. Анаэроб.».

— Вот оно что, — улыбнулся Абабкин. — Мысль-то везде не стоит на месте. Их всех потом надо просто клонировать.

— Кто будет клонировать? — испугалась ответственности Марфа. — Я не буду. Я не умею.

— Кто надо, тот и клонирует, — загадочно усмехнулся Александр Алексеевич.

В своих ежедневных неустанных трудах Абабкин и не заметил, что все намеченные работы закончены. А отдыхая, чуть не проспал сообщение:

«Завтра. С Богом. Кстати, у тебя входящие платные. Завещай потомкам расплатиться, когда вновь появится МТС или „Билайн“, или я не знаю, что там появится».

На следующий день пошел дождь. В одном месте над Атлантическим океаном шел даже не дождь, а лился сплошной плотный поток, диаметром почти сто километров, почему-то теплой воды. Тучи закрыли собой все небо. В полумраке всеобщей паники правительства всего мирового разобщенного сообщества пытались принимать какие-то меры, но какие уж тут меры, когда льет сверху и повсюду. Множество народу запоздало кинулось молиться, многие демонстрировали небу фальшивые печати алефа. Но все было без толку. Разумнее всего вели себя, пожалуй, те, что напоследок пустились во все тяжкие, в разврат и пьянство. Но удовольствия они получали, как назло, немного. Сырость и страх портили все дело.

Надводные и подводные корабли тонули один за другим. И лишь один нелепый, как моллюсками, как кораллами, обросший пристроечками и балкончиками, оглаженный линиями галерей, с геранями на окнах, еле освещенных силой небольших генераторов, с дымящимися трубами, с зародышевыми клетками в трехлитровых банках, с перепуганными, но довольными счастливой судьбой обитателями, с гордым и честным Александром Алексеевичем Абабкиным на чердаке, дом в одном городе вдруг с треском и скрежетом оторвался от своей гранитной незыблемой опоры и всплыл.

«Ну как, впечатляет?» — пришло СМС.

Абабкин тогда позволил себе дерзость в ответ:

«Да ну, хрень какая-то».

Дождь кончился на третий месяц, и океан, покрывший всю планету, успокоился. И еще три месяца никаких существенных изменений не происходило. Запасы еды в доме чудесным образом не заканчивались. Запасы спиртного от страха были выпиты в первую же неделю плавания. А эсэмэски на единственный в мире работающий мобильник Абабкина приходили исключительно странные. «Позвоните 7058 и получите шикарные гимны в качестве рингтона». И дальше в таком же роде. Скучища! Голубя даже не выпустишь в поисках веточек, так как некому голубя клонировать.

Однажды в хорошую погоду Абабкин решил искупаться. Плавая в теплой морской водичке, ныряя и наблюдая за ставшими очень мирными, отъевшимися акулами, он вдруг заметил что-то блестящее, тянущееся от дома на глубину. Он позвал двух родственников помоложе и поздоровее, и те в результате нырков установили, что это толстая цепь. И тогда Абабкина осенило. Он заметил, что в ходе странствий по волнам их неуправляемый чудо-дом иногда довольно резко останавливается, словно его что-то удерживает. Цепь, оказывается, удерживает. И никаких особенных странствий не было. Так, болтался дом примерно на одном месте. Впервые к нему пришло СМС с опозданием: «Осенило?»

Через неделю под руководством А. А. Абабкина другими Абабкиными и примкнувшими к ним родственниками из различных крупных металлических штук, собранных по всему дому, была сооружена конструкция в виде огромного рычага, ворота и крючка. Крючком подцепили цепь, поймав момент наименьшего натяжения, и мужики дружно потянули рычаг, наматывая цепь на ворот. В результате невероятного усилия всего оставшегося человечества из глубины единого земного океана раздалось оглушительное «Чпок!!!».

И в тот же миг уровень воды начал снижаться. Непотопляемый дом высшие силы оберегали от опасности быть засосанным в гигантскую воронку. На четвертый день показались руины домов бывшего города. Вскоре вода исчезла вовсе. Спасительный дом-корабль лежал на боку. Рядом с ним гигантской змеей свернулась ненужная цепь, заканчивавшаяся гранитной пробкой с трогательной резиновой окантовкой.

Остатки цивилизации были занесены местами метровым слоем ила, местами песком. Дохлая рыба чувствительно воняла на солнце. Кое-где валялись основательно объединенные человеческие тела.

Растерянные Абабкины вместе с присоединившимися повылезали из дома, сперва потоптались возле него, потом принялись разбредаться по окрестностям, стараясь пока не задумываться о своей великой миссии. Вскоре эти окрестности наполнил первыми звуками радостный человеческий вопль. Оказалось, что третий сын второй жены абабкинского отца от четвертого брака обнаружил в развалинах универсама сто двадцать ящиков шампанского с бутылками, ничуть не пострадавшими от воды и океанского давления. К концу дня разве только младенцы не валялись пьяными в подсыхающей грязи. И непьющий Абабкин, грустно сидевший, прислонившись к хорошо загидроизолированной стене своего ковчега.

— Так! — раздался с ясного неба смутно знакомый женский голос мощностью в несколько сотен мегаватт.

Лишь некоторые из пьяных подняли головы, но тут же снова уронили их в грязь. Абабкин взглянул на мобильник. Тот не подавал признаков жизни.

— Так, так... — повторил небесный голос. — Дежурным у нас назначается Абабкин Александр Алексеевич. — Ну, чего сидишь? Давай разгребай.

ДВЕРЬ

Лестничная площадка была едва освещена. Так что до двери они добрались с трудом. А с учетом их эйфории получалось, что с огромным трудом.

— Тс-с-с, — сказал тот, что с усами, приложив палец к губам.

— Тс-с-с, — в знак согласия повторил его товарищ, который носил изящную бородку. Обоим это показалось очень смешно, и они некоторое время давились со смеху.

— Кстати. Скока время? — спросил бородатый.

— Ну ты ваще! — поразился усатый. — Кто так спрашивает? Ты че, простолюдин?

— Не-а. Так скока?

— Почем мне знать? Светает. Ну, короче, пошли.

Усатый вытащил из кармана ключ, не сразу попал в замочную скважину, повернул два раза. Дверь не открылась и не открывалась, как бы усатый ни вертел ключом.

— А давай выстрелим в замок, — предложил бородатый. — Я слышал, так можно.

— Из чего выстрелим?

— Из пистолета.

- А он у нас есть?
 - Точно нет. Я забыл, — печально вздохнул бородатый.
 - А если б и был. Дверь заперта изнутри на засов, — сообщил усатый.
 - Вона как. Тебе виднее. Это же твоя квартира.
 - Моя, — кивнул усатый. — Хотя... Нет. Точно моя. Придется будить.
- Первый раз он постучал так тихо, будто и не хотел никого будить.
- Костя, открой дверь. Пожалуйста. Косточка, это я.

Но изнутри никто не открывал. Вообще не было слышно никаких звуков. Бородатый начал терять терпение. Его стук слышался и громче, и солиднее.

- Костя, это мы. Трезвые, заметь. Открой, пожалуйста.

Они приложились ушами к двери. Оттуда слышался какой-то равномерный скрип, потом звук переливающейся жидкости, потом тяжкий вздох.

Повернувшись к двери спиной, бородатый принялся изо всех сил стучать каблук-ком сапога.

- Костя, открой! Именем короля, открой!
- Сдурел, что ли? — осадил его усатый. — Именем какого короля?
- Ну, Людовика.
- Какого именно Людовика?
- Ну, Тринадцатого. Или уже Четырнадцатого?
- Давай вообще без короля обойдемся, — разумно предложил усатый.
- Ладно, республиканец. А ради Бога можно?
- Валяй.

Но терпение бородатого уже иссякло окончательно.

- Хоть это и твоя квартира... Точно твоя?
- Ты знаешь, у меня уже сомнения закрадываются.
- Давай вышибем дверь вместе с засовом, — предложил бородатый, можно сказать, приказным тоном.

Усатый только устало кивнул. Отступив на пару шагов и сосредоточившись, оба прыгнули плечами вперед на дверь в тот момент, когда изнутри отодвинули засов. Препятствие легко отворилось, и двое мужчин оказались на полу. Над ними возвышался совершенно незнакомый им крупный господин в шлафроке, ночном колпаке. Пальцы его правой руки были перепачканы чернилами.

- Что вам угодно? — резонно спросил высокий.
- Простите... э-э... — заблеял усатый. — А Констанция дома?
- Нет здесь никакой Констанции, — сердито буркнул высокий.

Двое поднялись с пола и, бормоча извинения, удалились. Человек с испачканными чернилами пальцами твердо решил, что это никуда не годится. Надо превратить горьких пьянчуг в умеренно пьющих. Сделать обоих неженатыми. Пусть также они отменно владеют оружием и находятся на государственной службе. И добавить к ним еще одного-двух героев. Да, это наверняка понравится издателю. Да и потомкам придется по душе.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Времени на исполнение очередной обязанности было предостаточно. Поэтому он решил передохнуть. Обернувшись голубем, расправив сизые крылья, он сел на подоконник квартиры на девятом этаже. По случаю летней жары окно было распахнуто. В большой комнате за столами, уставленными салатами, пирогами и про-

чей снедью, собралось довольно много для обычной квартиры народу. Но было довольно тихо. Голубь сразу понял причину негромкого общения. На шаткой этажерке стояла фотография нестарой еще женщины. Один уголок портрета был перевязан черной лентой. Перед снимком стояла рюмка водки, накрытая кусочком черного хлеба.

— Ну что ж, рассаживаемся, — скомандовала женщина в черной косынке, — помянем рабу божью, нашу Анечку, царство ей небесное. Сначала закусывайте, пожалуйста, сочивом и блинками с медом. Так полагается.

Кот, мирно спавший на книжном шкафу, проснулся и, заметив голубя на подоконнике, пару раз дернул кончиком хвоста. Хищник понимал, что сейчас устраивать скачки по верхам, имитацию охоты не стоит. Не тот случай.

Командовавшая застольем женщина в черной косынке уже заканчивала свою длинную речь.

— Вы знаете, что после смерти Сережи многие спрашивали Аню: что ты замуж не выходишь? Но она не могла предать память о нем, о прекрасном, очень верующем человеке. Нет сомнений, что они скоро встретятся в раю и воспоют с ангелами.

«Ага, сейчас, встретятся, — подумал циничный голубь. — Держи карман шире».

О закончившейся жизни праведной, доброй, христианнейшей Анны говорили много и долго. Некоторые из особо верующих даже называли ее смерть успением. Она была членом причта, пела в хоре, работала звонарем. В общем, руководила всей материальной и духовной жизнью прихода. И со светлыми слезами, кто искренне, кто не очень, желали, прогнозировали Анне однозначное попадание в рай.

— Смотрите! — воскликнула тихая и восторженная женщина, подруга покойной. — Голубь сидит на подоконнике и не улетает. Это душа нашей Анечки.

Птица внимательно посмотрела на восторженную женщину, оставила белую кляксу, как это принято у пернатых, и улетела, став невидимой, как это у них принято. Ей предстояла встреча и работа с грешным Лехой.

— Леха! — голос доносился откуда-то сверху и справа.

Леха открыл глаза и... ничего не увидел. Только серый клубящийся туман наполнил собой пространство барака. Неужели эти гады фашисты решили отравить всех газом? Хотя нет. Какие фашисты? Какая отравка?

Напротив, Леха прекрасно себя чувствовал. Не кололо в боку. Он провел языком по зубам. Не хватало шести выбитых в драках, а сейчас все на месте. Отрезанные на токарном станке мизинец и безымянный палец тоже были в наличии. Он мог ими пошевелить. Что все это значит?

— Леха! — снова позвал незнакомый голос.

Он слышался ни мужским, ни женским, каким-то средним. Казалось, что обладатель усталого голоса был чем-то очень занят, но временами вспоминал о Лехе и окликал его.

— Осужденный Мотявин Алексей Олегович, статья сто шестьдесят первая, часть третья, семь лет, — отбарабанил Леха и зачем-то добавил: — Погоняло Рыжий.

При этом он попытался встать, но не смог. Тело плохо слушалось.

— Это все пустое, Леха. Здесь принимается во внимание только имя. Посмотри на себя.

— Я не могу встать.

— Можешь.

Внезапно Леха почувствовал себя стоящим на ногах. В следующем кадре серый клубящийся туман исчез. Перед ним было дорогое зеркало в рост. Его окаймляла рама

в позолоченных завитушках. За ней стена с наклеенными обоями в синюю полоску. Чуть левее окно. А за ним — буйство летней зелени и голубое небо.

Вот только себя в зеркале Мотявин не увидел. Только какое-то бельмо с размытыми контурами.

— Я себя не вижу, — испугался Алексей.

— Было б на что смотреть, — в голосе почувствовалась насмешка. — А так?

Невидимая рука стерла бельмо. В зеркале отразилась богато обставленная комната. Что-то такое в стиле барокко, решил бы Мотявин, если б знал о существовании этого термина.

Зеркало исчезло. Леха пытался иногда рассмотреть собственную руку или ногу. Безуспешно. Только неясные силуэты.

— Пошли, что ли? — предложил голос.

Невидимые ноги сами понесли Леху через анфиладу шикарных и безлюдных комнат. И вдруг впереди открылся уже совсем иной пейзаж. Жаркое сухое лето. Разноцветные одноэтажные деревенские домики. Переполненные сады, лезущие за заборы ветками, полными яблок. Что-то непрерывно клюющие пестрые куры. Запах свежего навоза с огорода. Хрюканье свиньи с выгула свинарника. Невыключенное радио из дома, хрипло орущее песни. Родители на работе. Делать нечего.

Леха с лучшим другом и ровесником, соседским Колькой, скакали босиком по пыльной тропинке на хворостинах, изображая всадников. Доскакали до колодца посреди улицы. Захотелось пить.

«Скорей бы стать взрослым, — подумал тогда Леха. — Бросил бы ведро вниз». Бревно ворота быстро вращается, пока ведро не достигнет воды. Она набирается, и можно тянуть вверх. Леха видел, как это делается. Но сейчас не хватает роста даже добраться до приколодезной скамеечки.

— Коль, давай подсажу, — предложил Леха.

Колька с трудом уцепился за верхнюю мокрую доску скамейки. Леха уперся плечом ему в задницу. Полдела сделано!

Мальчик принялся расхаживать по скамейке, показывать язык.

— А ты не забереешься. А ты не забереешься.

Леха забрался. Толкнул дразнившегося друга в грудь. Тот потерял равновесие на мокром дереве. Лехе оставалось только чуть приподнять Кольку за ногу. Дальше все решило земное тяготение.

Упавший не закричал. Родители хватились только вечером. Леха, на которого никто почему-то не подумал, лишь пожал плечами. Мальчика обнаружили только через день, когда тело распухло и всплыло. И колодезное ведро во что-то уперлось.

— Припоминаешь? — спросил голос.

— Да не, не было такого, — засомневался пятидесятичетырехлетний Леха Мотявин.

— Видишь ли, Леха... Здесь не врут.

Та же деревня во Владимирщине. Тепло, бабье лето. Леха, высунув язык от старания, трудился над прописями в тетради. Делов-то — обвести буквы, набранные контурными точечками, сплошными линиями. А все равно получалось коряво.

— Да-а, — вздохнул сегодняшний Леха, — учился я плохо.

— Да при чем здесь учеба? — перебил его голос. — Смотри дальше.

По улице торопливо шли две знакомые девчонки — Ирка и Настя. Одна из них с большой корзиной.

- Лешка! — крикнула Ирка в открытое окно. — Айда с нами!
- Я уроки делаю, — зевая, ответил мальчик.
- Да на фиг уроки. У нас октябрятское поручение, — соврала Ирина.
- Какое?
- Котят топить! Зырь!

Леха выглянул в окно, а Ира приподняла корзину. На дне копошилось несколько пестрых комочков. Глазки уже начали прорезаться. Алексей с готовностью кивнул.

— А что такого? — с вызовом он возразил молчавшему голосу. — Ну что? В деревне всегда это детям поручали. А если не топить, они и будут плодиться...

— А ты посмотрел в их только прорезавшиеся глаза и сразу увидевшие смерть? А ты помнишь, как инстинкт помогал одному плыть к берегу, а ты его палкой по голове со всей дури? Тьфу на тебя, Леха...

Лехин непотеющий лоб покрылся испариной. Но тут же он почувствовал, что на улице холодно. Ну, не так чтобы мороз. Градусов пять-семь. Именно это и заявил Валентин. Он умный. Он начитанный. И первый среди всех троих получил полтора года на малолетке. Валентин даже носил очки. И даже не имел погоняла, что в поселке, что среди друганов. Шмыга имел хронические проблемы с соплями. А Леха Рыжий был, как обычно, такой, без особых примет. И еще с ними находился Женька Болт, совсем малой, одиннадцать лет. Он, конечно, рвался на дело, но должен был кто-нибудь на стреме стоять.

— Значит так, — тихо сказал Валентин. — Еще раз все повторим. Я, Рыжий и Шмыга лезем на крышу и вскрываем замок на чердаке. Проникаем.

— А че через крышу? — вдруг перебил его Женька Болт.

— Там нет сигнализации.

— А че такое сигнализация? — спросил Женька.

Рыжий отвесил младшему товарищу подзатыльник.

— Значит так, — продолжил Валентин. — Берем медведя, вкусняшки и бухло. Чтоб смогли унести. Без перегруза.

Подельники установили прихваченную лестницу и по очереди полезли на крышу. Оставшийся на стреме Женька Болт привел лестницу в горизонтальное положение, присыпал снегом и спрятался за углом магазинной стены, в тени, куда не падал свет от уличного фонаря. Время от времени он принимался прыгать, чтобы не замерзнуть.

На крыше было скользко. Все трое сразу прижались к шиферной кровле и начали продвигаться вправо, к чердаку. Кровля слегка потрескивала под их весом. Навесной замок на чердачном окошке оказался ерундовым. Валентин подцепил гвоздодером дужку, приложил усилие, и запорный механизм поддался. Подсвечивая фонариками, преступники пролезли внутрь чердака.

Послышался приближающийся звук мотора. Все трое замерли, погасили фонари. Шмыга перестал шмыгать. Но Болт внизу не свистнул. Значит, опасности нет. Просто какая-то машина проехала.

О, это счастье вора! Никого, пустота, тишина. Незакрытая дверь кабинета завмага, а внутри небольшой медведь — сейф. Распихав бутылки по карманам и в обнаруженный в кабинете портфель, туда же конфеты, ребята приступили к главному. Сейф был не таким уж тяжелым. Рыжий один приподнял его и поставил на ребро. Втроем-то они справятся. Донести до чердака. А там он уж спустится сам. И дома у Валентина, в спокойной обстановке, подельники вскроют этого сезама.

Леха высунул левую ногу через чердачное оконце. Упереться надежно не удалось. Подшитый валенок предательски скользил по шиферу. Шмыга и Валентин, подхватив сейф, пытались протиснуть его в отверстие. Но мешала правая нога Лехи. Чуть причиндалы не отравили. Но показалось, что сейф подался вперед, когда Леха максимально вдавился в оконный проем. Не прошел. Только затрещал шифер от удара.

— Погоди, не так. Рыжий, давай назад, — Валентин нашел решение.

— Куда назад? — спросил Леха.

— Совсем. Втроем поднимаем и скидываем. Только бы Болта не долбануть.

Получилось. Медведь легко съехал с покато́й крыши на покрывший грешную землю снег. Валентин первым полез посмотреть, что получилось. И едва он по плечи высунулся из чердачного окошка, как халтурно прибитый прямой лист шифера над отверстием тоже поехал вниз. Шея молодого человека оказалась не таким уж тяжелым препятствием.

Шмыга и Рыжий, включив фонарики, остолбенели при виде рухнувшего на пол обезглавленного тела товарища. Женьке Болту вначале показалось, что вслед за сейфом с крыши упал какой-то украденный в магазине кулек. Нет, не кулек.

— Ну и как, Леха? Ты гордился этим?

— Я сел за кражу.

— Но у тебя же не спрашивали в камере подробности.

Леха задумался.

— Нет. Это же разные вещи. Здесь кража. Точнее, попытка. А там несчастный случай.

— Вот и судья Вербилова... Помнишь ее? Собственно, по малолетству тебе полагался условный срок. Преступление не было завершено. Но судье Вербиловой очень хотелось поскорее избавить от тебя Землю. Вот ты и получил свой год реально...

Ты вошел в камеру и увидел всех сразу. Пятнадцать человек, юных мужчин, негодяев. А ты такой одинокий. Обе руки заняты удержанием жиденького матраца с одеялом, подушкой, комплектом постельного белья да еще рюкзачка с пожитками. Страшно было?

— Еще как! Спрашиваете...

Во рту пересохло. Леха знал, что его слово первое. Просто поздороваться. Тревога нарастала. Одна убийственная секунда следовала за другой.

— Доброго дня всей честной компании, — вымолвил Леха еле слышно.

— Чего? Не понял, — сказал плохо выбритый кавказец.

— Дайте попить. Пожалуйста.

— Пить просит, — расслышал плечистый парень. — А чего ты хочешь? Кофе с коньяком или виски шотландские? У нас все есть.

— Воды... глоток.

— Прямо умираешь. Хочешь, в рот наассу? Или чайку?

Плечистый взял со стола кружку и выплеснул остатки чая на бетонный пол.

— Слижи.

Хитрого вида шестерка что-то шепнул плечистому на ухо. Тот кивнул.

— Пришла малява, что ты Леха Рыжий, по фамилии Мотявин. И что ты пришел своего кореша во время ареста.

— Нет! Это был несчастный случай! Кусок шифера с крыши поехал и голову ему снес. По камере пронесся ропот удивления и страха.

— Что ты гонишь? — усмехнулся кавказец. — Какой-то ты дерзкий. Вошел и гонишь.

Кавказец начал угрожающе приближаться к Лехе. Новичок перестал соображать. Он бросил свои жалкие пожитки на пол и отпрыгнул к трехэтажной шконке, прижался к фанерной спинке. Инстинкт подсказывал, что так он хотя бы сзади защищен.

Кавказец неожиданно и мощно выбросил вперед правую руку. В долю секунды Леха убрал голову в сторону, и кулак соперника громко врезался в фанеру.

Такого никто не ожидал. «Боксер, что ли?» — послышался чей-то шепот. Воспылавший от ярости, покрасневший кавказец снова замахнулся:

— Хана тебе, Рыжий.

Сильный не подумал об обороне. Слабый кулак Лехи добрался до скулы кавказца, и тот рухнул на пол, отчетливо стукнувшись затылком о бетон. Плечистый первым сообразил прижать ухо к груди кавказца.

— Тихо всем! — приказал авторитетный.

Ударов сердца он не расслышал. А Лехино сердце стучало ритмично и весело. Никто не осмеливался к нему приблизиться. Игра в прописку не удалась.

Тюремный врач написал в заключении «оторвавшийся тромб». Мотьявина перевели в другую камеру, куда уже успела дойти странная и страшная новость.

— Ну и что? Судимость не снята. В армию не взяли. Ну и что? Других занятий не нашлось?

— Не нашлось. Ну что вы, в самом деле, не понимаете. Как мне идти вкалывать от звонка до звонка, когда меня уже уважают в восемнадцать лет?

— Но ведь это ужасно, Леха. Это что за общество, где человека уважают за убийства, ограбления, мошенничество? Ты же ничего не создаешь. Ты отбираешь созданное другими.

— Так прямо ничего не создаю. Детей делаю. Умею готовить. Песни пою, — Леха решил, что перечень принесенной человечеству пользы уже превысил перечень зла.

Показалось, что невидимый собеседник тяжело вздохнул. Спор становился бессмысленным.

— Лучше вспомни, друг мой Алексей Олегович, о том, как хотел принести пользу и все запарол.

Свадьба была хорошей. Как говорится, будет что вспомнить старому другу Егору Кожеватому и молодой его жене Симочке. Недешевый ресторан в культурном городе Калуге. Родни с обеих сторон — два десятка, друзей — столько же. С Егором Леха срок мотал в мордовском лагере. В знак дружбы они даже наколки сделали на ребрах. Леха — ЕК, а Егорка — АМ.

Вставший на путь окончательного исправления Кожеватый, владелец нутриевой фермы, чурался всякой уголовщины. Только вот авторитетного друга Лешку в свидетели позвал. Пили вроде как в меру. Драка между разгорячившимися парнями случилась только один раз. Дурацкие конкурсы приглашенного тамады поднимали настроение. Пусть там где-то чья-то жена приревновала своего мужа, победившего в конкурсе проползания между женских ног.

Как и всегда бывает, случайность явилась в самый неподходящий момент. Уже подали на горячее шашлык. Уже в сотый раз пьяные глотки прокричали «горько». Егор хлопнул водочки. Нацелился вилкой на кусок мяса. Поскрипел ножом по тарелке. То ли нож тупой, то ли мясо больно жилистое. Егор закусил шашлычком, пожевал мяска и автоматически проглотил. И кусок застрял почему-то в трахее. Как вор, однажды бжавший из мордовского лагеря и заткнувший собой очень тесный лаз.

Вся свадьба бешено закрутилась у Егора перед глазами. Лицо жены, лицо Лехи, лицо кого-то еще, тарелка с шашлыком, скатерть, паркет. И красная пелена.

— Что, Егор? Что случилось? — начал полумертвому задавать бессмысленные вопросы Леха.

Дышать Егор почти не мог. Из рта доносился слабый хрип.

— Он мясом подавился, — догадалась молодая жена. — Леха, ребята, сделайте что-нибудь!

Новость разлетелась по банкетному залу мгновенно. Голова Егора лежала на коленях Лехи. Что делать? Искусственное дыхание? Массаж? Леха сзади приподнял друга и резко надавил ему на живот. Кажется, так делали в каком-то фильме. Не помогало.

— «Скорую» надо, — спокойно сказала девица со стороны невесты. — Я медсестра.

— Пока она придет... Что сделает «скорая»? — спросил близкий к отчаянию Леха.

— Надо сделать дырку в трахее ниже застрявшего куска. Вставить трубку. Что подойдет. Корпус от самой простой шариковой ручки.

— Ну, делай!

— Ты что? Я не умею.

— Чему вас учат?

Через несколько секунд в руке Лехи был корпус от ручки. Столовый нож он забраковал. Вытащил свою острую выкидушку.

— Где твоя трахея?

— Вот здесь она проходит, — показала медсестра. — Вот здесь осторожно резать.

А организм, оказывается, полон крови. С пьяных глаз Леха не видел гофрированную часть организма.

— Где она, трахея?

По полу растекалась кровь. Трахея была уже разрезана заодно с артерией. Леха еще немного расширил рану и вставил корпус от ручки. Импровизированный медицинский инструмент торчал криво. Леха еще немного подрезал плоть и поправил трубку.

— Ну, дыши, Егор! Чего он не дышит?

Медсестра меняла ресторанные салфетки, тампоны из медицинской аптечки ресторана. Кровь из артерии булькнула еще разочек и перестала.

— Он дышит? Он жив?

— Он мертв.

Врач «Скорой помощи», невысокая девушка, только констатировала смерть. И даже чуть-чуть цинично улыбнулась при виде шеи, разрезанной от уха до уха, и торчащего посредине корпуса от шариковой ручки.

— Да что вы мне все показываете какую-то дрянь? В моей жизни было столько же хорошего, сколько у любого другого. И грехов не больше, чем у других.

— Да что ты говоришь. А почему я к тебе испытываю отвращение? Зачем мне, по идее равнодушному существу, испытывать к тебе отвращение?

— Не знаю... Просто жизнь моя была тяжелой. Сам бы посидел на зоне.

— Но тебе-то там было неплохо. Ты же вор в законе. Ты же выше этой копошащейся в грязи шушеры.

Жарким летним днем Леха сидел дома. Не у себя дома, а в квартире любовницы Марины. И занимался любимым мужским делом: ел воблу, пил пиво и смотрел по телевизору футбол. В трудном детстве, в юности, под замком футбол прошел как-то мимо Лехи. Играл иногда на зоне в свободное время. Но в правилах, в командах особенно не разбирался.

А вот недавно толстенький деляга Юра Кац посоветовал Лехе часть денег из общака пустить в оборот и прикупить акций московского «Спартак». Команда, что ни год, чемпионом России становится. Прибыль прямая. Кац — человек башковитый.

Леха потягивал пиво и смотрел игру, не выражая особенных эмоций. Раздался звонок в дверь. Леха посмотрел на настенные часы. В это время Марина обычно приходит с работы. Звонок повторился. Еще один. Леха встал, смахнул на пол приставшие к домашним штанам соленые чешуйки и пошел к двери. Глазок показал, что там действительно Марина. Леха открыл ей. Она вошла, поставила на пол тяжелую сумку с продуктами.

— Чего трезвонишь? У тебя же ключ есть, — поинтересовался Леха.

— Есть. А как я до него дотянусь с такой тяжестью? — со сдержанной ненавистью ответила Марина. — Хорошо, соседка из подъезда выходила. А то ты и домой меня бы не пустил.

— Ладно, — смиростивился любовник. — Ужинать пора. Приготовь там чего-нибудь. Водчонки взяла?

— Взяла. А если ты картошки почистишь, то ужин начнется быстрее.

Леха нахмурился.

— Марин, ты дура, что ли? Мне такое предложить... Да я и не умею, честно говоря. Солнце клонилось к закату. И так же непреклонно зрела ссора.

— Леш, ну давай шкаф купим побольше.

— Зачем? Давай лучше выпьем.

Он потянулся горлышком бутылки к ее рюмке, но она преградила ей путь ладонью.

— Мне некуда уже одежду складывать. Это тебе все равно, что носить. А мне еще нет.

— Ну покупай сама шкаф, стенку, еще один шкаф. Мне не нужно. Я бродяга по жизни.

— Какой же ты бродяга? Ты у меня уже полгода живешь. Другей сюда приглашаешь.

Футболочка свежая. Костюм с отливом в шкафу висит, дубленка...

— Много говорить стала. Следи за метлой.

У Марины в глазах сверкнули слезы.

— Ну, хорошо. Я сама куплю. Только на то, что я хочу, с учительской зарплаты вовек не накопишь. А ведь тебе еще есть-пить требуется. Ты же миллионами ворочаешь. Добавь, жадина.

— Какие миллионы? Ты что имеешь в виду? Чтоб я, Леха Рыжий, в общак лапу засунул?

Он резко вскочил, опрокинув стул, Марина тоже встала. Они были почти одного роста. Между их глазами не пролезла бы и человеческая рука. Он хотел просто отшвырнуть ее. Но ударил в живот. В низ живота. Опускаясь на пол, она судорожно хватала воздух, не в силах вдохнуть глубоко.

— Ты рехнулся, Алексей? Там же ребенок. Твой ребенок.

Вечером в больнице у нее случился выкидыш.

— Я устал от тебя, Леха Рыжий. Хотя усталость нам не свойственна. Я был очень рад, когда узнал, что твое самодовольство однажды закончилось, что твоя воровская карьера накрылась медным тазом.

— Мне было стыдно.

— Стыдно? Ух как интересно! Перед кем же стыдно?

— Перед людьми.

— Вижу, что людьми в данном случае ты считаешь только своих уголовников.

— Ну да. А кого же еще? Но я потом стал другим. Мне стало стыдно перед Богом.

— Иди ты...

— Нет, правда, поверил.

— А потом разуверился?

— Ну-у-у...

- Перешел после долгих раздумий на позиции материализма, считая его онтологически первичным началом в сфере бытия?
- Если в общих чертах, то да.

Сперва Леха Рыжий крепко влип и уже считал, что его скоро убьют. Сперва таскал из общака понемногу. А потом вконец обнаглел и дал из этих денег взятку прокурору, чтобы получить УДО. И когда воры зоны потребовали явки Мотявина на обряд развенчания Лехи из законников, того уже и след простыл. И — ни слуху ни духу о человеке.

Себя он считал хитрейшим из хитрейших. И стоя на коленях перед игуменом Досифеем в небольшом, замеченном снегами монастыре в Архангельской области, исповедуясь, Леха говорил правду. В чем согрешил вольно и невольно.

Досифей понял, что перед ним стоит, отказываясь подняться с колен, не обычный раскаявшийся ээк. Да, убивал, но как бы и не убивал. Разве этот парень толкнул плохо укрепленный на крыше кусок шифера? Не он. Разве он знал, что у кавказца во время неравной драки оторвется тромб и заткнет сердечный клапан? Не знал. Леха плакал и не мог остановиться, как обиженный ребенок.

— Отец игумен, я не знал, что Марина беременна. Честное слово, не знал.

Досифей тяжело вздохнул, покрыл голову Лехи епитрахилью и начал разрешительную молитву: «Господь наш Иисус Христос божественною своею благодатию...»

Леху приняли в монастырь трудником. И он действительно прилежно трудился, делая, что велят. Посещал все службы, постился вместе со всеми. И крест свой нес даже лучше других трудников, как и товарищ по сложным отношениям с Уголовным кодексом Михаил, отматавший пятнадцать лет по разным статьям.

— Слушай, Мишаня, — спросил как-то, год спустя, Леха своего кореша, — а что мы с тобой здесь делаем?

— Как что? Будто сам не знаешь. Богу служим.

— А ты уверен, что Богу это надо?

Михаил даже растерялся. Он давно научился не задумываться.

— Живем без баб. Работаем с утра до ночи за миску постной жижки. На службе стоя, спим. И главное — не по приговору, а так, добровольно. Я уже забыл, как жареное мясо пахнет. Валим отсюда, а?

И глупый, нетвердый в вере Мишаня согласился. На всякий случай Леха в мастерской сделал острый нож. Как-то теплой весенней ночью они вскрыли ящик для пожертвований, а потом и сейф в кабинете игумена. И пошли, как свободные люди, до остановки автобуса.

На девятичасовой автобус они опаздывали. Могли опоздать и на десятичасовой. Леха предложил срезать расстояние по таежной тропе... И они заблудились.

На третьи сутки стало уже совсем невмоготу питаться одной травой и редкой прошлогодней брусникой. Мишаня вывихнул ногу и не мог дальше идти.

— Ты же понимаешь, друг, что я тебя на себе тащить не смогу? — спросил Леха Рыжий.

Михаил кивнул.

— Ты же понимаешь, что мы умрем с голоду?

Мишаня кивнул.

— Ты же понимаешь, что один из нас может и выжить?

Леха вытащил нож и протянул другу. Заботливо растегнул ему телогрейку и задрал фуфайку. Приставил острие где-то пониже левого соска. Михаил дрожащей рукой держал нож и вполне мог промахнуться. Леха взял его руку в свою и надавил...

— Все, больше не могу. Последние десять лет твоей никчемной жизни прошли точно так же.

— Нет! Я воровал, грабил, насиловал. Но не всегда...

— Конечно. Ты еще ел, пил, спал, блудил. Тебе пора. Вниз!

В призрачной толпе теней было тихо. Без суеты, без скандалов и ругани то одна тень, то другая, услышав приказ, приближалась к световому столбу и либо поднималась вверх, либо опускалась вниз.

Он оказался рядом с этой толпой из любопытства. Хотелось узнать судьбу рабы божьей Анны, на поминках по которой случайно побывал. Она стояла, понурился голову, непрерывно читая про себя молитвы. Уверенность уверенностью, но дополнительное подкрепление не помешает.

И вдруг рядом с Анной оказался Леха.

— Ты еще здесь? — удивился давешний собеседник.

— А че? — смиренно ответил Леха.

— Да ниче. Просто я уже мало че понимаю. Хотя и раньше случались подобные непонятки.

— Все в его руках. Не нам судить.

Праведная Анна спустилась вниз. Супергрешник Леха поднялся вверх. Но перед этим он успел дать хоть какие-то пояснения.

— Видишь ли... Оказывается, всем моим жертвам было предписано стать гитлером. И я их так аккуратно, с его помощью... И малолетний Колька, и тот кавказец, и друг Егор Кожеватый, и даже выкидыш Марины, и Михаил — все они могли стать гитлерами.

— А котят?

— А котят — нет.

Дмитрий БОБЫЛЕВ

* * *

Кончается что-то, как будто — жизнь,
Листвой окропились сопки.
Рифленной подошвой ступеньки вниз
Вбиваешь по мокрой тропке.

Еще не разрежена сеть листвы,
Но пахнет земля арбузом.
И слышно: звенит ледяная высь,
Как капают с нитки бусы.

Пошаришь в кармане — а там билет
Хрустящий, уже ненужный.
И пальцы хранят его теплый след,
Пока он слетает в лужу.

Зрачков фотосинтез хранит листву
Такой, как при первой встрече.
А ветки, качаясь, рвут синеву,
В которой хранится вечер.

Пока не остыло тепло вещей
И вдоволь пустых блокнотов,
Хочу быть не путником вообще,
А кисточкой здесь работать,

Из каждой бусины вынимать
Горошек земного света,
Как жизнь, невидимая сама
На фоне прозрачных веток.

Дмитрий Викторович Бобылев родился в 1987 году в г. Серове. В 2014 году окончил филологический факультет Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии. С 2014 года живет в Санкт-Петербурге. Член Санкт-Петербургского союза литераторов. Публикации в «Литературной газете», в журналах «Аврора», «День и ночь», «Знамя», «Наш современник», «Нева» и др. Автор книг стихов «Флажки на карте» (Екатеринбург, 2017) и «Улица Бобылева» (СПб., 2023); книги прозы «Ксякся» (СПб., 2023). Лауреат литературной премии имени Олега Герасимова (2019).

* * *

Игравший музыку мне запретил дышать.
Пронзало нескончаемое соло,
Звеня насквозь, и оставался солод,
А хмель застыл на лезвии ножа.

Какая музыка под первый снегопад!
Я ждал его с июля и не ведал,
Что город убеленный неизведан
Окажется, покрывами опав.

Такая музыка, что нужно снять очки,
Чтоб чувствовать нехватку кислорода.
Услышавший — дыши теперь, попробуй
Ступить на снег, как на разрыв строки.

* * *

Любит Андрюха трудиться без выходных:
Дома его поджидает зеленый змий,
Только войдешь, он сразу тебя — под дых:
Быстро в магаз, работает до восьми!

Рамщик Андрюха пилит сосну и ель,
Желтые кубометры доска к доске,
Рейки, горбыль и прочая канитель
Звонко дрожат в рабочей его руке.

Он и домой приходит не каждый день:
Проще в бытовке, чем проходить пешком
Промку, пустырь и прочую дребедень,
Да на трамвае в город пилить потом.

Он бы совсем не ездил, но ждет семья:
Кошка, котята четверо, всех корми.
Комната коммунальная, не своя,
Пахнет уютом с мяукающими детьми.

Что ж не живется, Андрюха, тебе никак,
Что ты подушкой лупишь в похмельном сне?
Этот Андрюха — я, хоть зовут не так,
И не скучает кошка моя по мне.

* * *

Солнечно, снег блестит уже кое-где.
Мы сквозь бульвар — к большой, как земля, воде,
Ты, как всегда, лезешь топтать газон,
Чтобы шуршать листьями. Их сезон

Вышел без нас, впервые за триста лет
Шествуем по карельской сырой земле,
Вверх от воды и снова потом к воде,
Руки в перчатки, шеи в шарфы одеv.

Мало людей, мало машин, весьма
Узкие улицы, крашенные дома,
Много простора скверов и площадей,
Фата-моргана над — или на — воде.

Мы отражаемся в лужах и первом льду,
В следующем и последующем году,
Кажется, будем видимы для кота
Из арматуры и бронзового листа.

Всю красоту снимаю на телефон,
Через страну тебе помашу шарфом.
Наша прогулка, общей когда-то став,
Одновременно в разных идет местах.

Кот на камнях, желтой блестя фольгой,
Рядом со мной нашел силуэт другой,
Что, козырек сложив для обоих лиц,
Ищет в донецком небе железных птиц.

ОТРАЖЕНИЕ

Часом раньше, чем отправляется электричка,
Наступает ночь — занимайте свои места.
Иногда промелькнет на черном фонарь, как спичка.
Засыпает соседка слева, навек устав.

Смотрят фильм впереди, запирая в наушник звуки,
Видно все как есть отраженьем в пустом окне.
Встрепенулась соседка и уронила руку,
Что-то крикнул мачо, дырку пробив в стене.

Сквозь экранный чад громыхает состав по встрече,
Машинист не глядя смел целый взвод в кювет.
Изменился звук: проезжаем над черной речкой,
Адекватной черным репликам в голове.

Отражение двоится, резкости не хватает,
Я теряю нить и боюсь, победят не те.
Батарейка села, и тут монитор растаял.
Волховстрой. Остановка. Выстрелы в темноте.

* * *

Напиши про нас, писательница, в романе,
Тех, кто видел, помнит, знает чего и как,
Покупавших портвейн в стекле с тремя топорами,
Из бумажных газет узнававших про наш бардак.

Написав о тех, кто умер на середине,
Не забудь и нас, переживших себя самих,
От своей судьбы оставив одни руины,
Мы еще рычим сквозь сон ядовитый стих.

Мне еще хрипит стозевными голосами
Поколение не спустивших себя в онлайн,
Напиши о нем, разбавленном небесами —
Небесами звонкими, будто щенячий лай.

Напиши, например, мол, вышел он из сарая,
Что горел, когда закружил тополиный пух...
Как он день за днем до пикселя исчезает
В электричках с кровавой надписью «Петербург».

* * *

Поскольку не пьешь, то читаешь стихи по полночи
И смотришь в окошко на синие искры сигналок,
Луженое горло горячим раствором полощешь,
Стоишь на свету, ощущая, как похолодало.

Наверно, не зря издаются дешевые книжки,
На севере диком поэты верлибры кропают,
Раз ты, старина, превратился на вечер в мальчишку
И даже подумал, что жизнь не совсем уж пропала.

И вот замираешь, чуть-чуть не дойдя до прихожей,
И смотришь сквозь стену и видишь, как клен облетает,

Как через обои с цветами растёт подорожник,
В декабрьскую темень звенящей груди прорастает.

* * *

На улицах жуткая сырость,
Карнизы капелью больны.
Скользят тротуары на вырост,
Для нынешних ходок трудны.

Под узким балконом на Пряжке
За шиворот капает хмарь.
Поэт в сапогах и фуражке
По хлябям скользил ли тут встарь?

Иль в прежние лучшие годы
Был город снегами богат,
Поэт восхищался погодой,
Шагая дорогой в стройбат?

Прощально по бронзовой ручке
Скользнув в дорогой полутьме
На хрупкую белую мучку,
На муку, на лик на стене.

* * *

как беззащитен ты
человек
снявший очки
хочется то ли ударить
то ли поцеловать

* * *

Я буду снова об одном писать:
Еще осталось, там еще осталось.
В комоде пожелтевшая тетрадь
Состарилась при мне и растрепалась.

Вот мы сидим с Иванычем и пьем
Сквозь сумерки уральского разлива.
Я здесь родился, все оно — мое,
От Каквы и до Финского залива

Один и тот же плещется коньяк,
Мою Россию всюду отражая.
И строчка стихотворная моя,
В стаканах преломляясь, заряжает

Наш разговор и странствия мои.
Молчит Иваныч и давно не пишет.
Он ближе к Богу, чем ко мне, стоит —
Господь и недосказанное слышит.

ЗАРЕЦКОЕ КЛАДБИЩЕ

Заброшенный погост. Тепло собора.
Две бабушки у входа на погост.
Прорехи в покосившемся заборе —
Без тропок, разнотравье в полный рост.

Чугунные кресты с литьем фамилий,
Имен и званий, мхи на письменах.
А кажется, вчера еще пылили
По Волховской в пролетках и санях.

Чудной шиповник с черными плодами
Ветвится на могилах без крестов.
И черные, прибитые рядами
В соборе крестики с полей былых фронтов.

Уйду, кивая предкам на прощанье,
Как будто это сверстники мои.
А бабушки все просят подаянье,
Не трогая подошвами земли.

* * *

Когда июнь еще вступал в права
И удивляло буйство трав цветущих,
Был «Метеор», и дальний Ярославль,
И теплый ветер, бьющий и поющий.

И не были написаны стихи,
Не собраны снаряды и патроны,
Не выпиты ряды полусухих
И горьких вин из слез, речей и стонов.

Звонят стихи, ломая падежи
И отзываясь в пыльной стеклотаре.
Большая Волга и большая жизнь,
Я остаюсь песчинкой на радаре.

Айгуль АХМЕТОВА

АДАШТЫМ¹

Повесть

Лучший выход — всегда насквозь.

Роберт Фрост. Слуга слуг

Меня у меня нет. Я — функция (не та, которую интегрируют и дифференцируют), истертый шпунтик, открутившийся винтик. Достаньте, достаньте, выбросьте меня! Долго же я делала вид, что взрослая жизнь мне по плечу. Все, с меня довольно, больше так не могу. Нет, наверное, могу еще... и еще, но не хочу (ясно вижу, как с тупым выражением лица совершаю акт свободной воли: протягиваю кому-нибудь прицепленный от моего ошейника поводок). Чего ради? Это вопрос, на который как будто должен быть ответ, но я предпочитаю его не замечать — авось исчезнет. Вот я еще на своем не очень-то продавленном рабочем месте. С ненавистью и отвращением я заставляю себя смотреть в монитор: ячейки, столбцы и строки (пульсируют крестами, хоть никто на них и не наводит курсор, обеденные пунктиром, исполняют танец живота под восточную мелодию) со все сжимающимися данными, продолжаю их пичкать разной дребеденью, они все мельчают и мельчают — я вместе с ними; увеличиваю масштаб — количество отражаемых столбцов и строк неумолимо сокращается, а я так ничего и не вижу. Кроме себя, заточенной в одну из этих ячеек. Забавно: мои свобода и воля ограничены физически и ментально (конечно, добровольно — собственноручно подписанной бумагой: есть сферы, куда цифровизацию не пускают, а если и пускают, то лишь для дубляжа), я буквально обнесена каменными стенами, ограничениями и запретами со всех сторон: писаными, сложившимися, выдуманскими (не мной) и даже вполне объективными (если упустить из виду обладание времени свойством межвагонного суфле), — но все так же досягаема и уязвима перед Его Величеством Случаем. Я — материальная точка, заключенная в клетку, из которой мне не выбраться, зато Случаю зазоров предостаточно: щекочет меня, как хочет, — ни за какую пазуху мне от него не упрятаться. И то сказать: обделяет вниманием — селую на бессмысленность, достаивает — пытаюсь вырваться из схватки.

Навожу на резкость, а картинка все расплывается, разбегается, мысли диффузно рассредотачиваются. В голове рыбьим хвостом бьется это извечное: «Что я здесь делаю?» Я не вижу то, на что смотрю, зато не могу перестать замечать то, что творится на периферии моего зрения. Там — река, в произвольном порядке претерпевающая смену сезонов. Пока я не даю ей волю, она скована льдом (рыбий хвост его скоро до-

Айгуль Разитовна Ахметова родилась в Воркуте (Республика Коми). Высшее экономическое образование получила в Уральском федеральном университете. Публиковалась в «Новом журнале» (2023), в журнале «Урал». Живет в Екатеринбурге.

¹ С татарского: сбился с пути.

конает), впрочем, уведомляющим о своем присутствии едва различимым потрескиванием. Фон — фон важнее размазанной в центре пустоты. Целая жизнь вынесена за поля ученической тетради. Проигнорирую вопрос: «Кем?» Самые красивые и затейливые узоры проступают на кромке и за кромкой обозрения. Мои коллеги, уткнувшись каждый в свой монитор, — я чувствую эту высшую степень концентрации, дребезжащую в пространстве нашего не самого тесного кабинета электрическими проводами, — напоминали застывших мимов. Ни одного лишнего движения, звука, вздоха. Я, растерявшая былую усидчивость, спасающаяся на доли секунд от донимающей бессмысленности разводимой деятельности в мелком физическом движении, ерзании, завидовала какой-то прямо-таки непошибаемой сосредоточенности. Интересно, они тоже блуждают в бескрайних таблицах или погрузились в материалы дел вверенных им проектов... Надо признать, последние способны взбудоражить, раздражить нервы, зацепить и удерживать определенное время внимание. Если бы не стиль изложения и не двухмерность изображения, они запросто переплюнули бы любой лихо закрученный детектив (или нет? — жизнь кишит поворотами, превосходящими в неправдоподобности плоды фантазии). О, это не было выдумкой, но не было и рафинированной правдой — а было правдой запротоколированной. Стало быть, чьей-то правдой, искаженной, искромсанной, всячески истерзанной. «Мы встретились у метро, проехали в отделение банка, там подписали документы, в содержание которых я не вникал. Я получил за это тридцать тысяч рублей. Нет, я не понимал, что стал акционером». «Он мой непосредственный руководитель, я не могла ему отказать. Я предоставляла отрицательные заключения, указывала в них все риски, но окончательные решения принимаются коллегиальным органом. Мне стало известно о принятом решении лишь на следующий день после того, как сделка уже была заключена». «Я находился в другом городе, не мог принимать участие в принятии решения, подпись на протоколе решения сделана не мной». «В ходе переговоров я понял, что предложенная мне сделка носит противоправный характер, и отказался от нее. Больше со мной на связь не выходили. Я не знал об открытом на мое имя счете, не знал о поступлении на него денежных средств. Также я не участвовал в оформлении в залог по обязательствам компании „R“ перед банком „M“ принадлежащих мне земельных участков». Каждый старается друг друга облапошить, но чем больше читаю, истории чем большего круга лиц охватываю, тем больше уверяюсь в том, что главное лицо, которое они обводят вокруг пальца, — я (какое самомнение!). Ну, это в моем проекте, в моей *игре*. А этих «игр» у нас — не счесть! Сотнями можно навешать на каждого, да они еще безо всякого расписания и прибывать будут. У каждого свои товарняки, свои вагоны под разгрузку. Дивные чужие истории с героями, годами находящимися в розыске, по несколько раз сменившими фамилии и имена (иные — даже отчества), даты и места рождения (да и это еще не все: каждый из нас, как рождественская елка, увешан множеством атрибутов, иные из которых, по задумке, не подлежат изменению, но... нищий с одним ИНН становится принцем с другим ИНН, Ольга превращается в Олега; ну, и что угодно превращается в прах), ошеломяли своей новизной и дерзостью, безрассудностью и гиперболизацией, но ничем не обрастали, не обвивались плющом воображения, не вздувались и не наливались таинственностью, — одно на другое громоздилось и обваливалось, ничего из этого не выходило, кроме избыточности. Привыкшая допускать все что угодно, я и то не могла до конца поверить в всамделишность этих людей. Будучи образованными, семейными, увлеченными (кто-то профессионально занимался спортом, кто-то преподавал, писал книги, коллекционировал картины, монеты; попалась и модель с довольно громким, хотя и совсем невычурным именем), большинство — и вполне обеспеченными, они попирали закон (о морали речи нет) ради материальной выго-

ды, прекрасно понимая, что их ждут не условные, а реальные сроки лишения свободы (пусть им и было ведомо, что относительной). Почти сквозь каждого из них просвечивал неисправимый романтик или безрассудный герой. Конечно, кого-то из них подставили, кого-то запугали, принудили угрозами, шантажом — есть стены, очутившись в которых не сможешь не задеть сплетенные сети вины. Такие сети для кукол мотто-фозо. Та самая кукла, которая у Юрия Олеши: «Он был кукла. Это все видели. Настолько кукла, что когда униформа, вдруг забыв, что это кукла, переставал ее поддерживать и отходил, она падала»². Кукла удобна тем, что легко создать ее двойника, тройника и так далее. Куклы, на которые навешивалась субсидиарная ответственность, куклы, которые банкротились, куклы, которых брали под стражу. Для этих кукол и мы есть куклы. Ломающиеся и множащиеся. С нами проще — необязательно делать нас под копирку. Только разнообразие наших личин и спасало их — наших кукол — от скуки. Хотя сложно представить, что тем куклам, что мельком взглядывают на нас, доступна скука. Им, борющимся со множеством систем, бегущим, скрывающимся и скрывающим, не до нас. Мы к ним ничего не чувствуем, но нам очень даже до них. До их бледных следов и отражений, до их жен и любовниц, детей, мужей и детей любовниц, до их долгов, машин, квартир, земель, самолетов и яхт, акций и долей в компаниях, до кратеров и участков, приобретенных на Луне и Марсе, и так далее... Как много нужно человеку! Сколько всего у него можно изъять! Сколько его ни обдирай, у него всегда есть что отобрать.

Шея затекла, мышцы плеч затвердели, отвращение втягивает мой подбородок в шею, добавляет новую складку, но не уберегает голову от необходимости делать новое усилие; впрочем, близорукость выдвигает, как на шарнире, мой каменный подбородок с искривленным ртом в сторону экрана. Крыса, бесхвостая крыса (а ведь был когда-то и хвост!)... неужели такой меня и задумали? Много чести — кто тебя задумывал! Напряжение во мне растет, чувствую, что скоро замкнет. Лучше бы замкнуло монитор, высасывающий через едва зрячие глаза мою душу. Высасывающий, пережевывающий и выплевывающий мне ее обратно в лицо. «На, давься, никому она не нужна!»

Мне все казалось, что у меня отнимают время. Конечно, мне за него платили, нагружая социальными пакетами, незримо похлопывали по плечу: да, ты наш человек, трудяга, затрачивающий всю свою энергию на производство груд информационного мусора, делание и переделывание безо всяких мерок, на обслуживание чьего-то эгоизма, мнимого перфекционизма, не признаваемого нарциссизма. Платили сносно, впрочем, убеждая, что много. Жизнь, целая жизнь утекала. Ужасно раздражало, мучило ощущение, что и меня у чего-то отбирают, у чего-то очень важного, чего-то, не соединившись с чем, я не исполню своего предназначения (думать, что оно есть, — признак оптимизма).

Продажная тварь! Но чем платить, если не продаваться? Все эти счета, превращающиеся в монстров, когда баланс не пополняется. Что я без денег? Вот именно: «что?» Месили, месили мою душу, до тех пор мяли, пока она не отупела, пока не лишилась всех желаний, кроме одного: выпорхнуть из забывающегося сном покачивающегося тела. Вот оно бредет по мосту над железной дорогой, внизу мчатся составы, ему пахнут вагонами, слух режет звук скользящей груды металла, перед потемневшими глазами проносятся буксы и пружины, соединяющиеся в головы сатиров с загнутыми рогами.

Но это ведь роскошь — забвение хоть на ночь. Я, давась заглотившая всех своих клиентов, не со снятым скальпом, но со сдернутой наспех карикатурой, все свои заявки с историями дефолтов, с суммами долгов, с перечнями имущества, мучилась

² Юрий Олеша. «Ни дня без строчки».

несварением всю ночь, а наутро просыпалась от ощущения того, что непереваренное содержимое желудка подступило к горлу, рвет его, просится наружу.

Это все мой выбор. Мне не на кого спихнуть ответственность, некого обвинить. Конечно, кроме себя. Раз есть наказание, должна быть и вина. Кто ж посторонний виноват в том, что тобою она не распознана? Эгей! — снова ловлю себя за свой маленький атавистичный хвостик: чувство вины — оно ведь отчего бывает? Оттого, что много мнишь о себе, все еще думаешь, что от тебя что-то зависит, что способность на что-то влиять не утрачена (так же, как премилый хвост). От гордыни, от эгоизма оно. Не можешь принять и смириться с тем, что ты песчинка, не веришь до конца, все тягаешься с обстоятельствами, со случаем, со стихийными силами, с вездесущими опредмеченностью и овеществленностью.

Предметы, глядящие (а все-таки «глядящие», не безучастные) на меня на моем рабочем месте: монитор, клавиатура, мышка, телефон, канцелярский набор, стол, стул, — ничего не обозначали. Файлы, скрепки, скобы, стикеры, степлеры — не много ли инструментов для измывательства над бумагой, которая все стерпит? Уж какого значения я от них, прекрасно ведающих свое *назначение* предметов, ждала? Они делали без сопротивления то, что я до сих пор не освоила: они служили. И ведь я была им благодарна. По утрам — когда мной еще не успели повелевать и распоряжаться. По утрам я все замечала: офисное кресло не было простым темным пятном, с какой-то дурри призванным удерживать мою тушку над полом, — развернутый ко мне, готовый приять меня в свои объятия, он смотрел на меня с щенячьей преданностью и неподкупностью; ничто не подкашивало не единожды брошенный до меня стол, гладкий, рыжеватокоричневый, не лишенный задора, но и отчего-то наводящий на мысль о крышке гроба, — порой ужасно хотелось занырнуть под него и, обхватив голову, присесть к невозмутимой траурной мусорной корзине, изнутри выстланной тонким целлофаном; рядом стоящая приземистая тумбочка, утрамбованная распечатанными секретами, небезосновательно возмутилась бы трусостью, но выпинывать меня, полагаю, вряд ли стала; тихонько урчал, подмигивая голубеньким глазком добродушного монстра, тепленький системный блок — ни разу он меня не успел подвести. Все выглядело так, словно подтверждало: это твое место, ты ничего не пропускаешь, вдавливайся, вращайся — положительный геотропизм тоже геотропизм. Я умею обводить себя вокруг пальца: высосанный из него же намек на неизвестность и многозначность, ошетинивая простые предметы вокруг меня видимым лишь мне ореолом, заслонял бесстыжую бессмысленность, которая, я знала, готова была смеяться мне в лицо.

Может, во всем виновата эмпатия? Вернее, ее отсутствие вкупе с низким эмоциональным интеллектом. Такой весьма незаурядный вердикт был кое-кем вынесен в отношении меня. Вердикт-диагноз, вердикт-клеймо. Неисчерпаем перечень человеческих изъянов! Но таких непотребств даже я в себе не подозревала. Нет, вы только подумайте! — кого-то не устраивает моя лимбическая система! Сколько возмущения, какое негодование! Ну, точно, не все в порядке с эмоциональностью: истеричка! Откуда такой уметь правильно подчиняться. Рептильный мозг, что с него взять.

Как бы то ни было, ни в двух, ни в трех, ни в тысяче слов не выразить мне причину (она не была одна, но куда не устранилась, загораживала все последующие), вызывавшую непреодолимый желудочный спазм. Мне первой была очевидна несостоятельность всех формулируемых доводов. Претерпеваешь воздействие — нечего и объяснять: капля воды, долбящаяся в темечко. Пытка, которую со стороны не уразуметь. Вот мне уже и нейдет: пытка? Какая такая пытка? Разве что несусветной ерундой. Но вода — не ерунда. Если бы только знать, в котором часу она — не капля, но ерунда — перестанет течь, можно было бы натренировать мышцу терпения до смирения.

<...>

Что ж, это все позади, заявление на увольнение написано. Первая мысль: все кончено. Конечно, заявление можно отозвать, но ведь я знаю, что не отзову. Всплывает еще один трупик довода в безмятежности принятого решения: найдешь другую работу, свет клином не сошелся. Найдешь ли? Ну, разве что действительно *другую*. Ну, помилуйте, снова подчиняться? От одной этой мысли дурно: вижу восседающих передо мной за судейским столом трех толстяков; вижу и себя — куклу, один глаз которой замер в ошеломленной распахнутости, второй еще моргает, когда трясут. И этот звук — как будто внутри пластмассы перекатывающегося шарика. Она уже почти поломана. Хотя глаза еще слезятся. Верный признак бракованности.

* * *

Когда вас одолевает скука, предайтесь ей. Пусть она вас задавит; погрузитесь, достаньте до дна.

И. Бродский. Похвала скуке

Таки отподчинялась. Ну, не всем на свете, конечно, но конкретным супостатам (по правде сказать, я их таковыми не считала, но не обойтись мне в деле отъединения от них без словца покрепче), в конкретное время, в конкретных обстоятельствах. Досрочно дорвалась до условной свободы — довольна теперь, отпустило? Вскружила голову эйфория легкости бытия? Э, как бы не так! Во-первых, превращение человека работающего в человека живущего не случается в одночасье: мозг продолжает искать этой пресловутой многозадачности, обрушивающейся откуда-то сверху, словно снег за шиворот (на голову невыгодно — потеря трудоспособности, простой, и все дела, а так, за шиворот — глядишь, выстоит); во время еды глаза беспокойно елозят по поверхностям, выискивая циферблат — в рабочей столовой плоская тарелка часов надзирала со стены; тревога кромсает сон, бьет электрическими разрядами, подсовывая когда-то допущенные ошибки, — плевок в сторону времени. Ощупываешь себя, снимаешь мерки в пространстве, как будто заново знакомишься с собой, — и вроде ты все тот же человек, а вроде и отслоились, отпали от тебя какие-то ороговелости: право прохода в определенное здание, должность, функционал. Вот интересно, не вонзилось ли что из этого вросшим ногтем в нутро, не питается ли мной, не стало ли частью меня.

Оказывается, стоит уволиться, да еще вернуться из Москвы (да-да, в очередной раз шли на нее приступом) в свою «провинцию», и ты (на короткое время) становишься ужасно интересной для всех личностью: «где ты?», «что с работой? уже нашла?» и так далее. Да какое «так далее»? После ответа о возвращении вопрошавшие отваливались. Я прям видела и вижу эти вздох, улыбку, рассеяние напряжения: о, вернулась, не добила успеха и признания, не устроилась, не заработала, все, можно и забыть об этом человеке. Списывали — списывали меня со счетов очень легко и просто. Некоторые, чуть более упорные, на всякий случай продолжали раз в месяц писать, дабы убедиться в том, что все нормально, ничего не изменилось, я их не обогнала на карьерных лестницах (могли бы не переживать: мои артрозные колени на их стороне: ноют на всяких подъемах). В их глазах я — банкрот. Не могу взять в толк, откуда в них такое удовлетворение и спокойствие? — ведь мой пример — лишившегося работы (хоть и добровольно, а денег за это не дают) средних лет человека должен устрашать, напоминая, насколько просто любому выдавиться, исторгнуться из насиженной ячейки системы, какой бы надежной она ни представлялась.

Когда обо мне кто-нибудь очередной вспоминал, я ощущала себя во что-то обмакнутой и... начинала судорожно просматривать вакансии. Тревога. Кровь прихлынула к вискам, к пальцам рук, ударила в щеки, щеки пульсируют, сердце колотится. Что же делать, что делать?..

Что ж, тридцать с «хвостиком» (не как у ослика Иа — этот не отцепляется, только прирастает): ни работы, ни мужа, ни детей — социальный нуль, социальный банкрот, социальное ничтожество просто-таки. Вот до чего докатились. А ведь и не катились никуда — один шаг, на который как будто бы толкает смелость (мгновения, мгновения самоуспоения!), цена которому, судя по всему, — месяцы ощущения ущербности; впрочем, к нему не привыкать — когда его не было? Целых четыре месяца (не считая поисков) устраивалась я на последнюю свою работу, проходила психофизиологическое исследование (оно же — «полиграф», «ПФИ» или, если угодно — «детектор лжи»). О нет, я шла не в разведчики, не в послы, не в хранилища с документами под грифом «Совершенно секретно». В разведчики меня и не взяли бы: выяснилось, что слишком уж я «честная», ничего не стоило меня «расколоть» (чуть не ответила полиграфологу в духе товарища Новосельцева: не надо меня колоть), так что засылать меня к врагу — дрянное дело. Вообще это был мой четвертый (самый деликатный) полиграф. Но каждый был своего рода первый — новые вопросы, новый исследующий тебя специалист. Интерес к моей персоне был столь разносторонен, взгляд полиграфолога (первого, второго, третьего, четвертого) столь испытующ, желание постичь мою суть видится таким безграничным, что мне бы впору обзавестись манией величия, — столько времени и сил на меня одну: не иначе как я феномен! Феномен? Не-ет, просто познаваемый объект. Простой, разлагаемый, поддающийся анализу. Меньше суток им нужно, чтобы вывести описывающую меня формулу. Сколько во мне лжи, а сколько во мне правды? Измерить, измерить, измерить, если что — подогнать, допустить, пренебречь — и выдать ярлычок (да не испытуемому, ему нельзя знать результатов, а им повелевающему)! Откуда им знать, вру я или говорю правду, если я сама не знаю наверняка? Любой вопрос, на который вроде как готов однозначный ответ, спустя мгновение пробуждает во мне сомнение: а вдруг есть что-то, о чем я просто запаматовала, вдруг нужно поскрестись в захламленных уголках запечатанных чуланов чуть подбросовестней? Вот он, ответ, готовенький, ладненький, память и сознание состряпали, ни дать ни взять прекрасно сформованный глиняный горшочек, — а из печи вынимаешь: не выдержал накала и треснул. Пульс зачастил, ухает и ухает — это узник забился во мне, требуя освобождения; боится, что все-таки он постижим. В конце концов, упрощенно результат исследований складывается из взаимодействия трех компонентов: совести, памяти, а лучше — забывчивости и, конечно же, уверенности — сам поверил в свою ложь, попробуй еще разубедись. Выходит, что результаты этой процедуры более-менее стоит считать репрезентативными для тех, кто в себе очень уверен, непоколебим, по-ослиному упрям, ибо стоит подключиться сомнению, и все пойдет вразброд: и давление поскачет, и дыхание то участится, то сопрется, ладошки вспотеют, мускул дрогнет, что-то там яблокоподобное сожмется (да-да, пардон, но они даже изменения в поведении пятой точки регистрируют, без всяких, кстати сказать, «пардонов»). Сидишь себе, обвитый кольцами-обручами: голову венчают не короной и не терном, а ленточкой с проводочками (прямо-таки хатимаки по-нашенски) — небось меньшей брат устройства для записи энцефалограммы, недостает только присосочек, которые обратили бы подопытного в нечто амебообразное, растянув в стороны бельевыми прищепками; проводками же обхватывают грудную клетку, нашлась ленточка и на пояс (завести бы еще руки за спину да примотать корпус к стулу); на предплечье — тугая манжета для измерения давления; в довершение всего — пальчики обернуты са-

мокляющимися черными полосочками — конечно же, с отходящими от них проводочками. Все это дело весьма прозрачно вызывало ассоциацию с электрическим стулом — не хватало только битья током за ложь (или за правду — так оригинальней). Процедура на самом деле несложная, особенно если не задумываться обо всех этих деталях, только бывает противная — замацают нутрецо своими жирными шупальцами, дезинфицируй потом, заливай в филармонии какими-нибудь сюитами и ноктюрнами. А так, в остальном — интереснейший опыт. Больше меня пока нигде не спрашивали, по своей ли воле я попала в город Воркуту (перед глазами грузовыми вагонами промчались вечно в разных оттенках серого Дворец культуры шахтеров, два синих подслеповатых корпуса детсада, не то завешанных челкой из сталактитов, не то зареванных нездешними слезами, невзрачная «Лакомка» — ее наружность затмевали райские нутряные сады с птичьим молоком). Ну, если можно родиться по своей воле, то — да, по своей. «Воркута — столица мира!» — лозунг моего детства. С ним и выживали. Для кого-то лагерь, ссылка, земной ад без подогрева, а для меня и для целого поколения — самый фантазмагорический уголок земли, которым невозможно не гордиться, хоть любоваться им предпочитаешь на расстоянии.

<...>

Я так вожделела этого, столько лет грезил о свободном времени, которое наконец-то отведу, высыплю, вывалю, как мешок картошки, на запыленный алтарь писательства. Правда, стоит мне обнаружить свое посягательство на него, а особенно обозначить его словами, как на меня нападает стыдливость: где я и где он — этот самый алтарь. «Литературная деятельность», «творческий процесс», «писательский труд» — я отказываю себе в праве на какое-либо из этих определений производимых мною со словом действий; не годились и «сочинительство» с «бумагомаранием» — первое превозносит меня, второе — уничтожает. Тут бы еще субъект с объектом не попутать: не слово подчинялось мне, а я — ему. Оно забавлялось мной, как ему заблагорассудится: подставляло подножки, подхикивало над косноязычием, рвало пузо со смеху, когда я катилась кубарем, играло со мной в пятнашки, убегало, мчалось, но оборачивалось и дразнилось. То есть все-таки меня не покидало. А большего и не надо. Ведь я когда-то его предала, пренебрегла им, отвернулась от него, променяв на так называемые определенность и стабильность (будто есть сферы, которыми не заведует энтропия; но не отказывать же человеку в желании заблуждаться). Эта возня со мной вполне сошла бы за игру, пусть сильного со слабым, пусть скучную — известно, кто (а вернее — что) одержит верх, если бы я сама же все в ней не зачехляла в серую, канцелярскую, будничную пыль серьезности. Попробуй-ка через нее мерцание звезд разглядеть, хотя бы даже и выдуманных, а если не звезды, не небо, то — что же?..

А все то же: выживание. Начинаешь понимать заключенного, тоскующего по своей камере. Нечеловеческое — слишком человеческое. Столько времени вдруг оказалось в моем распоряжении, оно ж буквально рулонами раскатывается передо мной — бери и напигиговывай чем хочешь, забивай до отказа. Но происходит вот что: я смотрю на часы и пытаюсь уцепиться хоть за одну их стрелку, гирькой повиснуть на ней; без конца смотрю и понимаю, что оно от меня отдаляется.

Итак, я слежу за временем. Снова. Я гоняюсь за ним, как за бабочкой, с дырявым сачком. Я не могу его даже зафиксировать на камеру — время не дается, постоянно упорхает.

По правде говоря, времени нельзя отказать в праве на месть мне: все, что я делала по отношению к нему, по крайней мере, половину жизни, так это пыталась его спустить, вынудив невидимую затычку невидимого резервуара. Спустить, когда тяжело, —

по-быстрому прокрутить, отмучиться, перетерпеть; спустить, когда сносно, — чтобы не успеть докатиться до момента, когда станет невыносимо; спустить до воплощения в жизнь терзающих (представляемых) и невообразимых ужасов.

Озираясь по сторонам, подмечаю, сколько же всего, в чем я отстала. За что взяться, в каком направлении бежать? Ну да, лучше стоять на месте, не правда ли? Вот и стою, таращусь во все глаза и стою. И без конца тревожусь из-за того, что ничего не делаю. Зачем вообще нужно было начинать писать, если мы добрались вот до этого момента, когда писать невозможно, не о чем, когда слова выкручиваются, увертываются, отцепляются и бросаются врассыпную от меня? Это их новая игра со мной? Им стало меня много, они хотят избавления? К чему все было, к чему все велось, если вот здесь, не на полпути, а просто где-то, меня собирались бросить? Ах, ловлю себя за руку — вот она, попытка спихнуть с себя ответственность: «Меня собирались бросить» — да кто же? Сбросить хвост и сигануть: хочется, чтобы кто-нибудь, чьим словам я поверю, сказал мне, что мне не следует писать. Не то чтобы и без того есть основания в этом сомневаться, а все-таки — не себе же верить, в самом деле. Нужна точка, бесповоротный приговор, чтобы вытряхнуть из себя морок и впрячься в общую лямку. Снова. Обыкновениться.

Куда уж обыкновеннее. Наросла короста, чувства не обнажены, не ошетинены. Изъято, вычеркнуто то, что можно было сублимировать. Все, что было в невероятном напряжении воли, сил, испытания терпения, как-то враз размазалось и затенилось. Ну не дивное ли дело: все, что не давало спать, тревожило день и ночь, обдавало холодным душем и пускало электрическую волну по телу, спустя меньше месяца оказалось перетертым моей избирательной памятью, привыкшей все неприятное упаковывать, как хрупкие вещи и дорогие съедобные плоды, в смягчающие удар футляры. От этих воспоминаний осталась только пыль в уголках, заглядывая в которые если и пустишь слезу, то только от аллергической реакции. Нет трения, нет напряжения, не высекаются искры. Безоблачность.

Чутье куда-то пропало: я перечитываю написанное и нахожу все пустым. Может, все действительно и было таким — воздушные петли бессмыслицы, облагороженной, прирученной на время, пока не соскочит с крючка языка, — а понимание ко мне снизошло только сейчас. Все несусветная глупость, все бесчувственно, гипертрофированно, все подлог и муляж. Почему я этого не замечала раньше?

<...>

Трушу, а все-таки уговариваю себя и сажусь за стол, уставляюсь в белый монитор с мигающим, как сирена, курсором — лишнее напоминание об истлевающих дольках времени (спичка гаснет раз, спичка гаснет два... гаснет n раз, ничто так и не разожжено, не освещено и не согрето) — и, пытаюсь выдавить хоть каплю смысла, чувствую себя самозванкой. Быть бы хотя бы лексикоманкой, но где ж это видано: не вождество, а бояться утоления (разумеется, кратковременного) своей мании. Не допущена я до этих высоких сфер, не было у меня права что-то писать. Кто же, интересно, этим правом наделяет-то? Что будет, если я без этого самого права все-таки буду писать? Самый простой ответ: ничего не будет. Нет, так просто не выйдет. Если я даже решусь пополнить когорту графоманов, я ведь не избавлюсь от сознания того, что делаю то, чего делать не должна. Из-за нелегитимности своей деятельности (опять «деятельности»! Какое уж тут деяние, прямее и проще: «из-за своей нелегитимности»), я никогда не смогу в ней по-настоящему развернуться, так и буду оглядываться в ожидании патруля, который вот-вот меня поймает и разоблачит. Разве время, отданное этому занятию, не окажется впустую растроченным? Справишься с раскрытой бездар-

ностью? Клеймить всегда легче и приятней, чем превозносить, — значит, кому-то можно между прочим доставить удовольствие. Понятное дело, бездарность эта, коли есть (ну-ка, ну-ка, неужели есть капля сомнения?), так никуда и не денется. С нею, наверное, то же самое, что и с признанной виной: покаялся — подопорожил тюк совести, не свалил, но зафиксировал камень на самой бесчувственной душевной впадинке. Сколько ни подозревай и ни прозревай в себе эту бездарность, покуда она не будет вытащена наружу клещами внешних сил, ты подслеповатый, как крот, будешь продолжать рыть и рыть свои лазы, водить себя за нос, отмахиваться, увлекаться то одной, то другой своей идеей. Бесталанность, бездарность в такие мгновения может и затеряться, притихнуть: в ее, что ли, интересах быть обнаруженной? Теперь представь: вот тебя провозгласили пустышкой, мучителем, истязателем словесности — хватит ли у тебя после этого духу что-нибудь еще пытаться написать?.. А ведь хватит.

Неужто я так ничего из себя и не выжму? Выжму, иначе быть не может (конечно, может, кого я пытаюсь обмануть). Эта история не обо мне, это история о постороннем человеке. Предположим, что я повелась на безмолвные увещевания, приняла на веру и примирилась с тем, что вся жизнь, слой за слоем, соткана из повторов, клише, тавтологий — из всего того, чего не терпит искусство. Так вот, принимая сие за исходный пункт, я заявляю: дальнейший текст (который должен был выжаться) — не плагиат, а откровенное воровство. Вот такая неслыханная откровенность, вот какое бесстыдство! Ни один полиграф не уличит меня во лжи: я обезоружу его, выведу из строя беспрецедентной правдивостью. Вообще, это довольно щекотливо и захватывающе — красть чью-то историю. Адреналин! Во-первых, она уже завершена, являет собой готовый продукт, она материализована настолько, насколько это возможно. Из этого следует во-вторых: перспектива оценить произведение; вынести свой вердикт «нравится — не нравится» крайне просто; а все, что не нравится, можно переделать. В-третьих, в чужую историю легче поверить; свои почти всегда вызывают стыд, они не распускаются, а вянут, оттого их так сложно перечитывать. Кроме того, написанное имеет обыкновение отклеиваться, отдаляться от автора, пускаться в собственное путешествие, дрейфовать среди чужих судеб, истираясь и треплясь в них до неузнаваемости; присваиваемое, хоть и насильно, но удерживается рядом до тех пор, пока того угодно похитителю. В конце концов, «жить — в каком-то смысле значит цитировать, и когда ты что-то выучил наизусть, заученное принадлежит тебе в той же мере, что и автору»³. Нижеследующие записки принадлежат почти моей ровеснице — нынче ей тридцать два года, — если не принимать во внимание, что они могли быть сделаны ею два, три года, а может, и все пять лет тому назад. Позволю себе дерзость не объяснять, откуда и каким способом у меня взялись эти записки, отмечу лишь, что дались они мне нелегко: нелегко добывались (не добыть их было нельзя — втемяшилась в голову мысль о них — не выбить), когда я ими наконец возобладала и их прочитала, мне захотелось избавиться от этих записей — пару раз я решалась вернуть их хозяйке, которая, между прочим, их искала, а не предала забвению; разочек думала уничтожить, предав огню или власти всепожирающего шредера, но так ничего и не предприняла. По ту сторону забора трава зеленее, так что потопчемся по ней вдоволь. Впрочем, само повествование будет медового цвета. Разумеется, липового медового цвета.

* * *

Лучше б петух драл глотку, возвещая о наступившем утре, но, увы, распаковывали день, раздирая прозрачную пленку нетронутного утра, совсем иные звуки. В сознатель-

³ Иосиф Бродский.

ное и бессознательное спящей девочки, выдувающие яркие мыльные пузыри снов, переливающихся, как трава, инкрустированная разными каратами росинок (что может быть красивее капли воды, заряженной солнечным светом?), ввинтилось и словно на шампур их нанизало несгибаемое гудение сепаратора. Ненавистный шум у самого изголовья постели. Но девочке было еще мало лет — всего-то девять, она еще не выучилась ненавидеть такие вибрации, поэтому ей было просто неприятно, а некая ее часть — не проткнутая шампуром — не оставляла попыток вновь забыться сном. Где-то на дне шума барахталось воробьиное и ласточкино щебетанье, кукушкино кукованье, трескотня сорок, собачий лай, мычание коров и кудахтанье куриц, к которому чуть позже присоседится-таки петушинный крик. Все заглушено в угоду обряда, свершаемого с безмолвной субстанцией. Парное пахучее, белоснежное, отдающее синевой шелковистое молоко с густой пенкой, так и норовящей упрятаться на дно ведра, неспешно втекало, вливалось в приемник аппарата, как в некий живой организм; в него же втягивался, вмещиваясь в молоко, в его маслянистую воронку васильковый лоскут неба. Девочка упрямо не размыкала глаз, жмурила их, пытаясь уберечь от режущего, все утолщающегося солнечного меча, силилась уснуть, но тщетно. Придется вставать, иначе начнет раскалываться голова, да и желудок слабым урчанием стал отзываться на запахи.

Июль. Небольшая татарская деревня «М» (не конспиративности ради, но дабы полелеять детские грезы — пусть деревня зовется «Марс», тем более что деревня с таким названием действительно существует) в Республике Б. Не надо загадок, тайн — той и вовсе нечего во что-то драпироваться: невыспавшаяся девочка — это я, только пару десятков лет назад, гошу на каникулах у бабушки.

Бабушка еще не разменяла девятый десяток, но подобралась к очередному рубежу вплотную. Она жила одна; о муже ее (моем дедушке, получается, но я его не застала, представление о нем у меня самое смутное), прошедшем всю Великую Отечественную, вернувшемся с нее контуженным, но живым, больше четырех десятков лет говорили: «Урыны ожмахта булсын»⁴. Говорили, что дедушка почти ничего не рассказывал о войне, да и вообще был немногословен, суров, все хромал из одного угла в другой с запертым в груди пылающим, грохочущим, не изживающим себя ужасом, — бултыхал его, но не выплескивал. Наверняка дед — судя по воспоминаниям его близких, мрачный, раздражительный, вечно со сведенными бровями — этим огнем и жил, будучи сжираем им. Бабушка с дедушкой вырастили пятерых детей. Было бы шестеро, но один умер в младенчестве. Остальные все уж взрослые, со своими семьями, кто-то уехал на заработки за тысячи километров отсюда, кто-то жил под боком. Девочка слышала, что ее бабушка не то всю трудовую жизнь, не то большую ее часть проработала дояркой. Внучка не знала свою бабушку молодой, помнила ее только такой, какой она представала ныне: маленькой высохшей старушкой с жиденькими седыми волосами, скрывааемыми под цветными платками, с беззубым морщинистым лицом, запавшими щеками, выступившим подбородком и провалившейся носогубкой; некий выверт в коленях заставлял их постоянно сводиться вместе и растопыривал голени в ребра равнобедренного треугольника (рогатка вверх тормашками), почти всегда обтянутые в коричневые колготки в косичку; наглухо закрытые темные платья сменялись такими же непроницаемыми халатами, отличие было одно: на первых проступал какой-то мелкий рисунок, вторые же, почитая строгость, не позволяли себе роскоши пестреть узором, даже тогда, когда сочетались с пустым ведром на дойку какой-нибудь Пеструшки.

Не любила девочка бабушку. И бабушка не любила внучку. Такая вот взаимность. Девочка задавалась вопросом, отчего же ее бабушка не любит, отчего так сердито смо-

⁴ Дословно с тат.: «Пусть его место будет в раю».

трет. Девочка была смиренная, нешумливая, послушная, а все же не угождала. Это позже она догадается, что, наверное, потому и не смогла угодить, что очень старалась — держалась неуверенно и дико, поначалу даже заискивающе, ибо боялась, что помещает чему-нибудь, не вовремя встрянет, что оттолкнут, а пока улавливала параллель: не понимала она, почему в детском саду, в тихий час, ее так ругает воспитательница, — за то, что она (не воспитательница, конечно), не умеючи уснуть, закрывает глаза и притворяется спящей. Из всех сил она жмурилась, до мушек, до парящих фонариков под веками, лежала, не шевелясь, но воспитательница, делая свой обход, неумолимо приближалась (какая окающая сила ее влекла?), с накипевшей злобой откидывала одеяльце, крепко хватала ребенка за плечо и злобно шептала-шипела: «Чего не спишь? Спи давай, а то в угол поставлю!» Девочка даже не пугалась, а ошеломлялась тому, какое негодование она способна вызвать, недоумевала, чем же она провинилась, а все-таки подспудно чувствовала за собой проступок (коли есть наказание, должна быть и вина); каждый послеобеденный сон превращался для нее в пытку. Должно быть, что-то с ней не так, неспроста ей такое испытание; хорошие дети с легкостью забываются ангельским сном. Вон, даже Игорек, который всегда пакостит, даже сломав воспитательнице ноготь, даже пнув стул с такой силой, что тот опрокинулся, крепко спит, даже сопит. Получается, что она хуже пакостника и хулигана. Думала еще, что угол должен пугать, а она просто чего-то не понимает: ну что может быть такого страшного в этом углу у всех на обозрении? Ее ведь не свяжут, не ударят, из своего угла она сможет продолжать наблюдать за другими детьми, — так что это за наказание такое (да это же поощрение!)?..

Еще нет и шести утра, печка не топлена, но дома совсем не зябко — это потому, что вот уже дней десять кряду стоит зной. Днем все раскаляется настолько, что не успевает остыть за чуть прохладную ночь. Девочка опускает босые ноги на деревянный пол и, не заправляя постель, ничего не говоря хлопочущим около продолжающего гроыхать сепаратора бабушке и тете (в доме всегда было много народа: дяди, тети, их супруги и дети), шлепает к выходу из дома, по пути захватывая и набрасывая на себя легкую куртку.

В те давно минувшие времена, в которые я все вглядываюсь и вглядываюсь, словно в колодец с убывающей водой, девочка не умела замечать красоты этого утра, хоть открывавшиеся ей картины не были слишком обыденными, но им тогда не отводилось большей роли, чем служить фоном — фоном драме, комедии и фарсу, разыгрываемым людьми. Так что картины эти вызывали досаду своей неизменностью, своей бесцеремонностью и неведением границ вызывали страх. То откуда ни возьмись выскочит (ладно, если выскочит, а то ведь выпадет откуда-то сверху!) тучный паук с мохнатыми лапами, то бесстыжая мышь черной тенью мелькнет под самым носом, то юркая ящерица из калоши шмыгнет. И ведь только перед тобой они все паясничают, бесстрашно крутятся-вертятся, забираются, заползают на тебя. Начнешь рассказывать — никто и не верит: мол, никому не попадают, никому под ноги не лезут, выдмываешь. Есть и другие, особые отношения с которыми не приходится доказывать: например, пчелы и осы, слепни, комары — эти не пропадают без следа, прежде чем затеряться в своем калейдоскопе или пасть, оставляют свою различимую метку. Кругом крапива, репейник, травы, цветы и во всем этом — жуки, пауки, гусеницы, червяки, слизняки. Все, чего ни коснись, жадно, неистово, оголтело живет и шевелится, движется, взбирается, прыгает, летает, ползет. Все застает врасплох, требуя внимания. <...>

Ей (мне) не хотелось быть здесь, застрявшей занозой в этом кусочке пространства, но она еще не выучилась выбираться из тенет реальности, смягчать ее прикосновения к себе.

По первости было чем развлечься: дома (коленчатое выпирание округлых бревен вполне позволяло назвать его «избой»), в проеме печки, на возвышении, стояла коробка с только-только вылупившимися цыплятами — любопытство какого ребенка обуздается запретами и удовлетворится одним лишь обозреванием пищущей коробки? Шаловливые детские ручки приподнимали тряпочку, накрывавшую короб, и открывали целый мир, в котором ютились пушистые лимонные комочки, чуточку пошатывающиеся из стороны в сторону, перебегающие из одного угла в другой, жмущиеся друг к дружке, взбирающиеся на головы друг дружек — им все не хватало тесноты и близости; их маленькие клювики, которые они так старательно вытирали о дно коробки с мягким царапающим звуком, были созданы для умиления; а их глазки, во взгляде которых уже проступало что-то взрослое, куриное, прятались за веками, как окошко за прикрывающимися створками; серьезность и деловитость, подчеркиваемые сложенными крылышками, — маленькие подбоченивающиеся генералы, — и поджатый подбородочек придавали малышам вид комичный и еще более трогательный; даже запах свернутых так, как будто выдавленных из кондитерского шприца, червячков помета, усилившийся теплом, не мог оттолкнуть от созерцания этой солнечной жизни. Иногда, когда взрослых не было рядом, девочка, исполненная нежных чувств, но также и влекомая любопытством, зачерпывала рукой из этой пульсирующей солнечной массы и доставала трепещущее, голосащее хрупкое создание, аккуратно зажимала меж маленьких ладошек, боясь повредить ему, и подносила к своим близоруким глазам, чтобы получше разглядеть свою добычу. Новолупка пищала, выдавая свое возмущение, озиралась, но попытки вырваться были столь слабы, что будь я способна задумываться о таких категориях, как смирение, приняла бы за его эталонный образец поведение малютки, оказавшейся по моей капризной милости в плену. Задумываться и рассуждать на такие категории не умела, правда, но намек, ощущение в виде шевеления медузы в каком-то уголке себя, прозрачной, бесхребетной, не затягиваемой в слова, думаю, уловила. Забавно («забавно» — чтобы снизить пафос, для тех же, кто не утратил способность удивляться, — однозначно «удивительно»), что, оказывается, существует вид медузы, над которой не властен привычный порядок жизненных циклов. Что там! — по большому счету ей плевать на время. Представьте себе, какова эта крохотная затейница: растет она, значит, растет себе — от нескольких миллиметров до чуть большего количества миллиметров, — а потом берет и впадает в детство! Нет, не сходит с ума — что там у нее с умом — отдельный вопрос, а обновляет состав своих клеточек и превращается в полип, с которого и начинала свою жизнь! Но и это не все: полип растет, превращается во взрослую особь, а потом — хлоп! — снова может стать полипом! И нет предела количеству подобных выкрутасов. Продолжительность жизни — неограниченная. Повторяйся себе без конца, обнуляйся, снова развивайся, размножайся, обновляйся...

<...>

Бабушка все больше лежала. В какой-то ничем не примечательный день она перебралась на диван, на котором раньше спала девочка, так что последней пришлось привыкать к новому месту — подалеже от кухни, поближе к входной двери, обитой серым войлоком, с неким уханьем припадающей к дверным косякам (казалось, что она захлопывается откуда-то сверху, словно крышка от шкатулки). Спала бабушка мало, но и завода, энергии за что-то взяться, без посторонней помощи довести до конца не хватало. А все же интерес к жизни в ней не угасал. Физически она сдавала, но дух продолжал неистовствовать, ему еще много чего хотелось успеть, он торопился, цеплялся за привычные земные заботы, начальственно подгонял всех окружающих. Чем

меньше пожилая женщина могла сама, тем сильнее проявлялись ее властность, нетерпимость, капризность. Вскоре она почти перестала вставать, не покидала свой неразобранный жесткий диван, который, наверное, был только раза в два младше ее (от него веяло советской безнадежностью, но основательности он не утратил; был неуместен, но бодр, тверд и непоколебим, всем своим видом он говорил, что на него можно положиться). Даже в жару она не расставалась с теплым халатом, лежала в платке, скрывающем черное серебро ее волос, в коричневых колготках в косичку и в теплых носках; сверху она укрывалась плотным ватным одеялом. И все равно она не могла согреться: ладони и ступни холодные, по телу гуляла мелкая мурашка. Голову и спину подпирали пышные, тяжелые подушки, набитые перебранным, высушенным на солнце гусиным пером, колющимся, распирающим цветастую наволочку. Пододеяльник, платок, халат — все тоже цветастое, в какой-то рубленый узорчик. Только сам диван был укрыт покрывалом в черно-коричневую клетку — такая себе протяженная шахматная доска, напоминающая о незамысловатом рисунке на коробках конфет «Птичье молоко». Изголовье дивана приходилось на заднюю стенку шкафа, разделявшего вместе с большой выбеленной печкой внутренность избы на две почти одинаковые по размеру части. Бабушке открывался вид в два окна: одно, сбоку, выходило на улицу, позволяло обозревать заасфальтированную дорогу, по которой кто-нибудь мог своевольно нагряться, вознамерившись провести старушку, по этому же серо-фиолетовому полотну, пробиваемому то там то сям нежной травкой, ромашкой или одуванчиком, возвращалась и скотина вечером (утром она уходила в другую сторону, огибала деревню по параллельной улице и выгонялась в луга, неглубокие леса, спускалась к водоемам), — в общем, неплохой наблюдательный пункт; другое же окошко немигающе, по-стражнически пялилось ровнехонько на заброшенный почерневший уткнувшийся себе под нос домик с заросшим садом. В этих теперь уже развалинах раньше жила одна учительница. Вроде бы русского языка и литературы, а может — татарского языка и литературы или башкирского языка и литературы. Сколько девочка ее помнила, эта учительница всегда была одинока, никто к ней не приезжал, очень мало кто навещал, сама она тоже редко куда выходила, хотя и затворницей не слыла. Никому бы и в голову не пришло так отозваться об учительнице, даже несмотря на то, что прошел уже не один десяток лет с ее последнего урока. Ворота ее дома редко когда обходила стороной почтальонка, оставляющая по себе легкий молочный шлейф с различимой ноткой навоза: соседка выписывала множество газет и журналов, которые с готовностью одалживала всякому интересующему. В памяти девочки пожилая учительница навсегда осталась такой: во-первых, пожилой; во-вторых, всегда с покрытой темным платком головой, темными же были и платья, в которые она облачалась, оттого казалось, что наряды не сменяются вовсе; поверх плотных платьев в любую погоду была накинута темно-серая безрукавка, отороченная искусственным мехом, пропахшая топленой баней; ноги обуты в неизменно блестящие черные калоши — при первом знакомстве этот нездешний блеск представлялся таким неуместным, на что-то зарывающимся, он отдавал безвкусицей, но в то же время чем-то потусторонним: кажется, этот предмет гардероба со всей своей глянцеvitостью и намеком на отражающую способность сгодился бы как атрибут каких-нибудь ночных гаданий. Вообще, еще при жизни учительницы ее дом и двор с густо поросшим зеленью, затененным деревьями садом, исполненные мрачности, дышащие бесприютностью, смотрелись неуместной темной заплаткой на цветастом полотне: он сидел так низехонько, что солнечным лучам не удавалось его как следует достать, осветить и прогреть; вальмовая крыша, напоминающая неровно надвинутую грибную шляпку, вдавливала дом еще глубже в землю; доски так почернели, что напоминали больше стены закоптевшей

с залепленными паутиной поверхностями и облюбованными квакушками нишами. Дом выглядел чахоточным больным, и казалось, не умеючи излечиться, он со слезящимися глазами постоянно извинялся за свое недомогание расклеившимся, жалостным видом. Свою лепту в довершение унылости картины вносило огромное ивовое дерево с широченным столбом, рассеченным надвое молнией, словно саблей, много лет назад; долгое время оно служило опорой колодезному журавлю. Бедное мое дерево — жизнь из тебя выскребли, внутри — да ведь это даже уже и не нутро твое! — ссохшаяся полость, чем-то роднящая тебя с надкушенным яблоком. Самого колодца давно уж нет. Каменный, обросший бурьяном, завешенный ланцетовидной листвой, издающий гулкие и глухие звуки из своего каменного нутра, он будоражил детское воображение и внушал мистический ужас. Особенно по вечерам: казалось, что в колодце водятся и водяной, и русалки, и даже сам Шурале там ночует и балагурит; мерещились жалобные стоны и зазывающие голоса, от которых нельзя было отделаться иначе как спрятав голову под подушку. А вообще-то — и там доставали. Какой для всех этих серенад и зазываний стоял антураж! — ночи темные, с отпоротыми до единой звездами, бляшку луны все заслоняют и заслоняют клоки черных туч — будто туда вознеслась и застряла какая непосчитанная нестриженная овечка.

Бабушка все лежала, но продолжала всех и все контролировать: «Корову подоили? Дали теленку сена? А воды?...», «Дров накололи? Почему все еще не подвязали смородину?», «Почему все еще не поехали за сеном? Вон, соседи уже везут... А картошка? — все уже потравили жуков, а вы чего ждете?», «Конфеты не трогайте, не открывайте, откроем, когда придет та или тот-то».

<...>

Интересно, куда устремлялась мысль старухи, что ей виделось и мерещилось, какими воспоминаниями пузырилась заводь ее памяти?.. Терзали ли ее сомнения и сожаления, мучилась ли чувством стыда и сознанием чего-то упущенного, проклинала ли себя за брошенные резкие слова или так и не произнесенные, запечатанные в сердце? Вот она повернута к тому окну, что сбоку, справа, но вряд ли глядит на привычные асфальтированную дорогу, канареечного цвета газовые трубы, колышущуюся зелень за соседскими заборами, соседский же домик, окна которого облеплены с внутренней стороны пожелтевшей газетой — чтобы укрыть цветы от палящего солнца. И точно: взгляд опущен и воткнул в спинку дивана. Думает ли она о том, что жизнь подвигается к завершению, о том, какой она останется в памяти детей, родных, соседей, о том, сколько много успела сделать, или, наоборот, — жизнь ее не утомила, показалась скоротечной? Мелькали ли перед ее глазами картины из детства? Вот она смотрит за цыплятами, чтобы тех не утащила какая-нибудь хищная птица; вот натаскивает в баню воду; вот играет с ребятишками, удит вместе с ними рыбу; вот что-нибудь пропалывает; угощается спелой ягодой с грядки (ох, какая мякоть — розовенькая, податливая); в детские сады и школы она не ходила, грамоте не выучилась, уже взрослую ее суженый научил ставить подпись — закорючку-крестик. Может, ее занимало одно световое пятно — знакомство с будущим супругом? Может, проводы его на войну? Или встреча после одержанной Победы? Где они впервые увиделись? Это было в клубе, на сенокосе, на Сабантуте? Точно, на Сабантуте! Детьми они друг друга не знали, жили в соседних деревнях. Романтикой не пахло ни в начале отношений, ни потом; все шло своим чередом под лозунгом «так принято»: прилепились друг к другу и жили, не душа в душу, никак нет, но без всяких «не сошлись характерами», трудились, растили детей. Наверняка из вереницы воспоминаний выпирали эпизоды рождения детей, особенно те преждевременные роды,

что случилось посреди поля, когда лошадь, взбешенная облепляющими ее слепнями (а может, чуяла чего), понесла и опрокинула телегу. То было в июне. Солнце висело где-то очень высоко, больно смотреть. Все кружилось, жужжало, колосья лоснились золотистой гривой. И где-то эту гриву мнут и взбивают в клоки перевернутая телега, натуга и первый крик, первый плач ребенка. Рубец на сердце, насечка в памяти, вокруг которых оборачиваться жизни, словно на вертеле, — но если бы так просто определялся центр жизни, если бы существовала одна ось, чтобы крениться, — нет, то лишь эпизод, лишь одна клавиша жизни, которая то будет выдавать чистую мелодию, то дергаться и дребезжать в какофонии, а то и вовсе западать.

<...>

Немало еще оставалось в загашниках Мнемозины, обшариваемых обращенным внутрь себя взглядом. Например, кажущийся бесконечным поход — в военные годы бабушке довелось возвращаться пешком из Екатеринбурга, тогда (да и поныне он так зовется легче: подчеркивается мужской характер города; с этим названием сочетаются домны, печи, тяжелое машиностроение, металлургия и танки) еще именуемого Свердловском. Сотни тружениц около двух недель шли под палящим солнцем, изнывая от жажды, под проливным дождем, обмокая до нитки липкой, несогревающей рвани, истапывая подошву единственной обуви; они шли впроголодь, ночевали под открытым небом, но их вело желание вернуться домой, и они сумели его исполнить — каждый сам для себя. Сотни тысяч женщин были направлены в Свердловск на добычу торфа на болотах. Бабушку, тогда еще совсем юную (ей не было и двадцати лет), не выезжавшую до того дальше своего района, «завербовали» (это русское слово она запомнила на всю жизнь), вырвали, как нежные полевые цветы, вместе с другими девчушками, увезли в незнакомые дали, поселили с чужими людьми в наскоро сколоченных тесных бараках. Девчонка тогда понятия не имела, что такое торф и зачем он нужен. Она так до конца этого и не узнала, никто не поведал ей о том, насколько важен был торф в те времена. Что велено, то и делали, чем менее нагружен ум, тем шустрее руки. Вчерашний ребенок до мозга костей проникся средой, в которой обитала скрытная порода. Неужели эта неодушевленная вещь была так необходима и дорога, чтобы девчонкам — из плоти и крови — по пятнадцать часов месить густое болото, стоять в его подгнившем зеве? Приходилось и копать каналы, и носить корзины с тяжелым сырым торфом. Девчушки с нежными руками представляли для земли грубыми повитухами, скребущимися в земляном нутре, вызывая ее схватки, но та не желала тужиться, без ярости сопротивлялась, заминала в свою память каждое резкое движение, с которым из нее вырывали куски, брикеты, корни растений, словно раздирали пуповину новорожденного дитяти, которого не думали рожать.

Да, торф не давался просто: топкая жижка волдырилась, только что пеной не исходила в припадке, будто цеплялась за свой перегной, своих «покойничков», абортированных детенышей; вся эта муть, дыша не страстью, но исходя ненавистью и враждебностью, сладострастно тискала, причмокивая, девичьи станы. Тухлая водица сначала медленно ползла вверх, змеей обвивала стройные и не очень ножки, облаченные в ватники, просачивалась внутрь резиновых сапог (удача, если их достало, а то обмотаешься портянками до самого колена и поверх натянешь лапоточки), превращая их в грузила, позволяя донному илу поухватистей держать в своем плену торфяницы, и так не собирающихся из него вырываться. Даже здесь, среди сплетничающей зелени всех ее оттенков, просвеченной солнцем или налитанной дождем, не было равенства: у кого-то начальство мягче попадалось, у кого-то — продуктов больше (уметь надо со снабженцами общий язык находить: и спишут, что надо, и припишут, куда надо, — комар

носа не подточит), кто-то начальствующий сам без бани не мог обходиться, так что и работницам чуть ли не два раза в неделю выпадал случай поскрестись и постираться, а то и просто распоряжался Его Величество Случай — пока один участок выкорчуют, с другого уж и норму торфа снимут. Пожалуй, упомянутым комарам была более-менее знакома справедливость: никого-то они не обделяли своими укусами, никем не брезговали, запускали свои хоботочки и под тонкую, нежную кожу, но шилом готовы были проткнуть и шкуру.

Что, бросить работу, найти другую, уйти в «саббатикал»? Чего-чего? Руководитель не умеет четко ставить задачи, сам не знает, чего хочет, тянет время, обесценивает, унижает, манипулирует? Детский лепет! Не было у торфяниц выбора — это их и спасало. Что будешь делать, если нет альтернативы? Соберешься в кулак, подпосяешься, сосредоточишь всю мысль на четкой, никуда не разбегающейся, не вихляющей цели — выработке. Сделаешь план, одолеешь постоянно растущую норму — будет и еда, будет и баня, будет и сон. А сколько времени так будет-то, когда настоящая жизнь начнется? Эта жизнь не «настоящая», что ли, выходит? Нет-нет, никто об этом не должен думать. Вот она — минута: стоишь переломившись пополам, истерзанными холодом, сморщившимися, почужевшими от сырости руками шариишь в земных гнойниках, чуя под заковчевшими ногами с ноющими суставами зыбкую, проседающую опору; поясницу не ломит — ей больно, когда распрямляешься; всюду — беспутная мошкара, нет-нет да затягиваемая носом и заглатываемая ртом, стрекозы, посверкивающие, как бензиновые пятна в лужах, полчища рыбьих глаз росынок, как будто наткнутых на реснички, щетиныющиеся во все стороны... надо лопату, не то вонзенную, как трезубец, в ненадежное дно, не то угодившую в теснину, не потерять. За этой минутой воспоследует множество таких же, а все-таки других: и мысль утечет, и пронесшиеся облака не попятятся, даже вода в стоячем болоте, взбаламученная человеческим присутствием, взбиваемая ветром, протараниваемая лягушками и тритонами, выдрами и бобрами, рыбами и насекомыми, переменится. А нам бы сложенные брикеты торфа, если б и довелось их узреть, напомнили плитки гематогена.

Представляешь это все и нечаянно задумываешься: если что-нибудь неодушевленное? Выходит ли из нашей неспособности понять, о чем думает лежащий на дороге камень, что он ни о чем не думает? Следует ли из того, что мы его не понимаем, что и он нас не понимает? Может, и нет никакой ненависти у материи по отношению к живому существу, к человеку, может, она находит в человеке инструмент, через которой может себя обозначить и выразить волю, обнаружить свои свойства?

Все неживое стремится, тянется к жизни, к животворящему импульсу, к своему воплощению. Даже дом живет до тех пор, пока в нем живут, или за ним присматривают, он дышит, он пульсирует, подстраиваясь под ритм сердцебиения; стоит его покинуть — он охладевает, сжимается, проседает и тускнеет. Какие-то подпорки и в нем пошатываются. Что ж, болоту негоже желать быть проявленным и запечатленным? Оно желает быть живым, человеческое присутствие пробуждает и в нем волю.

Болотный торф — спрессованная суть
прогнивших органических остатков⁵.

В самом ли деле не было у торфяниц выбора? Иные думали, что есть: убежали с торфяников, но их ловили и отправляли на принудительные работы — куда? — на те же торфяники! Не верится?! Не крепостными же крестьянками они, в самом деле, бы-

⁵ Владимир Годлевский. «Романс торфушкам».

ли! Не крепостными, но да ведь и не свободными же, не предоставленными сами себе, а в детстве пережившими раскулачивание, не понаслышке знающими, что такое репрессии.

А. К. А., 1883 г. р.
 Место рождения: дер. М.
 Образование: неграмотный.
 Профессия/место работы: колхозник.
 Партийность: б/п.
 Мера пресечения: арестован.
 Статья: 58, п. 10.
 Приговор: к лишению свободы на 5 лет.
 Дата реабилитации: ...ноября 1989 г.

Ст. 58, п. 10 Уголовного кодекса РСФСР: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву, ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений (ст. ст. 58-2—58-9), а равно распространение, изготовление или хранение литературы того же содержания влекут за собою лишение свободы не ниже шести месяцев».

<...>

Какие же, в самом деле, мысли лезли в голову старушке, ни одной книги не читавшей на своем веку? Язвительный, ядовитый вопрос, уколола? — разве что себя; ответ на него тоже не антидот, ну хоть прост: едва ли. Дело не в книжках, конечно, и не в образовании, я не настолько глупа, чтобы отсутствие последнего считать (или: «...я настолько глупа, что отсутствие последнего не считаю...») помехой воображению, знаниям, опыту. Ничто не обедняло их, не препятствовало установлению связей, отношений с какой бы то ни было материей. Жизнь, да что там! — слово проступало, проявлялось непосредственно, без помощи набора символов, как дождевые капли, как снежинки, спадающие с неба, — как природное явление. Ей не довелось быть автором своей жизни (кому-то будто довелось!), рок сгреб ее в охапку и нес, самое лучшее, что она смогла сделать, — не противиться ему. Все-таки смирение что-нибудь да значит: по крайней мере, не теряя времени на бесплодную борьбу, достигаешь максимальной глубины проживания. Если свобода и выбор и имели место в обступивших юное существо обстоятельствах, то приписать их следует скорее самим обстоятельствам, условиям, всему тому, что заключило девушку в тесные объятия. Скорее, наоборот. «Язык есть неразведенная форма материи». «...Вещь однозначна, как слово, и связана со словом как со своим явленным смыслом, и сама является словом в книге мироздания и в языке культуры»⁶. А что, быть может, у нее (у моей бабушки, а много лет тому назад — девчухи) форма материи была не менее неразведненной, быть может, ей под силу было заставить кипеть и бурлить целое болото! Почему нет? — она же совсем непроста, моя бабушка: она — совсем чуть-чуть — знахарка. В моих детских доверчивых глазах она была самой настоящей колдуньей, Бабой Ягой, какой-нибудь каргой, ну, или хотя бы их товаркой. А что? Печь есть, вьюшка при ней, да еще и кот черный трется, тут же ступа деревянная, высокая, метла, само собой, во дворе, такая, с норовом — из длинных жестких прутьев. Неплохой антураж, не правда ли? Но и это не все: кое-что впечатляло и баламутило детское воображение

⁶ Татьяна Касаткина. «Священное в повседневном: двусоставный образ в произведениях Ф. М. Достоевского».

и поболее — то была простая прялка. Простая деревянная ручная прялка — та, что без всяких колесиков, состоящая всего-то из нескольких элементов: донца — опоры, сидушки прядильщицы; так называемой «ножки»-стебелечка и самой большой части, на которой закреплялась пряжа, — лопасти. Ничего из этого в моем детстве не имело обозначения; я точно видела предмет, правда, не умела его назвать по частям, но умела чувствовать щекочущими волнами исходящие от него, — напоминающего мне древнюю фигурку идола (с пряжей его образ получался особенно внушительным и злоеющим) или старинную ладью, или ладью с фигурной идола, — первобытную, концентрированную энергию, заряженность, магическое свечение. Много ли надо детскому воображению, чтобы разглядеть в дереве щербатую личину! Бабушка усаживалась на донце, чем-то привязывала (или насаживала? Орган зрения вихляет в памяти) кудель (то была овечья шерсть — чем не сгусток материи?) на лопасть, брала веретено одной иссохшей рукой — до сих пор на ум приходит сходство с куриной лапкой, а другой потихоньку начинала вытягивать волоконец из бесформенного, тучеобразного клона, закручивать в тугую нить, шустро-шустро наматывающуюся на веретенце. Разве это обыкновенно? Как что-то несплошное, прерывистое, спутанное, соединенное с теплом человеческих рук, под его повторяющимися вращательными движениями становилось податливым, непрерывным и прочным? Виток за витком вьется нить, виток за витком наматывается она на веретено. Отдельные, отщепленные волокна соединяются, звено за звеном, и образуют цельность. Эта нить еще возьмет свое: однажды обьяв тело, замкнув его в свой круг, так просто она не оставит человека. Девочка, словно замороженная, глядела на этот процесс, желая, чтобы он длился подольше. Из этой пряжи вязали варежки, шапки, шарфы, теплые носки, но свое место в сундуке воспоминаний суждено было занять только носкам — участникам настоящего обряда, свершавшегося над девочкой. Она часто страдала расстройством пищеварения, особенно после длинной дороги (четверо суток в поезде), в которой практически ничего не ела, — непременно укачивало, и это скверное состояние иногда проходило практически сразу, а иногда держалось с неделю, доходило и до месяца (треть лета облезлому коту под хвост). И вот тогда-то за нее принималась Знахарка, Колдунья, Ведунья — любое именование годится. Ребенку был доступен лишь один мотив приобщения (конечно, бескорыстного) ее к таинственному миру: желание облегчить страдания ближнего. Она понимала, что необязательно человека любить, чтобы хотеть ему помочь, а все же теплые чувства приливали к горлу, размягчали интонацию и расшевеливали сомнение: вдруг не так уж и противна, вдруг дорога, хотя бы как привычная «своя» вещь, которую было бы жалко потерять? Что же до вещей обрядовых, до атрибутики, то всего-то и было их: теплые вязаные носки и большой кухонный нож с деревянной рукоятью. Неужто все так серьезно, что нужно вспороть живот (представила ровный круг, по краям которого проступают и без промедления расползаются алые лучи; а пришивать снятую «крышку» — представился «зур бэлиш»⁷, интересно, будут шерстяными нитками?.. для того, наверное, и носки — распустят их, вденут в иглку с большим ушком... кстати, где иглка?) и что-то там внутри перетасовать, подправить, подкрутить? По правде сказать, хоть и обитало во мне (ну, то есть в девочке, конечно, я-то хоть она, да только много лет спустя) любопытство вопиющих размеров, в этой ситуации пасовало — чуяло, насколько оно бесполезно без хозяйского живота. Несмотря на это, не доверяя, но во что-то веря, я повиновалась чужой воле. Некоторые не одарены, но навьючены терпением и покорностью сверх меры. По крайней мере, в определенный период своего существования. Нет, сразу заявляю: никаких жертв, если не считать той, что, возможно, была прине-

⁷ С тат.: большой крытый пирог.

сена в виде остриженной овцы, из шерсти которой были связаны носки. Заговариваемой, то бишь мне, нужно было лечь на спину, на живот бабушка клала теплые носки и начинала совершать над ними круговые движения ножом, что-то при этом начитывая, приговаривая вполголоса. Эх, прикрыть бы глаза, дать простор разгуляться ощущениям под черными ширмами век; сначала темный диск накатился бы на огненный шар, варящийся в раскаленном котле мироздания, вспышка заняла бы пару мгновений; дальше поползли бы всякие фигурки — соединения мельчайших частичек (тогда я воображала, что так выглядят атомы, если это и не есть сами атомы; на мысль об этом наталкивала их прозрачность и неуловимость), своим своеволием напоминающие тетрамино. Слабое неосознанное усилие изъять сознание из пространства, скосыгнуть его, как вещь, за которой ничего нет, из себя, в котором тоже ничего бы не было, — усилие, которое не было сделано. Я присутствовала, я точно присутствовала, смотрела выпученными глазами; не было страшно, но и не было понятно, что чувствовать, как реагировать. Все длилось минуты три от силы, но мне казалось, что время топчется на месте, процесс не захватывал, думалось: побыстрее бы все закончилось. Ни единого слова не помню из этих наговоров, не помню, слышала ли я их, разбирала ли тогда, когда смотрела на устрашающее лезвие ножа, но четко отпечатлелось, что я верила в силу того, что происходило, что что-то вообще происходило, что несколько предметов, заговоренных человеком, имеют влияние на другого человека, сотворяют с ним что-то умом не постижимое. А в словах вышло слишком уж что-то прозаично и сумбурно. И просто сомнительно. Меж тем носки были свежесвязанные, еще не стиранные, так что чувствовалась маслянистость нити и чуялся запах ланолина, искаженный контактом с человеком. Еще деталь: от бабушки пахло молоком с тоненькой, еле различимой ноткой навоза, потому что на голову был повязан тот же платок, в котором она доила коров в сарае. Лезвие ножа не серебрилось под лучами солнца, не превращалось само в их лазерное продолжение, скорее, оно попадало в тон коричневатой шерсти. Мнилось что-то медное, коррозионное: будто если бы ножу пришлось резать, он бы небрежно рвал кожу, словно консервную банку, оставляя прожеванные края. Ну, так и помогал ли обряд, приносил ли эффект? Вряд ли. Но я очень верила. И в первый раз, и в последующие. Верила вопреки, верила, находя опору в подгоняемом выздоровлении. Да и тошнота через какое-то время все же отпускала, возвращалась радость вкуса, изгонялся металлический привкус во рту. Кто его знает, случилось бы это, если бы не заклинания, а вдруг это произошло бы позже? Даже если это был эффект плацебо, его еще надо было спровоцировать.

Однозначно, не язык пролегал водоразделом между нами, так и не ставшими родными друг другу, не он нас разъединял, я бы даже решилась предположить, что он — та плоскость, которая пересекала оба мира: мой и бабушкин. На трехмерность и тем более многомерность там, конечно, ни намек, но кое-что было. Поясню: татарский язык мне доступен не намного больше (если не меньше), чем моей одряхлевшей (этим словом выражается не отношение к возрасту, а отношение ее души ко мне) родственнице, — мы обе не умели на нем писать, что не мешало нам, не подозревающим, что говорим мы не на чистом языке, а на каком-то его ломаном диалекте, думать на нем и изъясняться устно. Тут уместно рассказать про приключившийся со мной случай. Однажды в связи с переездом (я училась в третьем классе) мне довелось без подготовки писать диктант на башкирском языке — очень близком, братском языку татарскому, но все же другом языке, даже алфавит которого я раньше не видела. Бог его знает, о чем был текст, — этого я так и не узнала, но он был напичкан двумя словами: «Өтөр» и «Нөктә». Эти слова я раньше не слышала, зато с молодых ногтей нахваталась обрывков башкирского эпоса: знала о легендарном Салавате Юлаеве и Урал-батыре (следу-

ет обнаружить свое невежество полнее: их обоих я считала историческими фигурами из плоти и крови, выходцами из башкирских земель). Так вот, за неимением возможности долго раздумывать, кто же эти такие Өтөр и Нөктә, я решила: почему бы и им не быть выдающимися героями эпоса: Өтөр — еще один достойнейший батыр, быть может, брат Урала, а Нөктә — суженая Өтөр (например, сестра Урал-батыра), которую он бесстрашно вызволял из всяких злоключений. Признаться, текст все равно не вязался, вложенный в него автором смысл, заклеенный, как старые обои, моими домыслами, совсем не просвечивал. Где начинается предложение, где заканчивается — через десяток кое-как накарябанных слов стало ясно, насколько для меня это бесполезное занятие — пытаться понять, но все же, как проигравший, но не сдавшийся спортсмен, я продолжала испещрять тетрадные листы набором непривычных знаков, заботясь — из уважения к ним — чтобы их было побольше, выводя из как можно старательней, со всеми черточками и завитушками. Знаки препинания я ставила наобум: цветок запятой, точка солнца; мне казалось, что они вообще нигде не нужны: текут себе слова, как река, нечего чинить им преграды. Я, конечно, догадывалась, что тем еще истязаниям подвергла авторский текст, но главными средствами своих попыток полагала безграмотность и плохой слух. Каково же было мое изумление, когда уже дома выяснила, порасспрашивав, кто такие эти вездесущие Өтөр и Нөктә: я не прогадала лишь в том, что между ними иногда следовало заключать союз: Өтөр — запятая, Нөктә — точка. В общем, с точки зрения текста я не смогла бы высмеять и растерзать его лучше, если бы даже имела такое осознанное намерение. Оказалось, что спасти-то, высвободить из снастей со всевозможными закорючками, петлеобразными хвостами надобно было меня (и речь не о влеченном преподавателем без улыбки и разъяснений тройбане; я осталась в недоумении: почему же эту злопахующую оценку «удовлетворительно» — очень воздушную, кружевную, ибо объявленную устно (впрочем, позже она материализовалась в классном журнале и в моем дневнике), мне вручили с такой серьезностью, с какой ослику Иа дарили лопнувший шарик, — не то объяснение искать в проявлении неуместной деликатности, не то действительно моя работа показалась настолько грустной... хоть бы листочки с текстом на память вернули). Только посмотрите на эти буквы: F f — такая «г», как будто приблатненная, фартовая, звучит как «гы» с золотой цепью на бычьей шее, а с виду так сразу и не разберешь: не то что-то фыркающее, не то что-то весьма чтимое, развевающееся флагом, наворачивающее слезы патриотизма на глаза; 3 3 и Ç ç напоминали мне о почтенных муфтиях и имамах, так что, припав к листу бумаги, я старательно вырисовывала их «бородки», но, боюсь, некоторые из них осерчали на меня — не всех одарила признанием, да и «бородки» у иных спутались. Ну, какую дальше взять?.. может, Ө ө — она замечательно смотрится в названии города Уфы на башкирском языке, взгляните: Өфө — по-моему, прелестно; разве не различить в этом сочетании витражи, окна? А если отвести взгляд и снова им скользнуть по выпуклостям, не привидится ли мудрая совунья? Почему бы и нет? — не хуже народной версии о трех шурупах. Еще вариант: если букву «ф» сверху и снизу подрезать, а оставшийся от нее эмбрион подсобрать, сделать неделящимся (та же «ө», только с вертикалью), но более округлым, добавить крутизны соседним «ө», то выйдут солнца с горизонтом; можно еще подкрутить, поднакренить ось под разный градус — получится солнца небесный ход; прямо-таки романтично. Возьмем еще одну букву и, пожалуй, остановимся. Это будет кряжистая (так звучит лучше, хотя по смыслу вернее было бы «коряговая») буква, которую я так и не научилась произносить. Это буква, которая есть в слове «вакыт» (кстати, по-татарски это же слово пишется «вакыт»), переводится как «время», «карағай» — «сосна»,

«куяш» (для сравнения: на татарском: «кояш») — «солнце» и «һазлык» (по-татарски: «сазлык») — «болото». Даже выделенное преподавателем специально для меня время («ваккыт», «ваккыт») под мои множественные упражнения в выговаривании этой буквы и слов с ней: стоишь у доски, повторяешь, повторяешь, тужишься — не исправили дефект: не тот звук, слишком мягко, все не то. Моя безнадежность меня и выручила — не добившись от меня толку, на меня махнули рукой и, не глядя, сделали освободительный жест: мол, шествуйте к своей парте, присаживайтесь, что с вас еще взять. А с меня и действительно нечего было взять.

Не оттого, что мое произношение оставляло желать лучшего (хотя и не без этого; и на татарском тоже, но поняла я это позднее), возможностью изъясняться устно с бабушкой я изо всех сил пренебрегала. Не клеился между нами полноценный диалог. Никакой не клеился. Вроде и слова одни и те же использовали, и коверкали их на сходный манер, а не понимали друг друга. Хотя мне мнилось, что я слишком понимаю, несмотря на свой юный возраст. Этот же возраст позволял не считаться со мной и в моем присутствии говорить такие вещи, которые заставили меня завести склянку обид; капля за каплей, словно яд, сцеживала, копила я в этот воображаемый сосуд вытяжку жалящих слов. Но перечить я не решалась, упорно молчала, скрипя зубами, чувствуя, что внутри меня что-то сжимается, уплотняется, каменеет.

<...>

Что-то надвременное есть в деревне. Сама топография к тому располагает: низость построек, отсутствие укрытий, открытость, обнаженность, некая воздушная сферичность подворий — необъятный оком, все враспашку, было устроено так, чтобы время раскатывалось, распластывалось без оглядки, без страха быть помятым и свернутым, зажеванным. День выходил длинный, а день ребенка и вовсе оказывался нескончаемым. Особенно если он ничем не наполнялся, кроме скуки, тревоги и желания поскорее вырваться из плена тягучей, как патока, реальности. Ребенок еще не знал, что этого ощущения не нужно бежать, к нему стоит привыкать, ковыряться в нем, приналаживаясь, подгоняя под себе, устраивая себя в нем как можно удобнее.

Можно было тосковать, пребывая в бесконечности, а можно было — будучи изгнанным ею, опрокинутым из ее колыбели. В этом вопросе можно воспользоваться редким правом выбора. Исход один — тоска, так что принюхивайся, присматривайся и ищи в этом смысл. Начать искать никогда не поздно, а пока можно было и пожить.

Скука, если с доверием дать заключить себя в ее объятия, вовсе не так уж страшна: с ней можно шептаться, вместе сочинять всякие истории, грезить ими, не позволяя даже чехлам — словам коснуться едва проступивших в заговоре картинок против времени. Скука нетребовательна — проводи с ней время, большего она не просит. Вообще-то, время тоже не выступало против, скука давала ему чувствовать самого себя чистым, самодостаточным, неизмеряемым. Скука многое понимала и прощала, ничего требовала, никаких результатов, никаких плодов. Щедрая, рыхлая, невзыскательная, ничего не обещающая, ею можно было не на шутку увлечься. Так что, когда то одно обстоятельство, то другое начинало вырывать из ее не таких уж цепких лап, становилось беспокойно и горько. Скука позволяла играть, не торопила, а все остальное чего-то ждало, куда-то бестолково подгоняло, руководствуясь правилами, нормами и прочими выдумками. В этот день девочку у скуки умыкнули, что ж я о ней вспомнила-то? Наверное, оттого, что она была слишком верной спутницей. И то сказать — кого она еще одолеет в деревне?

<...>

* * *

Не хочу быть похожей на нее. Честнее так: боюсь стать похожей на нее. А какая она? Вот она есть, маячит перед глазами. Хватай, изучай. Много лет смотрела на нее. Смотрела с широко раскрытыми глазами и слушала, ловила каждое ее слово, вылетавшее из рыхлого рта. Она его приоткрывала, когда в ней зарождалось желание сказать что-то прежде, чем другой завершит свою мысль. Тогда я могла видеть ее маленький язык, похожий на ворочающегося слизняка, и она казалась мне разевающей клюв птичкой — так и представляла, как в него попадает грязно-розовый кольчатый червячок. Я не помню, чтобы видела ее за тяжелой работой (сенокос, заготовка дров, чистка сарая за скотиной, например), веер впечатлений рассыпается такими образами: согбенная у печи бабушка с ухватом в руках; бабушка, выкапывающая картошку (готовила она ее «в мундире», без соли); бабушка, собирающая ягоды; бабушка, затапливающая баню; бабушка, сидящая на пенечке опершись одной рукой на клюку, командующая, раздающая скрипучим голосом, в капризе и нетерпении утончающимся и возносящимся куда-то вверх, неукоснительные к выполнению распоряжения по хозяйству. Сейчас только понимаю, что запомнившаяся мне бабушка почти всегда пожинала плоды; не помню, чтобы она что-то сеяла, высаживала, за чем-нибудь ухаживала. Ей всегда доставалось ужасно много внимания. Я же, хоть и не желала быть замеченной, этому вниманию завидовала. Кажется, забились бы в какой-нибудь погреб, ничего не говорила и не делала, а только слушала, но чтобы при этом никто не забыл о моем существовании.

Маленькая, щедрая, старушка не занимала много места, но то место, которое занимала, било меня током. Энергия не лилась через край, зажатая, спрессованная, она держалась в шаровой молнии размером с кулачок, бешено бьющейся во впалой груди. Может оттого, что внутри ее было так горячо, снаружи эта маленькая женщина была обтянута кожей, сильно напоминающей кожу прокопченной утки.

Нет, мне не разгадать, что за огонь в ней горел, что подвигало ее торопиться жить. Что она ценила, к какой конечной точке стремилась? Она постоянно о чем-то тревожилась, куда-то всех гнала, от одного дела к другому, от одной пресловутой пользы к другой. Но момент устроенности, довольства никак не наступал. Всего было мало, мало и не могло быть много. Ловлю себя на мысли: а у меня, что ли, наступает? Вечно недовольная, вечно угрюмая. Не она — я. Будь наготове — опечалюсь раньше, чем тебя опечалят. Какая же ты, какая, моя седовласая старушка? Властная, своевольная, сильная, бесстрашная или позабыв о своем мнении лебезящая перед начальством? Не «или», а «и». Я видела тебя и такой, и такой. Я не перестала тебя бояться даже после того, как уличила тебя в твоём страхе и узнала, что ты умеешь быть кроткой. Небесстрастный деревянный идол превратился в обугленное полено. Нет, мне тебя не постичь. А ведь часть тебя не дотлела, она теплится во мне на тоненьком фитильке, который я бы с удовольствием выдрала из себя, как воткнутый катетер, но, кажется, кончик его как влитой устроился в устье моей вены. Жжется. Впрочем, снаружи я еще бледна, обожжена только морозом.

Я смотрю на нее и представляю себя. Растягиваю между мной и ею рвущейся жвачкой полоску времени и понимаю: между нами нет пропасти, так, короткий шаткий мостик, и я уже не в начале пути. Конечно, я замечаю детали: тот же примерно рост, та же сжатая челюсть, нервозность и напряженность, неумность и бессилие, решительность и трусость. Я отражаюсь в этой старушке, мое будущее сквозит из нее, из ее пронафталиненного, рахитического шкафа, за десятки лет не обросшего ни тряпка-

ми, ни памятными вещами, ни хотя бы какой-нибудь макулатурой. Две-три нитки бус линялого цвета (что-то мутно-прозрачное и истерто-коричневое), зеленые четки — дисбе, свешивавшиеся с тонкой белой перекладинки на дверце, цветные и белые платки, придавленными узниками томящиеся на полках, — вот и все его нутряные достопримечательности; и то позже перестанет быть моим достоянием, окажется будто бы вылуценным из и так переполненной (но не раздутой) пустотой полости. Хотя бы моль вылетела, что ли, — какой-никакой признак жизни. А надо ли, нужен ли признак жизни там, где ее нет? Может, чем меньше мусора после себя оставишь, тем лучше? Вряд ли, конечно, *там* стыдиться придется (хотя почему бы и нет: попробуй выдумать более изощренную издевку над человеком — глумиться над его сознанием и памятью, лишенными тела и дела, — наконец-то они поймут, насколько не в силах что-либо изменить) оставленных по себе следов: все тайное станет слишком явным, если только об этом не заботиться на регулярной основе, не забывая о том, что в любой момент может стать слишком поздно. Мешок с костями производит безобразно много отходов, но только он может за собой убрать так, чтобы не вызвать чужого отвращения и презрения. Да разве ж старость — непереносимое условие, чтобы их сносить? Нет, она вовсе не нужна, чтобы потерять зубы в схватке с асфальтом, взрастить в себе опухоль, рухнуть в парке с гипертоническим кризом, да и просто свихнуться с ума. Не стоит недооценивать человека — это под силу любому, нет отметки, возраста, который нужно достичь. Мудрость на то не треба, тело подстраивается под одряхлевшую душу (не от мудрости же она дряхлеет?).

* * *

Все то же лето, жаркое, шальное, страстное, упивающееся самим собой. Было б море, пришлось бы в пору раскаленный песок и танго. Море заменяло искусственное озеро, песок — грязь. Бабушка и внучка в доме вдвоем. Ничего не происходит. Бабушка легла на диван, втиснулась в свой угол. Девочка сидит за перегородкой — массивным шкафом цвета вареной сгущенки, что-то бормочущим и бречащим своими дверцами с резными ручками при ходьбе домочадцев, — и читала книгу «Новые приключения Незнайки (Карлуши): Снова на Луне» Бориса Карлова. В девочкиной стороне дома на две смежные стены приходилось три высоких, завешенных тонкими тюлем и шторами окна, через которые солнце запускало свои щупальца, вынужденные, считаясь с неизбежной плотностью предметов, огибать их, принимать различные формы, часто — геометрические: там и сям на деревянном полу, на столе, на тумбочке лежат опрокинутые кружевные (прорвавшиеся сквозь ажурный тюль) прямоугольники и полосы, то раздвигающиеся, то стягивающиеся, словно ширмочки; казалось, тень, борющаяся с солнцем, сжирала, обгладывала его всепроницающие конечности.

В приоткрытое в другой части дома окошко слышалось заговорщическое перешептывание листвы и сорочье стрекотание. Где-то вдали, но ощутимо — дом вздрогнул, — громыхнул гром, пару раз в небе вздулись и сверкнули вены, как бы от неуютного усилия чьей-то тут же нырнувшей в ватный карман руки. Неуютного и неуместного — солнце не собиралось сдавать позиции, никуда не скрывалось и ни о чем не беспокоилось. Зато мухи и пчелы нервничали, боялись куда-то не поспеть, метались туда-сюда, время от времени врезаясь в оконные стекла; у них не было шанса влететь в приоткрытое окошко: на нем стояла сетка. Без конца заунывно мычала не выпущенная на пастбище корова. Все будто бы подбиралось, сосредотачивалось, к чему-то готовилось. Намечался шабаш.

Вдруг ветер рванул форточку, но, распахнув ее настежь, обратно захлопнул. Внешние звуки притупились, деревья, птицы, трава, люди — все-все, будто бы схватившись за руки в невидимом хороводе, отодвинулось, сделало несколько шагов от дома, чтобы не обжечься, но не отворотилось от него, наоборот, устало.

Рядом с девочкой свершалось таинство. Но она еще не была в силах его понять и постичь. Где-то что-то натянулось до последнего предела. Все смолкло. Задребезжала тишина. Скоро ливанет, солнце тому не помеха.

Девочка отложила книгу, бесшумно встала и без единого скрипа прошла в ту часть дома, в которой лежала бабушка. Бабушкины глаза были открыты, девочка, следуя за их неподвижным взглядом, наткнулась на окно, выходящее на учительский заброшенный дом с садом. Через редкие покосившиеся и истончившиеся доски просвечивали небо, зелень, чернота останков догнивающих построек. Разруха, развалина заглядывали, всматривались своими опустевшими, бездонными глазами в дом, в котором стояла девочка, в саму девочку. До нее дошло значение нашедшего на все оцепенения, неподвижности и собственной оглушенности.

Не появилось ощущение отсутствия, но исчезло ощущение присутствия.

Прялка, веретено, ступа — все замерло, будто бы сжалось, словно беззубый рот покинувшей нас бабушки. Но ненадолго. Очень скоро они расправились, словно бы опорожнившись от чего-то ненужного. Вещи словно бы освободились из-под гнета, словно стали принадлежать сами себе. Оказывается, вещи умеют жить настоящим — неужели им невдомек, что владельцы могут сменять друг друга?

Ощущение присутствия еще вернется, еще покажется, что покойник живет всех живых. Не потому ли это, что дух, разъединившись с телом, сбросив с себя, будто паук свой экзувий, ощутив настоящую свободу, становится более проявленной, осязаемой. Наверное, поэтому в деревне родственников ушедшего не оставляют одних на ночь с телом: чтобы испущенный им дух не свел домочадцев с ума своими проказами, хотя бы стеснившись посторонними.

Скоро тело омоют, понесут по улицам на деревянных носилках к кладбищу. Сздади будет плестись вереница машин, посверкивая на солнце стеклами и выключенными фарами. Все якобы неодушевленное вдруг спохватится, обретет голос, набухнет, уплотнится: даже машина подчинится, будет скорбеть вместе с человеком по человеку. Траурная процессия не будет длинной, но в памяти ребенка она станет бесконечной.

* * *

О чем думает букашка, муравей, божья коровка, взбирающиеся по стеблям, просвечиваемым солнечными лучами, крот, пчела? Годы прошли, все приблизилось, перестало быть помехой, теперь это вызывало не досаду, но нежное любопытство, теперь на всем хотелось сосредоточить взгляд, обласкать им каждую деталь, проникнуть в ее суть. Ничего не хотелось ловить, нарушать баланс. В первую очередь думалось о пыльце, которую можно стереть с крыльев бабочки, если даже слегка ее коснуться; о хвосте ящерицы, который может быть сброшен, если за него схватиться; о ежатах, которые могут не дожидаться матери, если ее запереть в дровальнике, хотя бы и пытаясь задобрить плоской молока и яблочными очистками. Все вокруг обрело значение. Значение, которого и не теряло. Вот камень. Впрочем, к нему-то как раз я когда-то проявляла куда больший интерес, чем сейчас. Сейчас во мне не возникает зудящего желания поднять его, перевернуть, обследовать вдоль и поперек, он вполне устраивает меня покоящимся, неподвижным, его испод осмотрен и изучен много лет

тому назад. Теперь мне приятней иметь дело не с конкретным камнем, царапающим мои руки, изумляющим омерзительным копошением мясистых червей под собой, но с отвлеченным, абстрактным камнем вообще, с его понятием, хотя и оно скатывается с мыслимой горы, сколько его ни вкатывай. Материальный камень ничего не потерял, если не наоборот — я его не норовила беспокоить внезапным вторжением в продавленные им пределы. Хотя, конечно, обращаясь к другим камням, я ворожала все тот же, свой, белый, с коричневыми прожилками, плоский, с тонкими острыми краями, не раз окропленный моей кровью. Камень, заслоняющий от моего взгляда неприглядность жизни. Камень — хранитель тайны, камень — первый учитель, урокам которого я брезгливо отказывалась внимать, но которые, проверяя свою чувствительность, я продолжала с упорством повторять. Достаточно скovyрнуть этот камень, чтобы обнажилась сущность жизни (или смерти?). Интересно, что чувствует при этом камень? Хочет ли он быть сдвинутым с места, досаждают ли ему подбрюшное шевеление, каково ему быть вечной насадкой множащегося безобразия?

У каждого есть свой камень. И свое значение камня. И свое действие, которое нужно с ним произвести. Я свой нашла в раннем детстве. Вот он, лежит недвижим. Не могу определиться, что к нему чувствовать (будто камню что-то нужно, кроме равнодушия). То ли жалость (он чем-то напоминает паралитика), то ли восхищенное благоговение к мудрецу. Неужели ему не скучно? Камень глядел на меня, словно моя могильная плита, он изъяснялся на понятном мне языке, но я затыкала уши — глупое усилие, ведь он был беззвучен, я закрывала глаза — он проступал в моем воображении, не тонущий вопреки своим земным свойствам, сколько бы я ни загоняла в толщи воображаемых вод; он не тонул — тонула я.

Камень говорит со мной беспрерывно, это я его не хочу слышать.

«Все вокруг было одинаковое. Повсюду был камень. Он был нагл и торжествующ. С детства я так привык к нагромождению литературы и истории вокруг, что перестал их замечать. Все, кроме давящего камня»⁸.

* * *

Я — та, которая безработная, та, которая пытается присвоить себе чью-то историю, вернулась из деревни в город. Задыхаюсь. Мечусь по квартире. Подхватила в дороге какой-то вирус, в голове пульсирует боль. Сначала она сидела в одной стороне — справа, в лобной доле, потом растекалась на висок, после волной начинала бултыхаться и у затылка. «Головная боль, должно быть, следствие интоксикации организма продуктами жизнедеятельности вирусов. Да вирус ли это? Глаза жжет, и слезятся они, сложно разомкнуть. Уж не появилась ли светобоязнь? Свет выключен, темно, не буду проверять, дотягиваться больно. Тошнит. Только не шевелиться, замереть, застыть, окаменеть. Ох, голова... трещит так, будто в нее вселились гром и молния. Не менингит же, а?» («Росхальде», Герман Гессе. «Страшная книга»). «Сейчас бы персик съесть. Воображаемый, очень нежный, похожий на кожу женского лица с бесцветным волосатым пушком — очень-очень коротким, очень-очень мягким. Настоящий не нужно, от настоящего меня вывернет наизнанку. Отчего в такие моменты я всегда хочу персиков?» Без конца закладывало нос, ворочаться становилось невозможно — сносно было лежать только на левом боку. Нет-нет начиналось головокружение, да, так прямо, лежа, с сомкнутыми веками вдруг все пускалось в пляс. Кто-то подхватил и закинул меня в каюту, лодку, шконку, барахтающуюся в волнах. Все черным-черно. Изнутри, где-то в груди и у горла бьется волна, она так и норовит вы-

⁸ Павел Мейлахс. «Лунный камень».

плеснуться из меня, суля мне не освобождение, но расплату еще более острой болью. Задумываюсь о том, способна ли вызвать себе «скорую». Пожалуй, пока могу.

Почему никто не заботится о смерти? Но все оказывается готово, никаких обсуждений подробностей: ни цен, ни порядка. Все будто бы было продумано и измерено заранее. Можно ли о ней думать так, чтобы она не думала о тебе?

А может, ну его, действительно, хватит с меня? Может, вот она, вся польза, которую можно было из меня извлечь («извлечь корень квадратный из...» — где ж мой корень, отчего он хотя бы и не прямоугольный?), настала пора становиться перегибом? Вполне утешительная, кстати, мысль была бы, если бы ее не обвивала мысль безобразная — о деньгах. Мало было о деньгах, снова они? Но помилуйте, без них и в прах-то должным образом не обратиться. Каким еще таким «должным образом»? И тут «долг»?..

Мне стыдно объяснять, стыдно писать. Интересно, писала бы я, если бы кто-нибудь понимал меня без слов? И со словами-то не понимают. Назвала — отняла, отсекала ракурсы, лишила буйства красок, неопределенности, убила зародыши невоплощенности, упростила и уплощила. Слово, полновесное, болтается передо мной, как набухшая почка, лопается и брызжет жизнью, а я не беру его, я вихляю и мечусь, срываю незрелые и пожухшие плоды. Вот вам (кому — «вам»?), морщьтесь, жуйте, вот вам одна точка зрения — подслеповатого пристрастного рассказчика, обратившего многообразие в карикатуру, в неподвижную чеканку, подложившего бумажную куклу вместо полнокровного человека. Вдохнули бы мы жизнь, наполнили бы скукожившиеся легкие чудодейственным воздухом, если бы «вы» вдруг были?.. Но «вас» нет — и я, мягкотелая, втягиваюсь в свою ракушку: ладно, писать — куда ни шло, но разъединяться с написанным — это даже не продавать душу дьяволу, а просто уступать ее за бесценок. Нате, возьмите, потопчитесь там, оботрите ноги, если будет угодно, с меня не убудет.

* * *

О чем она думает теперь, лежа там, совсем одна, в сырости, в холоде? Какая она — земля? Представился холмик взрыхленной, напоминающей зернистый творог, чистой, протертой земли, потихоньку облюбовываемой муравьями, выгребенной наружу кротовыми ковшиками, — там земля не такая. Там она тяжелая, комковатая, червивая, липкая и прожорливая. Земля — ночь, земля, отъединяющая от земли.

Совсем недавно, уже годы спустя после ухода бабушки, я узнала, что она оставила в память о себе небольшое стихотворение на татарском языке. В память о себе — в наследство мне. Какое стихотворение, о чем оно, чем звучит и какое на вкус, дождь в нем или ветер, свобода или гнет, пустота или изобилие... жизнь или смерть, — мне неизвестно. Я только слышала о том, что это стихотворение существует, что записано оно под диктовку на каком-то клочке бумаги, обретающемся среди тетрадок и других листочков, изрисованных и испещренных каракулями, в некоем шкафу некой квартиры. Несколько сцепившихся слов, колючих, как ветви шиповника, спутавшихся, корявых, в промежутках слов — небеса в крученых нитях проводов. Тебя так много в моем мире, была ли я в твоём хоть чем-то? Что ты заключила в единственные твои строчки: сожаление, скорбь, смирение, благодарность, роптание, проклятие?.. Что оставила ты мне, чем искупишь свое равнодушие, пренебрежение, чем смягчишь дарованный мне жесткий взгляд? Я подскажу — будто оставленные тобой слова могут измениться, покуда не настигнут меня: на то сгодится жесткое слово — посмертное жесткое слово — я бы оперлась на него, как на костыль, а лучше сваей вбила его в ходуную ходящую, сотрясающуюся в ложных схватках, проседающую почву. Чтобы

не провалиться, удержаться на этой зыбкой поверхности, мне нужна вечная мерзлота — истребую ее у тебя! Нет, не хочешь? Жалко на меня хоть чего-нибудь, даже того, чего тебе не надо? Тогда, быть может, призовешь меня и окутаешь своим ледяным дыханием? Невыносимо чувствовать, хоча заledenеть.

Ты все еще меня не любишь? Я тебя — тоже. Ты — причина, основание моей боли, хоть сама настоящей боли мне никогда и не причиняла. Тот, кого не любишь, не способен причинить боль.

Я ни разу не принесла цветы на твою могилу. Ни ромашек, ни колокольчиков, ни одуванчиков, ни крапивы. Не удостоила я тебя и барвинком (перваншем), безвременником (колхикумом), арабидобсисом. Прекраснее и загадочнее цветов бывают только их названия. Их я оставляю себе.

Безвременник, или колхикум

Прекрасный ядовитый цветок. Степень ядовитости характеризуется как чрезвычайная. Из безвременника выделено несколько видов токсичных веществ, наиболее изученными из которых являются колхицин и колхамин. «...Действуют наподобие мышьяка», «Отравление проявляется спустя два — шесть часов». Летом безвременник незаметен. Цветки с шестью лепестками появляются в конце августа или в сентябре. «...Завязь цветка спрятана в луковице, под землей».

Сколько времени, сколько пространства отделяет нас друг от друга? Мне чудится, что я делюсь с тобой жизнью, а ты со мной — смертью. Мне тебя не воскресить и не поднять, но рано или поздно ты утащишь меня к себе. Выходит, я ближе к тебе, чем ты ко мне. Мы так никогда друг друга и не полюбим, но моя могила будет рядом с твоей. А если нет, я поползу к тебе, как крот, вспарывая землю, и устроюсь на твоей груди. Хочешь ты того или нет, будем вместе слушать, как ветер (султан и тиран!) копошится и шуршит в трепещущей березовой шевелюре своего безропотного гарема (кто назначил их, кротких и трогательных, надзирать над нашими смердящими душами); будем содрогаться и оглушаться в нашем подземелье листопадом и дождевыми каплями — перкуссионными инструментами отзовемся на каждый удар; зачешемся невидимым телом от елозящих по нам, возящихся червей и жучков; станем изнывать от скуки. Я пожалею о том, что не заучивала наизусть стихотворения и прозу на русском и татарском языках — столько всего я могла бы тебе рассказать. Придется сочинять. В том, что ты будешь слушать, сомневаться не приходится — куда ты от меня денешься? А я? Я осмелею. Когда мне станет терять совсем нечего, я непременно осмелею и больше не буду тебя бояться. Ни предгрозовое молчание, ни брань, ни упрек — ничто не возымеет больше силы надо мной. Все, что будет иметь для меня значение (если только допустить, что что-то будет иметь значение), это — солнце, скачущее по верхушкам деревьев, шествие тени, ее грозное надвижение и семенящее отступление, стягивание, отслаивание от обозримых мной предметов. Похоже, я очень простодушно и безосновательно оставляю себе способность видеть — неужели предполагаю орган зрения неразможенным, невысосанным, каким бы то ни было другим способом не уничтоженным? Зачем мне видеть? И с глазами-то у меня это получалось не очень: не будет нужды что-то стараться разглядеть, я буду представлять, воображать, вспоминать... Ты расскажешь мне свое стихотворение. Обязательно расскажешь. Мы будем повторять его вместе. Повтор в жизни — отдает пошлостью, повтор в искусстве — порождает новые смыслы.

«Мир всегда говорит одно и то же, сначала он заинтересовывает, потом утомляет. Но в конце концов он добивается своего благодаря настойчивости. Он всегда прав»⁹.

⁹ Альбер Камю. Эссе «Минотавр, или Остановка в Оране» («Камень Ариадны»).

Леонид БЕЖИН

ДОЖДЛИВАЯ АЛЛЕЯ,

или Десять донесений Департаменту полиции
о композиторе Скрябине, строительстве храма
в Индии и мистерии на конец времени

Роман*

Параграф шестой МЫ ТОЖЕ ХОТИМ!

— Но позвольте, как я могу?.. Я в некотором роде за этот чемодан отвечаю. Во всяком случае, пока не вернулась хозяйка...

Я невольно задержал взгляд на попутчике Натальи Валерьяновны, настолько он точно соответствовал ее описанию: низкий лоб, бульдожья челюсть, неандерталец, истинный неандерталец! При этом руки маленькие, ухоженные, изящной формы и пальцы... я бы сказал, кропотливые, как у дам, которые гладью вышивают.

Тем не менее долго его рассматривать я не мог, поскольку мы с графом Арбениным все-таки не за тем пришли.

— Вам недостаточно моих заверений? — Я поднял тон. — Вы хотите поставить под сомнение мою порядочность? Это может вам дорого обойтись.

— Я не посягаю на вашу порядочность, но войдите в мое положение, — сказал он на таком плохом швейцарском немецком, что я был вынужден осведомиться:

— Вы француз или англичанин?

— Я русский. Композитор Скрябин.

По молчаливому, но обоюдному согласию мы перешли на русский язык.

— Оставьте эти рассказы для дам, хотя и они вам не верят. Что за странная прихоть — выдавать себя за Скрябина!

— Видите ли, — он повернулся в кресле, хотя оно при этом почти не скрипнуло, — сейчас многие выдают. Как-никак приближается апокалипсис. Знамение времени!

— Ну знаете, апокалипсис ждали во все века...

— Но не во все века сочинялись Мистерии, а господин Скрябин взял это на себя, желая осчастливить человечество. Облаготельствовать, так сказать. Вот всем и лестно себя выдать... быть причастным...

Леонид Евгеньевич Бежин родился в 1949 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Защитил диссертацию по классической китайской поэзии. Ректор Института журналистики и литературного творчества. Автор романов «Сад Иосифа», «Мох», «Деревня Хэ», «Костюм Адама», «Тайное общество любителей плохой погоды», а также книг о Данииле Андрееве, старце Федоре Кузьмиче, Серафиме Саровском и др. Был ведущим телепередачи «Книжный двор» и радиопередачи «Восток и Запад». Вел ряд журнальных проектов. Лауреат премии имени М. А. Шолохова (1990), Бунинской премии (2015). Член Союза писателей России.

* Продолжение. Начало: Нева. 2025. № 5.

- Какая в этом выгода?
- Воскреснуть первыми и наверняка. Скрябин же — воскреситель.
- Как-то в его программе о воскресении особо не говорится...

— Как же, как же! Если человечество под его музыку сольется в экстазе, а затем и вовсе дематериализуется, то и мертвые потребуют своей доли во всеобщем счастье. Мы тоже хотим! Чем мы, собственно, хуже! Вот и придется их воскресить для участия в общей процедуре, так сказать. Это подразумевается... тут не нужны никакие программы. К тому же воскресение, победа над смертью — вековая мечта!.. Наверняка так считает и господин Скрябин.

- Между тем неплохо было бы у него спросить.

— Увы, это невозможно. Из России поступили сведения, что господин Скрябин, светоч русской музыки, почил в Бозе.

- Хм... Скрябин едет в соседнем вагоне.

- Самозванец! Еще один самозванец!

— На этот раз не самозванец, а лично он, Скрябин... Собственной персоной! Могу его позвать. Пусть он сам вас разоблачит.

- Значит, он не умирал?

— Скрябин был при смерти, — я сделал вышивальщику некоторую осторожную уступку, — поэтому недобросовестные газетчики поспешили сообщить о его кончине. Перестарались, как и те, которые слали депеши о смерти Толстого, а тот был еще живехонек. Толстой, правда, вскоре умер в своем Астапове. Но Скрябин в отличие от Толстого не переступил последней черты, постепенно *выправился* — в том смысле, что стал поправляться и наконец совершенно выздоровел. Что там какой-то нарыв в полости носа! Для медицины — суший пустяк. Так позвать?..

- Кого, простите?

- Скрябина. Не Толстого же, конечно.

Параграф седьмой

ЛЖЕ-ЮЛИАН

— Умоляю, не надо! Я вам сейчас все объясню. Есть некие обстоятельства, и вам необходимо их учесть. Я имею в виду сына Скрябина Юлиана, творчески одаренного, можно сказать, гениального ребенка. — Вышивальщик совсем уж хотел было сразу выложить все известное ему о Юлиане, но затем решил не торопиться с этим и зайти издалека: — Здесь, в Швейцарии, где Скрябин бывал, подолгу жил и даже проповедовал свое учение, сложилась небольшая община его почитателей и приверженцев. Некоторые из них музыканты, другие любят пофилософствовать на досуге, чем все мы, впрочем, грешим, а третьи обладают... как бы это выразиться... медиумическими способностями. Спиритизм как общение с духами вообще весьма распространен в Швейцарии, а то скучно, знаете ли, все глядеть на здешние красоты. Оно и опротиветь может.

- Не отвлекайтесь, пожалуйста. Придерживайтесь темы.

— Темы? А какая у нас тема? — Вышивальщик обеспокоился, словно у него из виду пропала иголка, воткнутая в натянутое полотно.

— Юлиан Скрябин, — напомнил я. — Кстати, мальчик уже имел право быть не Шлёцером, а носить имя своего отца.

— Да, да, именно. Благодарю. Так вот от духов было узно, что сыну Скрябина, гениальному мальчику Юлиану, грозит опасность. Над ним сгущаются тучи заговора. Его хотят убить из зависти к его гениальности, да и к тому, что он теперь — полноправный Скрябин, наследник миссии отца. И миссия эта, заметьте, — царская! Во вся-

ком случае, позволю себе аналогию. — Для полноты аналогии вышивальщик откинулся в кресле, подобрал локти, вытянул перед собой тоненькие, паучьи ножки и, неожиданно оказавшись маленького роста, стал похож на рахитичного ребенка. — Так по приказу Годунова был умерщвлен царевич Димитрий, его единственный соперник. По официальной версии, играя с ножичком, он напоролся... Напоролся на самое острое ножичка, а заодно и на ненависть Годунова, которая, пожалуй, была поострее. Такие случаются игры в истории...

— Придерживайтесь... придерживайтесь... — вновь напомнил я.

— Да-да, извините. Так вот меня наша община готовит в Лжедмитрии, то есть в лже-Юлианы. Для чего? Вопрос! Для того чтобы авторство Мистерии перешло ко мне, как те четыре прелюдии Александра Николаевича, которые лишь приписывают Юлиану, хотя мальчик их сочинить не мог: это творение гения и зрелого мужа. Так же и с Мистерией: во всяком случае, есть такие планы. А что? Я по всем статьям гожусь в ее мнимые авторы. Я и ростом чуть ниже Скрябина. И глаза у меня карие. А взять хотя бы то, что у меня на лице сорок три родинки. Можете подсчитать: ровно сорок три — столько же лет прожил Скрябин! Скрябин, а не тот самозванец, который, по вашему утверждению, едет в соседнем вагоне. Но это, как вы понимаете, страшная тайна. Правда, я уже многим проболтался, а то скучно, знаете ли: вот я и не могу держать язык за зубами. А для отвода глаз я должен изображать сумасшедшего и выдавать себя за Скрябина.

— Вы и впрямь сумасшедший! Что вы тут наплели! — не выдержал я, слушая весь этот бред.

Вышивальщик позволил себе уклончивую ужимку, оставляющую (при всем его сумасшествии) за ним право на известное трезвомыслие.

— Наплел не наплел, время покажет. Швейцария не только принимает деньги по вкладам, но и ценит вклады духовные. Взять хотя бы Дорнах с Гётенаумом, но и не только, не только... Поэтому для всяких мистериальных прожектов здесь самое место... А я к тому же еще и русский.

Я сделал знак Арбенину, что не собираюсь здесь больше задерживаться.

— Так вы позволите взять чемодан?

— Лишь с тем условием, что я извлеку оттуда деньги и сам в целости верну их хозяйке. Дамским бельем же, всякими там штучками и французскими духами можете распоряжаться сами... Я этому препятствовать не стану.

Мы с Арбениным переглянулись при упоминании денег.

— Откуда вы знаете про деньги? Вы успели осмотреть содержимое чемодана? — спросил я, невольно отдаваясь мысли о том, с каким наслаждением я бы выдернул эти паучьи ножки из щедедушного рахитичного тела.

— Из любопытства, только из любопытства... — Вышивальщик скромно потупился, словно любопытство было одним из его многочисленных, хотя и не всегда признаваемых достоинств.

— Нет, деньги останутся в чемодане. — Арбенин с внушительным видом выступил вперед, тем самым показывая, что он тоже не лишен достоинств, позволяющих ему подтвердить свои слова делом.

Параграф восьмой ДЕЛИКАТНЫЙ КОНФУЗ

Мы с графом Арбениным вернулись в наш вагон, словно герои битвы при Фермопилах или какого-нибудь иного столь же опасного сражения.

Вернулись с чемоданом как трофеем, добытым в честном поединке (вышивальщик еще долго упрямылся, оказывал нам сопротивление, так что Арбенину пришлось употребить силу, после чего тот скис, увял и умолк).

Но вернулись, надо заметить, несколько раньше, чем следовало, что и стало причиной весьма деликатного конфуза.

О, деликатные конфузы! Без вас наша жизнь была бы скучна, однообразна, лишена чарующих загадок.

Правда, нам пришлось сделать вид, что мы ничего не видели, что слегка приоткрытая дверь купе вовсе не привлекла нашего внимания, а, наоборот, побудила к тому, чтобы отвернуться, не желая быть свидетелями того, что Скрябин называл эросом, эротическим томлением (лаской в танце), любовными касаниями и играми.

По замыслу композитора, уже отчасти известному мне, эти касания и игры составляли содержание третьего или четвертого дня Мистерии. В этот знаменательный день стекающиеся к Храму народы под изнывающе-томные, чарующие звуки оркестра будут отдаваться порывам страсти нежной, описанным их искушенным знатоком Овидием.

Впрочем, что Овидий, если сам Скрябин воссоздал их в «Божественной поэме» и, особенно, «Поэме экстаза», воспевавшей и глубоко интимный, сокровенный, трепетный и — мировой экстаз последних гибельных содроганий вселенной: «О, как я хочу праздника! Я весь желание, бесконечно! И праздник будет! Мы задохнемся, мы стогрим, а с нами стогрит вселенная в нашем блаженстве».

Недаром «Поэму экстаза» он намеревался вначале назвать откровеннее, обнаженнее — «Оргиастическая поэма».

От самых изощренных выдумок древних греков скрябинские экстазы и оргии отличны тем, что греки — в историческом смысле младенцы, еще не чувющие надвигающегося апокалипсиса, его грозной поступи и не предчувствующие сладостных мук дематериализации. Скрябину же как художнику, наделенному даром вестника, эти сладостные муки уже знакомы, иначе бы Маргарита Кирилловна Морозова, его верный друг, не написала о парижских встречах с композитором: «Раз мы пошли с Александром Николаевичем в Музей Лувра, но на картины мы не смотрели, так как он вообще мало ими интересовался, слишком он всегда был как-то одержим своей внутренней работой. Мы сели на диван и говорили главным образом о „Поэме экстаза“. Александр Николаевич мне объяснил подробно, как он представлял самый экстаз. Как мировое, космическое слияние мужского и женского начала, духа и материи. Вселенский Экстаз — это эротический акт, блаженный конец, возвращение к Единству. Конечно, в этом эротизме, как и вообще в Скрябине, не было ничего грубого, сексуального. „Поэма экстаза“ эротична в этом смысле слова, этот эротизм носит космический характер, и мне кажется, что в ней вместе с тем уже чувствуется какой-то отрыв от земли, который так сильно и окончательно отразился в последних произведениях Скрябина».

Сам Скрябин не раз скажет, что Мистерия — это акт эротический, акт любви.

И вот теперь приоткрытая дверь и нас приобщила как невольных свидетелей этого отрыва от земли, этого космического эроса, этого вселенского праздника.

Мы лишь из деликатности делали вид, что не видели, хотя на самом деле видели, как Скрябин, стоя на коленях перед Натальей Валерьяновной, целовал ее обнаженные по локоть руки, сдвинутые под платьем колени, кружевной подол этого платья. А она гладила его по голове, отчего, как это не раз бывало, наэлектризованная прядка не могла не взметнуться (взвихриться), отделяясь от всей массы прекрасных скрябинских волос, и он лишь тщетно пытался укротить и пригладить ее.

Затем последовали объятия, приглушенные возгласы, вздохи, прерывистый шепот. Они сидели рядом и целовались, причем Скрябин, отец семерых детей, был похож на гимназиста, приобщаемого к этой науке, столь искусно описанной Овидием (все-таки Овидий!).

Мы тихонько прикрыли дверь купе. Арбенин удалился к себе, а я, постояв немного в коридоре, постучался к нему, попросил ключ от наружной двери и... выбросился из поезда, что, конечно, не следует понимать буквально.

Просто чужое счастье, если ему не завидовать, а радоваться, может и до отчаяния довести.

Параграф девятый БЫЛ

Мы вышли из поезда на приглянувшейся нам маленькой станции с низкой, заасфальтированной лишь наполовину платформой (вторая половина заросла травой, которую мирно пощипывали козы). Мы были единственными пассажирами, продержавшимися до самого конца маршрута: кроме нас, из вагонов так никто и не вышел.

Даже пренеприятный спутник Натальи Валерьяновны — лже-Скрябин или будущий лже-Юлиан — покинул поезд на предыдущей станции и, не оглядываясь, зашагал куда-то вдоль аллеи белых кленов и лиственниц. Затем вдруг остановился и, полагая, что его никто не видит (а я видел его в окно), стал подбрасывать ноги и хлопать себя по коленям и ляжкам, выплясывая отчаянный канкан.

Кроме меня, однако, никто не был свидетелем столь удивительного и, я бы добавил, интимного зрелища. Ему захотелось, и он не стал себя сдерживать. Как уже сказано, Швейцария — свободная страна. И — скучная. Уныло буржуазная. По словам Скрябина, «куда ни зайдешь, даже в самое глухое, почти первобытное место, все равно встретишь на дереве адрес и условия проживания в каком-нибудь пансионе».

А от скуки и долгого сидения в поезде чего только ни выкинешь — хоть канкан, хоть полечку-тремблан, хоть любой другой подобный фортель!

Тем более что наша станция оказалась конечной. Выгнутые дугой рельсы и тупиковая насыпь с врытым в нее столбом свидетельствовали, что дальше пути нет — только извилистые дорожки и козьи тропы.

Собственно, мы могли бы выйти и раньше: чем выше мы поднимались, тем чаще поезд останавливался на одну-две минуты, и из окон открывались манящие виды. Но что-то звало нас вперед и вперед, во всяком случае, Скрябин не позволял нам покинуть вагон раньше времени. А вместе с ним и мы с Натальей Валерьяновной надеялись, что дальше будет еще лучше, пока наконец место, которое мы выберем, не окажется воистину прекрасным — *дивным, божественным*, как любил говорить Александр Николаевич, восторженный ценитель природы.

Так и случилось. Мы залюбовались видом прекрасных, накрытых шапками снега гор с лесистыми вершинами, сумрачными фиалковыми провалами, расщелинами и нижними террасами, усаженными мирно возделываемым виноградом.

Мы с наслаждением вдыхали упоительно чистый, пьянящий винными, слегка прогорклыми запахами осени воздух.

— Мне это чем-то напоминает Рай, — сказал Скрябин, не смущаясь тем, что воспоминания обычно вызывают места, где довелось побывать.

Поэтому Наталья Валерьяновна, глядя на него с любовью и в то же время с чем-то похожим на сомнение, спросила:

— А ты там был? Если это секрет, можешь мне не отвечать. Я не обижусь.

— Был, — ответил он так, что она внезапно смолкла, а я, собиравшийся что-то сказать, лишь от удивления приоткрыл было рот, но ничего так и не произнес.

Скрябин почувствовал себя обязанным что-то из снисхождения к нам пояснить, добавить, чтобы его слова не вызвали у нас недоумения.

— Был, когда писал «Божественную поэму», а кроме того — перечитывал «Божественную комедию» Данте. Там действие происходит в Раю.

На Данте мы немного успокоились.

— А где же наш проводник? Он такой милый, был с нами так любезен, помог выволить мой чемодан... Мы не успели с ним попрощаться. — Наталья Валерьяновна, из суеверия избегая развивать тему Рая, стала оглядываться в поисках проводника.

— Наверное, наводит чистоту, убирает в купе перед обратным маршрутом. — Я постарался произнести это как можно безразличнее и — не вдаваясь в подробности. В нужных случаях у меня это получалось. — Проводники — у них свои заботы...

— Его лицо показалось мне знакомым... — сказал Скрябин, словно на этот раз у меня из моих стараний чего-то не вышло.

— О ком ты? О проводнике? — спросила она так, словно и думать забыла о том, о ком спрашивала.

— Да-да, где-то я его видел...

— Бывает... — подсказал я самое простое объяснение его видений.

— Бывает, милый, — сочла нужным поддержать меня Наталья Валерьяновна, чтобы отвлечь Скрябина от слишком навязчивых мыслей.

Параграф десятый ДЕРЕВЕНСКИЙ ЮМОР И ГОГОЛЕВСКИЕ ГАЛУШКИ

Мы порасспросили местных жителей, где тут лучше остановиться, и нам охотно подсказали несколько адресов. Правда, адреса здесь были не с названиями улиц и номерами домов, а с некими загадочными пространственными символами: «Сначала прямо — до скотобойни, потом налево, мимо кладбища, а там дальше покойнички подскажут». Деревенский юмор!

Скрябин кладбищ не любил и — особенно — похоронного звона, напоминавшего ему о смерти дочери Риммы (в этой смерти он постоянно винил себя). Но его ублажили словами о том, что колокол с колокольни во время бури сорвало ветром и он разбился, на новый же все никак не скинутся, денег нет, — вот, может быть, русский господин поможет.

Но Александр Николаевич в ответ промолчал, ничего обещать не стал.

Мы отправились по второму адресу (лишь бы в обход скотобойни и кладбища), и нам сразу повезло. Радушные хозяева сдали сначала полдома, по словам Натальи Валерьяновны, миленького, очаровательного, с черепичной крышей, балконом и флюгером в виде красного сапожка (звездочка на шпоре указывала направление ветра). А когда хозяева услышали, что Скрябин — музыкант и что мы намерены взять напрокат пианино, то, напуганные неизбежными *звуками*, казавшимися им чем-то средним между воем ветра и голосами ночных привидений, то и уступили весь дом.

Причем за ту же скромную плату, что Скрябина очень обрадовало, даже развеселило, поскольку, разбогатев за счет пожертвований, Александр Николаевич стал экономным, расчетливым и даже скуповатым. Раньше при своем вечном безденежье он мог царственно отдать половину гонорара на нужды бедствующих эмигрантов

(концерт устраивала Розалия Марковна, жена Плеханова), но теперь берег каждый франк ради будущей Мистерии.

Итак, хозяева сдали нам полдома, а затем и вовсе перебрались в соседний дом, если можно назвать соседством расстояние в полверсты, занятое виноградниками, садом, вековыми каштанами с пятнистыми стволами, облепленными подтеками душистой смолы соснами и островерхими пихтами.

Нас это вполне устроило, и даже более того — мы несказанно обрадовались, поскольку теперь Скрябин мог работать даже по ночам, к чему он был склонен, хотя Наталья Валерьяновна обещала следить, чтобы он слишком не засиживался и утомлялся. Она даже заручилась правом самой тушить лампу, выпроваживая его из-за стола, на что Александр Николаевич не без хвастовства отвечивал:

— Могу тебя уведомить, дорогая, что я способен сочинять и в темноте. Да-с! В полной темноте!

— Ты у нас гений! Но ведь в темноте же ничего не видно! — простодушно удивлялась Наталья Валерьяновна.

— А мне и не надо видеть. Я слышу! Слышу! — Скрябин приблизил ладони к ушам, желая неким образом обозначить, как в них входит невидимая для глаз музыка.

— А ноты? Их же требуется записать! — Наталья Валерьяновна все-таки с некоторым недоверием отнеслась к такому способу сочинения музыки.

Но на язык Скрябину уже попала смешинка, глаза у него увлажнились, а кончики усов вздрогнули, не позволяя продолжить в серьезном тоне.

— Зачем? Ноты сами прыгают на бумагу, как галушки у Гоголя — в рот! Галушки, ха-ха-ха! Со сметаной!

Скрябин смеялся до слез, довольный, что пошутил, а при этом — еще и Гоголя вспомнил. Наталья Валерьяновна же не могла не улыбнуться, готовая поддержать любую шутку, лишь бы после этого ему было легче приступить к предстоящей *страшной* (как ей казалось) работе, ради которой они сюда и приехали.

Работе — сначала над клавиром, а затем и над партитурой Мистерии.

Параграф одиннадцатый ТЕТЕРНИКОВ, ОН ЖЕ — БОЧОНКИН

И зажили мы без хозяев, одни в целом доме: Скрябин, я и Наталья Валерьяновна. Граф Арбенин так и не возник на горизонте — снова бесследно исчез, напоследок же (еще в поезде перед нашей высадкой) мне признался, что никакой он не Арбенин и тем более не граф — все это маскарад.

Настоящая его фамилия Тетерников, а сними с него и эту маску (Тетерниковым был на самом деле поэт-декадент Сологуб), то он останется просто Бочонкиным, если, конечно, и Бочонкин — не маска.

Но бог с ними, этими маскарадами!

Не стоят они того, чтобы тратить на них порох (впрочем, порох тратят не на маскарады, а на фейерверки) и о них говорить. Но так уж нам свойственно: все твердить о мелочах, забывая о главном.

Главное же не в исчезновении Арбенина (и не в превращении его в Тетерникова и Бочонкина), а в том, какое это было дивное время — август шестнадцатого года!

Где-то гремела война, полыхали зарева сражений, разносилась трескотня ружейных выстрелов, рвались снаряды, наползали на окопы ядовитые газы, а здесь щебетали, свистели, шелкали, выделяли коленца птицы — почти так же, как в далекой

России, но при этом все же и по-своему, на швейцарском языке. И пойдя распознай, где истинная Мистерия — там, внизу, или здесь, в тишине, среди гор.

Скрябин пение птиц любил, заслушивался и особенно гордился тем, как удалось передать птичьей трели в «Божественной поэме». Значит, все-таки здесь истинная Мистерия — под шум леса и птичьего голоса ложится на бумагу, выпевается, выщелкивается, высвистывается, а то, что внизу, — лишь подобие, отголоски, дальнейшее эхо...

Александр Николаевич еще *тогда* — незадолго до смерти — говорил, что музыка на конец времени уже сложилась, вся в его голове — осталось только записать. Вот сейчас, после смерти, он ее и записывал. Выводил перышком на нотных строчках и ужасно сердился, если картину портила хотя бы крошечная, случайная клякса (тотчас стирал ее бритвой и сдувал мельчайшие соринки).

Но записывая, в то же время творил заново...

Счастливый, восторженный, опьяненный творчеством, он готов был воскликнуть, как когда-то в письме жене Татьяне Федоровне: «Я опять поднят необъятной волной творчества на такую высоту! Я задыхаюсь, я блаженствую, я дивно сочиняю».

Параграф двенадцатый ПРИГЛАШЕНИЕ

Блаженствовали и мы с Натальей Валерьяновной, и хотя мы не ахти какие сочинители, но тоже по мере сил трудились.

В доме у нас были чистота и порядок. Каждое утро Наталья Валерьяновна (иногда я осмеливался называть ее Наташей) смахивала пыль с мебели, такой простой и допотопной, словно праведный Ной сначала причалил свой ковчег к здешним горам, выгрузил мебель, а затем, осознав свою ошибку, продолжил плавание к горе Арарат.

Наталья Валерьяновна поведала мне, что в детстве ее учили управляться по хозяйству, воспитывали и прививали полезные навыки. Только, увы, не было случая применить их на деле, поскольку всем занимались вышколенные горничные в передниках и кружевных наколках. И вот теперь она сама могла продемонстрировать, какая она вышколенная — образцовая — хозяйка.

Наталья Валерьяновна снимала с углов паутину, штопала одежду, стирала, варила кофе и, постучавшись к Скрябину (впрочем, что я все Скрябин, Скрябин: постучавшись к мужу!), ставила ему на стол турку и блиставшую чистотой чашечку. Он же в порыве вдохновения, ослепленный своими миражами, подчас и не замечал ее или принимал за призрака...

Я тоже старался чем-то себя занять, колол щепки для неуклюжего деревенского камина (кажется, тоже сложенного из речных камней во времена Ноя), налаживал снасти для рыбы, но больше просто смотрел в окно. Отдавался созерцанию того, как подступала осень к нашей деревеньке — подступала бесшумно, словно альпийская рысь, на мягких лапах, с подобранными коготками, вся золотистая, в бархатных черных крапинах и пятнах!

А как потягивало с гор сырым, полусгнившим, заплесневелым валежником! Как мальчишки пытались его разжечь, чтобы сварить в котелке пойманных сивов, оглушенных веслом. Но костер лишь едва тлел, застилая деревню едким сизым дымком. Дым этот проникал во все щели нашего дома. Он свивался жгутом, сворачивался клубком, словно кот на печке, заставляя Скрябину иногда встать, откашляться, достать и поднести к носу надушенный платок, а заодно и пройтись по комнате, расправляя плечи и прогибая спину.

Целыми днями он писал — ладно бы только музыку, но Александр Николаевич мучился, изнемогал, бился над стихами для Мистерии, как гимназист бьется над рифмами, посвященными первой любви, но — все попусту. Не даются рифмы, как закатившийся под диван мяч ускользает от кочерги, которой его пытаются выкатить.

Гимназисту простиительно: он мог и у Пушкина похитить строчку, может быть, слегка видоизменив ее, но Скрябин себе такого позволить не мог, и поэтому все его мучения были напрасными: не давались ему стихи. Александр Николаевич сам это чувствовал, и если читал нам что-нибудь за ужином, то с таким плачевным выражением лица, словно по ошибке отведал уксуса или пробовал кислый крыжовник.

Но он не отчаивался, надеясь, что достоинства музыки и грандиозный размах самого мистериального действия неким образом сгладят — выскоблят, словно бритвой, — недостатки его поэзии.

Я же, слушая его, иногда тихонько отодвигался в глубь комнаты вместе со стулом и смотрел на все отстраненно, удивляясь странному, почти нереальному — запредельному — стечению обстоятельств, приведших нас сюда.

Это что ж такое: какие-то трое русских, даже не революционеров, как Плеханов, а мирных путешественников, коих здесь, у самых вершин швейцарских гор, перебивало множество, приближают апокалипсис, готовят вселенское действие, дематериализацию всего человечества! И не с помощью какой-нибудь изобретенной ими адской машины, а средствами стихов и музыки, сочиняемых композитором Скрябиным!

Музыки — надо отдать ей должное — небывалой, божественной, но ведь сам Скрябин — не Бог, хотя иногда и называет себя Богом.

Вот если бы швейцарцы с розовыми лицами и обвислыми седыми усами занимались в России чем-то подобным — нет, такое даже при самом пылком воображении представить себе невозможно. Они лишь свежий творог отжимать в марле, деньги считать и на худой конец столы вертеть мастера. На большее их вряд ли хватит. А вот русские в Швейцарии — пожалуйста вам: апокалипсис, дематериализация, сколько угодно, за милую душу...

На мальчишек с их кострами никто из нас не сетовал, а Скрябин вспоминал, как когда-то в Больяско ему пришлось жить рядом с приморской железной дорогой, от нее же дым куда более едкий, пахнущий гарью, аж щипало в глазах, но он все равно сочинял свою «Поэму экстаза», как и сейчас — Мистирию...

Во исполнение своего намерения, заявленного еще при разговоре с хозяевами, мы взяли напрокат пианино. Настроенное на два тона ниже, но зато с подсвечниками и резным пюпитром, оно стояло без дела в местном кабачке. Никто на нем не брэнчал и не тренькал, поскольку приближался сбор винограда, и уже чувствовались предшествующие этому деловая озабоченность и суета.

Тут не до танцулек и вечерних увеселений за столиками.

Виноградари выносили из сараев и выкладывали штабелями ящики, опробовали стремянки, заменяя подгнившие перекладины, смазывали телеги, щелкали в воздухе садовыми ножницами, допивали, освобождая жбаны и бочки, прошлогоднее вино.

И слегка охмелев, даже кошкам (как собутыльникам) в блюдечко наливали. А если трезвенницы кошки отворачивались, то серчали на них, насильно разжимая им зубы, открывая рты и вливая туда вино, от которого те отфыркивались, отбивались лапой, как от мух, и, обиженные таким варварским обращением, орали благим матом.

По этому случаю приглашали и нас. Однажды явилась целая депутация из наших соседей, зазывая нас на винные посиделки. Скрябин хотя и неохотно и с некоторой опаской, но оторвался от работы. Ему, вероятно, вспомнились винные возлияния с фран-

цузским скульптором Родо, большим пьяницей, испытанным выпивохой и любителем винных застолий.

А также память услужливо подсказала, какой случился конфуз на пристани в Америке, где Скрябин, дожидаясь прибытия Татьяны Федоровны (пароход запаздывал), изрядно нагрузился за буфетной стойкой, размяк, раскис, чему-то умилился, прослезился и совершенно утратил вид, подобающий встречающему жену образцовому супругу.

Нагрузился так, что чуть было не уронил цилиндр, надетый по столь торжественному случаю, а затем нахлобучил его на макушку, словно ночной колпак. Словом, был хорош и в таком виде предстал перед женой, онемевшей от ужаса и на минуту потерявшей дар речи. А когда этот бесценный дар к ней вернулся, Татьяна Федоровна употребила его, чтобы поскорее взять такси и увезти Александра Николаевича в гостиницу, где он заснул, едва коснувшись головой подушки.

Так что следовало на этот раз проявить хоть и запоздалое, но все же благоразумие. Но Александр Николаевич все же оторвался от стола. Он причесался, приоделся, опрыскал себя духами и вместе со мной (Наталья Валерьяновна по здравому разумению осталась дома) отправился на деревенский праздник: для него это был повод вновь испытать себя как проповедника.

Меня он прихватил как толмача, поскольку не надеялся на свой французский (был слабоват по части диалектов, распространенных в Швейцарии), а я все-таки сносно объяснялся на здешнем немецком.

Мы сели рядом за длинным, застеленным двумя большими скатертями столом — на самом почетном месте (три стула с высокими спинками, украшенными — трогательная деталь! — венками из цветов и пожелтевших листьев). За нас как за самых знатных гостей, за наше здоровье подняли стаканы и кружки, наполненные доверху, а затем Скрябин произнес тост, похожий на проповедь, который я с трудом перевел, присутствующие же вряд ли до конца поняли.

Лишь один из них, странный старичок, седой как лунь, сухонький, сгорбленный, по виду нездешний, похожий на странника откуда-нибудь с Урала и к тому же говоривший немного по-русски, все уразумел, смекнул, что к чему. И шепнул в ответ словечко вроде пароля (как известно, по-французски пароль — это и есть особое *слово*), по которому апостол Петр, звеня своими ключами, отпирает врата Рая.

Впрочем, я разметался: апостол Петр не каждому отпоет, хотя музыка Скрябина — верный пароль, но об этом в моем следующем донесении.

ДОНЕСЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Параграф первый

ЗАБЫВАЯ ДОНЕСТИ ЛОЖКУ

Скрябин сказал... Да, я начинаю свое третье донесение так, как будто пишу трактат, излагающий речи древнего мудреца — Конфуция или Заратуштры: Скрябин сказал... Хотя в этом нет особого преувеличения, и Скрябин — действительно мудрец. Во всяком случае, таковым он себя считал: если не мудрецом, то философом, создателем нового Евангелия (ни больше ни меньше), учителем жизни.

Философом и, добавлю, теософом, проштудировавшим огромную литературу: Гегеля, Канта, Фихте, мадам Блаватскую с ее «Тайной доктриной», индийские упанишады и многое другое — вплоть до Владимира Соловьева, автора «Трех разговоров» о конце всемирной истории и повести об Антихристе.

Вот только не уверен, читал ли Александр Николаевич Николая Федорова с его «Философией общего дела», а спросить его об этом мне как-то неловко. Не любит он таких вопросов: «А вы читали?» — и отвечает на них не без апломба, заносчивости и некоторого раздражения: «Я все читал, милостивый государь! Во всяком случае, все, что мне нужно! К вашему сведению, даже классиков марксизма!»

Но даже если он сам Федорова и не читал, рассказать-то о нем было кому, поскольку в его окружении читателей хватало. Кого ни возьми — читатель.

К тому же по Москве ходили легенды о библиотекаре Румянцевского музея. Я сам тому свидетель: слышал всякие разговоры и даже в музей раза два захаживал с единственной целью — посмотреть на дивного старичка, а может, и удостоиться его нравучительной беседы, если для того найдется повод.

Беседа с Федоровым считалась высшим благом — таким же, как тютчевская благодать, которую, как известно, не предугадаешь («Нам не дано предугадать»). Каждое слово Николая Федоровича ловили на лету, и оно гуляло по всей Москве. Ему вторили в гостинных и на университетских кафедрах, его пересказывали, искажали, переиначивали, перевирали, но все равно Федоров оставался Федоровым, философом общего дела.

К нему с величайшим почтением относились и Толстой, и Достоевский, и тот же Владимир Соловьев, с которым они при этом вечно спорили. Нравственный облик и энциклопедические знания Федорова не могли не покорять. Он читал на многих языках; ему было досконально известно содержание каждой книги на полке его библиотеки. Все свое жалованье Федоров раздавал бедным и нуждающимся, сам носил зимой и летом одно легкое пальто, а главное — призывал всех к общему делу воскрешения умерших.

Ему казалось, что лишь только наука доберется до тайны клетки, молекулярного устройства человека и гальванизирует распадающуюся плоть живительным импульсом, возгласом Иисуса Христа: «Лазарь, выйди вон!» — и четырехдневный, смердящий Лазарь, пошатываясь, выйдет из могилы! При этом гниющие кости оживут, каждая займет свое место в скелете, сочленения вновь обретут гибкость и подвижность, и прочие мертвецы вместе с Лазарем восстанут для новой жизни.

Если так воздействует на плоть живительный импульс, то каково же обратное — умерщвляющее ее — воздействие противоборствующих сил? Тут я позволю себе привести одну цитату, во многом проясняющую суть дела: «...есть, наконец, зло физическое в человеке — в том, что низшие материальные элементы его тела сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организма, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью».

Вот почему мы умираем! Низшие материальные элементы одолевают изначально заложенную в нас прекрасную форму организма. Значит, нужно эту изначальную форму восстановить — это и будет победой над смертью, торжеством общего дела.

Однако каков Федоров! Как он просто и ясно изложил самую суть этого общего дела! Не совсем так, дорогой читатель. Эта приведенная мной цитата не из Федорова, а из «Трех разговоров» Владимира Соловьева, который, споря с Федоровым, понимал его подчас лучше, чем он сам. Во всяком случае, нарочитому косноязычию Федорова он придавал философскую отточенность, блеск и завершенность.

Мысли Скрябина, грандиозная идея его Мистерии поразительно совпадают с концепцией... Скрябина. Простите, я оговорился. Надо бы поправить: совпадают с концепцией Федорова. Но не буду поправлять, поскольку давно известно, что в оговорках-то как раз и проступает истинный смысл того, о чем мы хотим сказать.

Да, мысли Скрябина совпадают с концепцией Федорова, и об этом не раз говорил Скрябину близкий его кругу Сергей Булгаков. Я хорошо себе представляю эту картину. Дом Скрябиных в Николопесковском переулке, рядом с Арбатом. Вечерний чай за уютным столом под лиловым абажуром. Слушая за чаем рассуждения Александра Николаевича о Мистерии как победе над смертью, отец Сергей, от изумления забывая донести до стакана ложку с вареньем, капавшим на скатерть, не мог удержаться от восклицания: «Так это же Федоров! Чистейший Федоров!»

Позднее отец Сергей написал об этом в своей книге «Свет не вечерний»...

Скрябин ему не возражал (а Татьяна Федоровна как хозяйка старалась незаметно подобрать со скатерти капли варенья). Но все-таки за пониманием этой концепции Федорова стоит он сам, Александр Николаевич, восторженный и окрыленный. И то, что Федоров *видит* — видит хотя бы как свою мечту, Скрябин — угадывает *слухом* как свою будущую партитуру, для которой он склеивает листы обычной нотной бумаги, чтобы зафиксировать на ней необычное — грандиозный состав оркестра, сплетение множества голосов хора и оркестровых партий.

Хор мертвых — где вы такое слышали! А тем более — хор воскресающих мертвецов! Такое возможно только у Скрябина!

Параграф второй

СТАРОЕ ВИНО И НОВЫЕ МЕХИ (ПРОПОВЕДЬ ПОД СМЕШКИ И СКАБРЕЗНЫЕ ШУТКИ)

Итак, Скрябин, соблюдая все правила учтивости к хозяевам, произнес ответный тост по-французски, а я, поспешно поднявшись и тронув салфеткой губы, стал переводить на швейцарский немецкий:

— Мы допиваем сегодня старое вино, оставшееся от прошлого года, столь душевное и прекрасное по вкусу, что мы не можем не поблагодарить искусных виноделов, пригласивших нас к пиршественному столу. — Тут Александр Николаевич поклонился в знак благодарности присутствующим и продолжил свою речь: — Да, старое вино прекрасно, но скоро наступит время, и мы будем пить новое вино. И не только мы, но и все человечество. Мир уже готов к этому и ждет только соответствующего знака. Таким знаком, таким призывом и станет Мистерия, которой суждено свершиться в Индии. Там вскоре будет построен Храм, под сводами которого соберутся все народы — все софийное человечество, ведь, по мысли одного русского философа, человечество и есть София Премудрость Божия, изображаемая на новгородских иконах в окружении ангелов, Христа и Богородицы.

— Какого еще философа? — спросил кто-то за дальним концом стола, словно ему очень важно было знать (хотя он не огорчился бы, если б никогда не узнал) неназванное имя.

— Ну положим, Владимира Соловьева...

— Мы о таком не слыхали. Ты, господин, не очень нам его проповедуй.

— В Храме-то все народы, хоть они и софийные, вряд ли разом поместятся, — усомнился кто-то из сидевших рядом с нами виноделов. — Вон в соседней деревне какой большой храм, а на Рождество и Пасху набьется столько народу, что и дышать нечем, особенно если кто-нибудь... гм... шептуна подпустит, воздух немного подпортит.

Это было сказано явно нехотая. Но все собравшиеся заулыбались, с крестьянской хитрецей подмигивая, толкая в плечо и подзадоривая друг друга. Шутка (скабрезная

шуточка) им понравилась. На винном празднике всем хотелось чего-то *такого*. Но Александра Николаевича это не смутило.

— Поместятся, поскольку само пространство станет иным, обретет новые свойства. Немецкий философ Кант...

— Что вы нам все про философов! Философы тоже воздух портить горазды! Вы лучше попросту скажите! — перебил его кто-то, но Скрябин терпеливо выждал, когда умолкнет возникший гул, и продолжил, не слишком сообразуясь с пожеланием слушателей говорить проще: — Кант считал пространство и время порождением нашего сознания, нашего ума. Мы сами творим свое пространство и время, тем более что времена-то наступают последние. Последние — перед Вечностью и Преображением мира. — Не желая досаждать публике длинными речами, я лишь вкратце перевел сказанное Скрябиным, а он приподнялся на цыпочки и произнес (почти крикнул) так, чтобы его слышали за дальним концом стола: — Поэтому в Храме, уверяю, неким чудесным образом поместятся все! И грянет великая литургия, народы вспомнят былое, перед ними пронесутся картины прошлого, зазвучит музыка прежних веков. И мир преобразится для новой жизни — жизни по справедливости, без эксплуатации, без присвоения чужого труда. — Тут Скрябин явно вспомнил Маркса, некогда прочитанного под влиянием знакомства с Плехановым.

— И какой же благодетель учинит нам такую Мистерию?

Этот вопрос вызвал у Скрябина минутное замешательство, связанное с тем, что он вынуждал его сказать о себе.

— Не знаю, насколько скромно это прозвучит, но такой благодетель — я. Вы уж меня извините, но это так. — Он пожал плечами в знак того, что, может быть, и хотел бы, чтобы все было иначе, но бессилен перед непреложной истиной.

— О! — прокатилось по рядам собравшихся. — Благодетель — он... он...

— Я потому и согласился прийти сюда, что сегодня для меня знаменательный день. Все вы наверняка слышали, что я композитор, сочиняю музыку. И сегодня я вчерне закончил Мистерию. Остается внести некоторые поправки, и через неделю-две все будет полностью готово. После этого я намерен вместе с друзьями отправиться в Индию. Там все и произойдет. Там Мистерия будет поставлена. Осуществится синтез — слияние всех искусств, архитектуры, музыки, танца и даже — ароматов и благоуханий.

— Ну, держись. Воздух теперь не испортишь. Будут сплошь приятные запахи, — крикнул кто-то, а рядом вновь одобрительно зашумели.

— Почему же? — Несмотря на шушуканье, Скрябин воспользовался случаем, чтобы высказаться по поводу благоуханий: — Как в обычной симфонии встречаются диссонансы, которые затем превращаются в благозвучие, так и в симфонии ароматов неприятные запахи будут сменяться приятными. Все как в жизни с ее противоречиями.

Послышались и другие вопросы:

— Значит, все это будет словно спектакль в Большом театре Женевы?

— Как балаган на сельском празднике?

— Как наш бернский карнавал?

Скрябин произнес так, словно разом отвечал всем и в то же время — никому, кроме самого себя, способного до конца постигнуть смысл произносимых слов:

— Как действо. Как праздник для всех — под звон колоколов. Не будет богатых и бедных, больных и увечных, голодных и несчастных. Да что там голодные — мертвые воскреснут! Мистерия все преобразит, и ваш сорванный бурей, разбитый деревенский колокол, восстав в прежнем виде, будет висеть прямо на небе.

— Это как же? Без каната? — усомнился кто-то из самых недоверчивых.

— Без всякого каната!

— А не упадет нам на головы?
 — Не упадет, а, наоборот, вознесется под самые облака!
 — Однако горазд же ты, господин, небылицы травить! — вновь усомнился недоверчивый, но, когда его толкнули в бок, спешно поправился: — Все будет, как ты сказал. Главное — верить!

И все согласно загудели:

— Верить! Верить! От веры горы сдвигаются и небылицы сбываются. Помяни тогда и нас, господин, во Царствии Твоем. И всех умерших отцов наших, будь милостив, приberi к себе. На нас же, скабрезников, за шуточки наши не сердчай.

Параграф третий

ЦАРСТВИЕ ОТПИСАНО

Тут при всеобщем гуле голосов на стол с грохотом выставили принесенные из погреба, покрытые пылью большие бутылки — то ли с вином, то ли с чем-то покрепче и помутнее. Из них ловким ударом ладони по дну вышибли пробки. Лизнули пальцы, проведя ими по увлажненному горлышку бутылки, чтобы оценить вкус вина.

Стали разливать пенную брагу по кружкам и стаканам. Откуда-то вдруг вывалились скопом деревенские музыканты, задудели в свои дудки, забряцали по струнам. Кто-то пустился в пляс — словом, началась пьяная деревенская фантасмагория.

Мы со Скрябиным, не любившие буйных застолий, собрались было уходить, но все же ненадолго задержались, желая выяснить, что означала та самая фразочка об умерших отцах. Спроста или неспроста ее кто-то нам подбросил?

— Это что же — по Федорову? Откуда вы о нем слышали? — Хотя Скрябин этого вопроса не задавал, я сам его задал и при молчаливом согласии на это Александра Николаевича, благодарно на меня взглянувшего.

— А оттуда слышали, что Николай Федорович Федоров, автор «Философии общего дела», жил тут у нас, — тихо произнес тот самый старичок, похожий на странника, невесть откуда взявшийся, вывернувшийся, с длинными седыми космами, несколько бутафорскими швейцарскими усами, посохом и запечной котомкой («Уж не граф ли Арбенин с его маскараром снова тут объявился?» — мелькнула у меня мысль).

Не прикасаясь к еде на столе, он достал из котомки зачерствелый, тронутый плесенью хлебец, надломил и закусил им, предварительно хлебнув вина и показав лишние зубов десны.

— Федоров же умер... — сказал я, не дожидаясь, когда это же произнесет Скрябин.

— Умер и сам себя воскресил. — Старичок почему-то возразил Скрябину, а не мне. — Всех воскресить не смог, а себя очень даже воскресил. Точно так же, как и вы, господин хороший. Вы ведь недавно, кажись, умерли, а теперь вот с нами здесь сидите. Значит, воскресли... Этого можешь не переводить, — распорядился старичок, но я все в точности перевел Александру Николаевичу.

— Не совсем так, конечно. Ну, да ладно... — Скрябин из вежливости и почтения к старичку не стал возражать.

— Совсем не совсем, а сидите ж, однако... Ты переводи, переводи. — Теперь он, наоборот, поторавливал меня с переводом, опасаясь, что я отстану, запутаюсь и пропущу важную мысль.

— Ну а дальше что? — разом спросили мы у старичка.

— Пожил, пожил и ушел. Убег, как говорится. Исчез в никуда. Растворился.

— Как это в никуда? Разве такое бывает?..

— Ну, может быть, в другую деревню, к примеру... Может, пещерку себе подобрал: тут ведь их много, пещерок-то... А может, и в Царствие Небесное вознесся. Ему ж, воскресителю, целое Царствие за труды отписано, — сказал загадочный старичок и обратился ко мне, замолчавшему от удивления: — А ты, милый, переводи, переводи. Чего замолчал-то!

И тотчас куда-то исчез — исчез так же внезапно, как и появился. Я лишь успел подумать: «Фантазмагория!»

Параграф четвертый

НОТА ХВОСТИКОМ ВВЕРХ

Скрябин внес последние поправки в партитуру — все просмотрел, выверил, и через две недели, как он и обещал, Мистерия была завершена. Свершилось то, к чему он считал себя призванным. Это призвание не могло вписаться в отпущенные ему ранее сроки — сорок три года, и понадобился новый срок, тоже Кем-то измеренный, но ему неведомый — лишь предугадываемый с некоей долей уверенности, затемняемой стремлением во всем полагаться на Бога, считая при этом, что в моменты высших творческих озарений он сам себе — Бог.

Осень томилась, изнывала, избыточествовала в роскоши своей бронзы и позолоты, как затаившаяся перед мягким прыжком рысь.

Рысь — готовая, перевернувшись в воздухе, упасть на все четыре лапы, снова затаиться, но теперь уже не прыгнуть, а неслышно подкрасться к добыче и, вытянувшись стрелой, пролететь по воздуху и припасть к ней, облепить ее, всхрипнуть от вождения, перекусить сонную артерию или нанести смертельный удар когтистой лапой.

Но осень на то и осень, что была в ней при этом и грусть, предсказывавшая увядание — предсказывавшая дробинками инея на опавших, вскоробившихся листьях, ранним ледком в колеях дорог, покрытым разбежавшимися во все стороны трещинами, и на сцепленных скобами бревнах мостиков, перекинутых через овраги.

Дни скрадывались, становились короче; горы остывали, не могли удерживать прежний жар, словно продуваемые насквозь ветром печи с открытыми заслонками, — горы дышали прохладой.

Скрябин всегда выбирал такие дни для прогулок — для того, чтобы, поигрывая пруттиком, вприпрыжку сбегать с высокого обрыва. Сбегать, раскидывая при этом руки, словно крылья, и веря в то, что еще шаг-другой, и он оторвется от земли и взлетит, а там и вовсе унесется под самые облака.

На то он и Скрябин, а не Иван Федорович Шпонька и уж тем более не его тетушка (вчера перед сном перечитывал Гоголя)!..

Но сейчас он не позволял себе этого. Вернее, работа не позволяла, а с ней вместе — приближающаяся торжественность (ремарка в нотах — grave) минуты. Подумать только — Мистерия завершена! И даже дата обозначена под нею, проставленная с особой — гимназической — старательностью и аккуратностью: октябрь 1917 года. Можно даже — ради такого случая — вписать число...

— Наташа, какое сегодня число? — спрашивает Скрябин, распахивая дверь своей комнаты так, словно ему хотелось вырваться из замкнутого пространства.

Она не слышит: чем-то занята. Там, внизу, — какие-то хлопоты, движения мебели, звон посуды, приглушенные голоса... Какие могут быть хлопоты в такой день! Ах, люди, люди! Не зря говорил Заратуштра, что все вы рабы своих привычек. Впрочем, он этого не мог сказать. Заратуштра любит людей и не подает милостыни лишь потому, что он для этого недостаточно беден.

Однако где же Наталья Валерьяновна? Куда она подевалась!

— Наташа!

— Я здесь, — наконец доносится голос снизу. — Тебе что-нибудь нужно?

— Какое сегодня число?

— Подожди, я взгляну на календарь. — Она исчезает и через минуту возвращается на то место, откуда он может ее слышать. — Двадцать пятое шестнадцатого года!

— Двадцать пятое сентября?

— Да, сентя... нет, постой. Кажется, октябрь. Ну конечно же, октябрь! Что я, право! В голове все перепуталось. Плохо сегодня спала.

— Почему, дорогая?

— Все жду, когда ты завершишь главный труд твоей жизни.

— Я его завершил, моя радость.

— Когда?

— Сегодня, сегодня. Поэтому и спрашиваю дату.

— Грандиозно! Не знаю, уместны ли в таких случаях поздравления, но я тебя поздравляю.

— Благодарю. От тебя особенно приятно это слышать. — Скрябин мечтательно улыбается давнему и приятному воспоминанию. — А помнишь, как я хотел подарить тебе на день рождения букет белых роз, но не решился: посчитал, что твои домашние меня не так поймут, что белые розы — это неуместно, хотя они мне так нравились — именно белые, хотя и красные меня привлекали, поскольку цвет ноты до для меня — красный...

— Я так надеялась, что ты мне подаришь эти розы...

— В таком случае я подарю их тебе сегодня. Сегодня все уместно. Сегодня праздник.

— Нет, сегодня дарить должна я, а ты — благосклонно принимать подарки, — сказала Наталья Валерьяновна, примиряя права сегодняшнего именинника Скрябина и свои обязанности, насколько позволяла ее любовь к нему, а его — к только что завершенной Мистерии.

— Я готов. Я заслужил. Вот только одну нотку надо записать не хвостиком вверх, а хвостиком вниз. Для ясности голосоведения. Ты мне позволишь?

— Я тебе все позволяю. Но только пусть эта нотка хотя бы на сегодняшний день будет последней.

— Обещаю. Клянусь. — Скрябин хотел вернуться в свое замкнутое пространство и сесть за стол с разложенными листами партитуры.

Он стал уже подниматься по лестнице, но почувствовал, что у Натальи Валерьяновны — там, внизу, — осталось что-то невысказанное.

Некая длящаяся и не обретающая разрешения нота. Причем хвостиком вверх.

Параграф пятый ПОТЕРЯЛ ЗРЕНИЕ

— Я давно хотела тебя спросить. Можно?

— Конечно, дорогая. Я внимательно слушаю. Что тебя беспокоит?

— Да, ты угадал... беспокоит. Даже тревожит. — Она стала медленно и неумолимо подниматься по ступеням к нему наверх. — Скажи, почему ты после завершения «Поэмы экстаза» и Пятой сонаты потерял зрение? Ты сам мне об этом рассказывал...

— Но ведь ненадолго же... Зрение потом вернулось.

Поднимаясь к нему, она остановилась на ступеньке лестницы, не решаясь сделать следующий шаг.

— Но почему? Почему это случилось? Ты можешь мне сказать?

— Мне трудно объяснить. Я сам до конца не понимаю. Наверное, я расстроил себе нервы или что-то в этом роде... переутомился.

— Нет, причина не в этом. — Наталья Валерьяновна с трудом, но все-таки шагнула на следующую ступеньку. — Причина гораздо серьезнее.

— Хорошо, в таком случае я отвечу тебе так. Сочиняя «Экстаз» и сразу же после него Пятую сонату, я слишком высоко поднялся — вознесся — и, наверное, заглянул туда, куда обычному смертному нельзя заглядывать.

— И что же ты там увидел?

— Чистейший, светящийся, лучезарный до мажор, но об этом не расскажешь. И лучше не спрашивай меня.

— Не буду, не буду. Только последний вопрос. Вернее, не один, а два. Можно?

— Я тебя слушаю...

— Фамира-кифарэд в драме Иннокентия Анненского сам лишает себя зрения, чтобы сохранить в глубинах сознания — и подсознания — отзвуки божественных мелодий. Может быть, и ты тоже — сам?

— Нет, нет, я бы не посмел. Зрение — слишком великий дар.

— Но это же не слух.

— Все равно, все равно! — Скрябин спрятал лицо в ладонях. — Где твой последний вопрос? Задавай! Лишь бы он не бал таким жестоким!

— Прости, милый. Но все же ответь мне, чтобы я была спокойна. Ведь после Мистерии с тобой такого не случится? Не может случиться?

— Надеюсь.

— Обещай мне, чтобы я тоже надеялась.

— Обещаю. Во всяком случае, буду стараться и тебя, и себя беречь. А если все же такое случится, я потеряю зрение навсегда. А может быть, и слух, что было бы хуже всего.

— Но ты не потеряешь... Знаешь, что?.. — Наталья Валерьяновна позволила себе немало помолчать с лукавой загадочностью, прежде чем ответить.

— Твою любовь?

— Ну, об этом я и не говорю. Даже если ты ослепнешь и оглохнешь, я буду любить тебя, потому что я... сотворена для тебя. Для тебя одного и твоей музыки.

— Что же тогда я не потеряю?

— А вот отгадай... — сказала она и сама же не стала ждать и своим ответом опередила его догадку: — Твои блестящие математические способности. Однажды, обмахивая пыль с твоего стола, я случайно наткнулась на сложенный листок бумаги, где сверху было написано: «План Пятой сонаты». Я решила по своей глупости: ну, сейчас будут сплошные ноты... Развернула листок, а там лишь цифры, цифры, цифры, обведенные кружками. Прежде чем сочинять, ты что-то вычислял, как настоящий математик.

— Сочинить-то просто, а вот точно вычислить — гораздо труднее. — Он отнял ладони от лица.

— А нужно ли вычислять?

— Необходимо. Музыка — это не только звуки, но и числовые соотношения. Без них не будет формы. Форма поползет, как подтаявший снежный ком, и распадется. Это прекрасно понимал Пифагор, мистик, музыкант и математик. Иногда я еще не знаю, какая впереди будет музыка, но знаю точно, сколько тактов она займет. Даже если музыке я так и не сочиню, форма от этого не пострадает. А вот если ошибусь в числе тактов, то есть в форме как принципе организации материала, — считай, все пропало. Это как в древней притче. Некто встретил в горах небожителя и попросил у него золота. Небожитель тронул пальцем камень, и он стал золотым. «Вот ты просил... возьми».

Но тот не берет. «Чего же ты еще хочешь?» — спрашивает небожитель. «Твой палец», — был ответ.

— Наверняка это притча твоего несчастного Пифагора.

— Во-первых, дорогая, Пифагор не был несчастным. А во-вторых...

Наталья Валерьяновна не позволила ему договорить и тем самым опровергнуть ее по двум пунктам.

— Твой Пифагор ко всему прочему еще и безумец. Почему-то он полагал, что обычные, растущие на грядках бобы — это зло, и запрещал ученикам их есть. Вот такая притча! Ты тоже не ешь бобы?

— Я их охотно ем, но это еще не значит, что я не безумец. Один из критиков после моего концерта обо мне писал: «Я точно навестил близкого мне больного и просидел с ним часа три в одиночной камере для душевнобольных». Однажды я пытался убедить Плеханова, что, бросившись вниз с высокой горы, не разобьюсь о камни, а меня подхватят ангелы, и я зависну в воздухе, как дьявол обещал Христу.

— И что он тебе ответил?

— Сухо произнес: «Попробуйте».

— И ты попробовал?

— Не решился.

— Слава богу... Тогда у тебя бы ничего не получилось. Но если бы ты сегодня попробовал, я уверена: ангелы бы тебя подхватили, и ты бы точно завис. Ведь ты сегодня завершил Мистерию, и в мире все изменилось. — Она приняла позу гимназической наставницы, объясняющей урок ученикам. — Отныне все безумное действительно, а все действительное безумно.

— Вот как ты трактуешь Гегеля! Но он все-таки сказал иначе...

— Знаю, знаю. По Гегелю, все разумное действительно, а все действительное разумно. Но это слишком просто для такого дня, как сегодняшний, — сказала Наталья Валерьяновна и отряхнула руки, словно они были испачканы мелом.

Параграф шестой

ТЕОСОФЫ ЛЮБЯТ МАССНЕ

Перед обедом Скрябин вынес к нам листы специально склеенной им нотной бумаги, сплошь покрытой нотными значками, и несколько блокнотов, исписанных столбиками стихов — стихов к Мистерии. Прихватил он и тетрадь, содержащую грамматику и лексику нового языка для общения народов, который он разрабатывал на основе санскрита. Словом, все было здесь, начисто переписанное и отредактированное.

— Вот полюбуйте. Плоды моих трудов. Свершилось! — Скрябин улыбнулся и развел руками, как бы не зная, что еще он может сделать, о чем можно было бы сказать как о его свершении.

Мы попросили его произнести несколько фраз на новом языке и прочесть что-нибудь из стихов к Мистерии. Опробовать на нас с Натальей Валерьяновной новый язык Скрябин не решился, отговариваясь тем, что сам еще не освоил произношение. Стихи же, написанные по-русски, охотно прочел.

— Ну вот, извольте... — Он стал перелистывать один из блокнотов, — уже отчасти знакомые нам по прошлым читкам стихи к «Предварительному действию»:

Волны
Первые,

Волны
Робкие,
Первые
Рокоты,
Робкие
Шепоты,
Первые
Трепеты,
Робкие
Лепеты...

Ну, и так далее... — Скрыбин засмутился, как самолюбивый поэт, выступивший перед публикой и не уверенный в успехе. — Как вам мои неумелые вирши?

— Bravo! Замечательно! — Мы не могли не похвалить, и поскольку похвала была не совсем искренней, возникла неловкая пауза, давшая Скрыбину повод в себе засомневаться.

— Ах, нет, нет! Это ужасно! Я никакой не поэт! Выспренно, претенциозно! Выбросить в корзину!

— Нет, нет, что ты! — Наталья Валерьяновна искала способ защитить стихи от недовольного ими автора. — Если и есть какие-то шероховатости, то музыка их сгладит. Ты сам об этом говорил! Помнишь, как музыка преобразила гимн искусству в финале твоей Первой симфонии? Тем более что эти стихи совершеннее тех!

— Правда? — Скрыбин умоляюще посмотрел на меня, словно только мое согласие могло окончательно убедить его, что прочитанные стихи все же неплохие.

Тут уж я постарался его не разочаровать.

— Конечно! Вне всяких сомнений!

— Вы не лукавите?

— Клянусь. — Я приложил руку к сердцу и слегка склонил голову.

Наталья Валерьяновна воспользовалась минутной паузой в нашем разговоре, чтобы вставить свое словечко:

— В таком случае все приглашаются к столу. — Она призывала нас наконец обратить внимание на то, что в соседней комнате благодаря ее стараниям все готово к празднеству. — Мы устроим торжественный обед со свечами.

— Свечи, горящие днем, — плохая примета... — Скрыбин не возразил, но на всякий случай все же произнес это вполголоса.

— Ничего, сегодня можно. Впрочем, сегодня все, как ты хочешь. Можем и погасить. Александр Николаевич явно искал, к чему бы еще придраться.

— Ты говоришь обо всех, — он выделил голосом слово, которое могло соответствовать гораздо большему числу приглашаемых к столу, — а нас, однако, здесь только трое...

— Ну, это пустяки. Трое тоже могут быть всеми. Или тебе кого-то не хватает?

— Не хватает только моего друга рыбака Отто и еще, может быть, нашего любезного проводника, хотя я в этом не уверен.

— Того самого, которого вы между собой почему-то называете графом Арбениным? Чем-то он мне не нравится.

— Кого же тебе не хватает?

— Мне? — Наталья Валерьяновна не задумывалась над этим вопросом, прежде чем он был ей задан. — Ну, если кого-то и не хватает, то умнейшей Анни Безант, с кото-

рой я познакомилась, и она, услышав о Скрябине, вспыхнула жадной нас навестить. Надо будет послать ей в гостиницу весточку.

— Так она меня знает?

— Как видишь, знает. И вероятно, неплохо.

— Меня или мою музыку? — Скрябин явно капризничал.

— Я полагаю, что и музыку тоже, — терпеливо добавила она, привыкшая к перепадам его настроения. — Это очень образованная женщина — не только в теософии, но и во всех искусствах. Несмотря на возраст, она всем интересуется.

— Боюсь, что в музыке она ценит лишь самое доступное — то, что пощипывает нервы.

— Что, к примеру? Ноктюрны Шопена?

— Это еще не самое страшное...

— Что же в таком случае? Что для тебя страшнее ноктюрнов Шопена, хотя когда-то ты его так любил?

— Страшнее ноктюрнов? Ну, разве что... полонез Огиньского или бессмертная «Элегия» Массне. — Скрябин рассмеялся, обнял нас двоих, увлек в соседнюю комнату и там первым делом задул выставленные на стол свечи. — Где стол был яств, там гроб стоит... Или как там у Державина?

— Ну вот, ты был таким веселым, а теперь у тебя вдруг это мрачное настроение... Сегодня же праздник!

— Просто я за эти дни работы немного устал. Бывает... Не обращайтесь внимания, — сказал Скрябин и, усадив нас за стол, стал на расстроенном пианино играть нам что-то прекрасное, дивное, божественное и совершенно небывалое.

Мы сразу поняли, что это — завершенная им Мистерия.

Параграф седьмой ВОСПЛАМЕНИТСЯ

В ответ на письмо Натальи Валерьяновны, отправленное из соседней деревни, где была почта (эта маленькая почта обслуживала всю округу), мы получили телеграмму Анни Безант с одним словом по-французски: «Буду» — и указанием некоей даты, вероятно, числа и времени прибытия поезда.

— Наверное, сие означает, что указанным числом мадам Безант нас посетит и нам надлежит ее встретить. Прочитывается также намек на то, чтобы забронировали ей гостиницу, если таковая имеется, — сказал Александр Николаевич, держа телеграмму за уголок на расстоянии от глаз — как некий загадочный предмет, подлежащий пытли- вому изучению, прежде чем о нем можно будет сделать определенные выводы.

— Я ей писала, что в нашей деревне гостиницы нет, и предложила остановиться у нас, если ее не смутят деревенские условия.

— Что ты все «деревне... деревенские!..» Живем как живем, и нечего тут прибедняться!

— Я и не прибеднялась, а просто заранее обрисовала обстановку, чтобы ей было понятно.

— В тебе я не сомневаюсь, а вот мадам могла бы выразиться яснее и хотя бы не экономить на словах. А то лишь одно слово и какие-то цифры, которые можно толковать как угодно.

— Она не экономит. Такова ее манера — выражаться кратко и энергично, одними глаголами и избегать при этом грамматических форм настоящего и прошлого времени. Только — будущее!

— Почему так? — Скрябин был слегка озадачен.

— Она вся устремлена в будущее, к приближающемуся апокалипсису.

— О, это уже интересно! — Александр Николаевич оживился, как всегда оживлялся, если разговор касался его любимых предметов. — Во всяком случае, меня это заинтриговало. Но в теософии, насколько я могу судить, есть свое толкование апокалипсиса. Весьма оригинальное и не совпадающее с библейским.

— Тут я умолкаю, поскольку тебе это известно лучше, чем мне. — Наталья Валерьяновна поправила прическу, показывая, что она предпочитает не так много знать, но зато хорошо выглядеть. — Скажу только, что, согласно ее учителю Блаватской, мир погибнет от мощной солнечной вспышки, которая уничтожит все живое на Земле. Мне об этом поведала сама Анни Безант. Солнце воспламенится, и у нас тут все сгорит, вся наша прекрасная планета. Современные астрономы вынуждены считаться с этим мнением. Недаром и у тебя в музыке — всюду пламя, пламя, пламя, и твой «Прометей» — поэма огня. — Как хорошенькая, но не слишком успевающая гимназистка, отвечавшая урок, Наталья Валерьяновна с опозданием поймала себя на досадной ошибке и, не дожидаясь поправки учителя, сама же поправилась: — Нет, не так. Я говорю что-то ужасное! Все прекрасное никуда не исчезнет, не может исчезнуть, поскольку красота спасет мир... ну, и так далее.

— Но это, извини, уже не Блаватская...

— Достоевский, Достоевский, я, слава богу, знаю! Но представь себе, Блаватская с Федором Михайловичем согласна. Так вот она, а вместе с ней и ее верная последовательница Безант считают, что от солнечной вспышки на Земле сгорят все наслоения, затвердения и сгустки зла. Эра Кали-юги закончится, и наступит духовно светлая эпоха. Словом, здесь многое совпадает с твоим учением, только без музыки...

— Ну, куда ж тут без музыки! Это серьезное упущение. Без музыки никак нельзя. — Скрябин решительно отказывался признать, что в мире есть нечто способное обойтись без музыки, под коей подразумевалась прежде всего его собственная музыка.

— Вот ты сам ей об этом скажешь.

— Кому? Блаватской?

— Ах, боже мой! Безант! Конечно, Безант! Но это все равно что Блаватской, поскольку меж ними существует особая связь — телепатическая! Блаватская из иного — нездешнего — мира посылает импульсы своей ученице, руководит ее поступками; если угодно, санкционирует их. Во всяком случае, так утверждает сама Безант.

— Я вижу, ты у меня стала настоящая теософиня. Скоро и ты начнешь получать импульсы. — Под его пышными усами затаилась улыбка, которая ей не понравилась.

— Ты напрасно смеешься. Никогда не смейся надо мной. Я этого не выношу.

— Я вовсе не смеюсь. — Он постарался придать лицу серьезное выражение. — О чем еще тебя просветила мадам Безант?

— О том, что перед всеобщей катастрофой Англия и часть Западной Европы повторят судьбу Атлантиды и погрузятся под воду, а деловитых англосаксов заменит новая, духовно просветленная Раса. Ну, и о многом другом, мне не совсем понятном... вот ты опять улыбаешься!

— Что ты! Что ты! Тебе показалось.

— Я не буду тебе ничего рассказывать. — Она рассерженно отвернулась.

— Умоляю, расскажи! — воскликнул он, простирая к ней руки.

Наталья Валерьяновна не тотчас поддалась на уговоры.

— Умоляешь, а сам относишься к этому недостаточно серьезно. При этом не учитываешь того факта, что Анни Безант решила нас посетить сразу после завершения тобой Мистерии. До этого все откладывала под разными предлогами, но лишь только ты поставил точку, и она — здесь. Это не может быть случайностью.

— Конечно же, она пустилась в столь опасное путешествие с санкции, — особым выражением голоса он напомнил ей недавно произнесенное слово, — Блаватской... Ты это хотела сказать?

— Именно это. — Наталья Валерьяновна была удовлетворена его вопросом, поскольку ее желание сказать точно совпадает с тем, что она сказала.

— Что ж, побеседуем с Анни Безант о Мистории. — Скрыбин вздохнул, словно его не слишком воодушевляла такая перспектива.

Наталья Валериановна это учла.

— Только не возражай ей хотя бы из уважения к ее возрасту. Такой милый, покладистый, ты бываешь иногда очень неуступчив. — Она умела упрекнуть так, что это выглядело как лесть.

— Постараюсь себя сдерживать. Может быть, мадам Безант в чем-то и поможет. Все-таки она дама со связями и возможностями. Ее многие знают и с ней считаются. — Непонятно было, кого он уговаривал — Наталью Валерьяновну или самого себя. — Эх, жаль, что Англия исчезнет под водой. Мне ведь надо взять у деловитых англичан разрешение на покупку земельного участка для Храма. Индия — все еще их колония.

Параграф восьмой

СНОВА БЕЛЫЕ РОЗЫ И — ВПЕРВЫЕ О ШТАЙНЕРЕ

Наталья Валерьяновна, хотя и не слишком охотно, поддержала шутку про англичан:

— Ради разрешения на участок они повременят с тем, чтобы повторить судьбу Атлантиды. Как же! — сам великий Скрыбин... Может, он-то и есть Будда Грядущего Майтрейя. Во всяком случае, подобные мнения высказываются в его окружении.

— Это кем же высказываются? Любопытно...

— Лично мной. — Она не скрывала, что ее вполне удовлетворяет этот ответ, хотя ему он может показаться слишком коротким.

— Очень мило...

Она приняла его реплику как комплимент.

— ...Я же имею честь быть его секретарем, возлюбленной и верной, хотя и невенчанной женой, так и не получившей от него в подарок белые розы.

— В этом твои непререкаемые полномочия?

— Да. — Этот ответ был еще короче, но и он ее вполне удовлетворил.

Скрыбин уловил в ее словах еще один глубоко запятанный и тщательно замаскированный упрек и не мог на него не отозваться. Если до этого он сидел в плетеном кресле, опершись локтем о подлокотник и вытянув перед собой ноги, то теперь вдруг резко встал.

— Ах, оставь, пожалуйста! Татьяна Федоровна Шлёцер была хоть и венчанной, но непризнанной. Неизвестно, что лучше, а что хуже.

Имя Татьяны Федоровны она то ли не услышала, то ли намеренно пропустила.

— Кому ты только не делал предложение! Даже Ольге Ивановне Монигетти...

— И Наталье Валерьяновне Секериной, сидящей предо мной, тоже делал, но она мне отказала. Подумать только!

— Отказала из любви к тебе, поскольку была не уверена, что сделает тебя счастливым. И хуже всего то, если кто-нибудь из нас станет меньше любить... — Эти слова были сказаны Натальей Валерьяновной в никуда, хотя и косвенно относились к Скрыбину.

В ответ он тоже заговорил о том, что могло иметь не прямой и до конца высказанный, а некий лишь подразумеваемый смысл:

— Данте и после смерти Беатриче продолжал ее любить, ты же, можно считать, любишь меня после моей смерти. Вот как все поменялось местами.

— Ты это к чему?

— Так... Нет в мире виноватых.

— Не совсем понимаю... прости, чего-то не улавливаю...

— Что ж тут улавливать... Только мадам Безант виновата в том, что зачем-то придет и будет, как скульптор Судьбинин, он же Головастикив, автор моего бюста, между прочим из семьи потомственных старообрядцев, мять глину и лепить из меня масона и теософа, хотя я и так уже теософ.

— Скульптор Судьбинин, он же Головастикив, тебя уже изваял из бронзы, и, по моему, неплохо. Впрочем, не он один...

— Он-то изваял из бронзы, а теософ я буду — глиняный... Но бог с ней, теософией. Теперь дело за Рудольфом Штайнером и его антропософией, благо Гётенаум от нас совсем близко — рукой подать...

Наталья Валерьяновна выдержала паузу и вновь поправила волосы, показывая, что антропософия — не ее стихия.

После этого она несколько высокомерно и безучастно спросила:

— Мать глину — это значит болтать без умолку? Но ты же сам сказал, что Безант может чем-то помочь, а это уже немало.

— Лишь бы при этом не навредила... — сказал Александр Николаевич так, словно она говорила о ближайшем, а он мог видеть чуть дальше, на перспективу и поэтому не испытывать тех надежд, которые ее окрыляли.

Параграф девятый

ВЕНЗЕЛЬНЫЙ КРАНИК И «КНИГА ПЕРЕМЕН»

— Мистерия? О, Мистерия! Да, я о ней, конечно же, слышала. Многие считают этот проект утопическим, а ваши идеи — безумными: космический эротизм, светомузыка, дематериализация и все такое. Но для истинного теософа в этом нет ничего странного и звучащего сколько-нибудь дико. Напротив, все естественно, просто и ясно. Вон и у Рудольфа Штайнера в его Гётенауме — сборные действия, музыка, ароматы, свободные танцы... Да и у Гурджиева тоже, и у многих истинных адептов, а не танцующих барышень — таких, как Айседора Дункан. Елена Петровна меня в этом просветила. После своей смерти она меня не оставляет. Да, собственно, она и не умирала — так же, как и вы, господин Скрябин...

— Благодарю. Премного признателен... — Александр Николаевич поблагодарил за то, что эта фраза не обязывала его к каким-то объяснениям на свой счет. — Так что же мадам Блаватская?

— По ее словам, ваша Мистерия и будет ярчайшей вспышкой на Солнце, предвещающей апокалипсис. Ведь вы поклоняетесь Солнцу!

— До известной степени... Во всяком случае, всегда предпочитаю солнечную сторону улицы и от солнца не прячусь.

— Я знаю, знаю, какой вы солнцепоклонник. Ведь вы дружили с этим поэтом, который призывал: будем, как солнце, или что-то в этом роде.

— Бальмонтом? Да, немного дружил, но больше — с Вячеславом Ивановым. С Андреем Белым дружбы не получилось, хотя нас пытались сводить.

— Вот видите! Мне все про вас известно, — сказала гостья так, словно не Скрябин ей, а она ему поведала подробности его жизни. — Анни Безант, урожденная Вуд, совсем седенькая, с волнистыми прядями волос, с круглыми очками, которые она не надевала,

а лишь подносила к глазам, с простым лицом английской провинциалки и статной осанкой теософствующей дамы, подставила чашку под вензельный краник скрябинского самовара. Подставила в ожидании, что ей нальют еще чаю. — Как вы сказали, это называется?.. самовар?.. Никогда не видела ничего подобного. Ой, какая я уродка! — ужаснулась она, заметив свое искаженное отражение в медном зеркале самовара.

— Ну, что вы! Вы прекрасно выглядите. У Скрябиных в обычае — пить чай только из самовара, — любезно объяснила Наталья Валерьяновна.

— Да? Надо и нам в Адъяре, нашей штаб-квартире, завести нечто подобное. Во всяком случае, для русских, которые там часто бывают.

— Так мы о чем — о Мистерии или о самоваре? — несколько раздраженно спросил Александр Николаевич: если его чем-то и привлекал застольный разговор, то лишь возможностью затронуть любимую тему.

— Простите нас, женщин! Мы неисправимы, — взмолилась Безант, как истая женщина не сомневавшаяся в том, что она заранее за все прощена.

Тем временем я, тоже присутствовавший за столом, воспользовался паузой, чтобы налить ей чаю.

— Только не доверху. — Она остановила меня, лишь только чашка была наполовину наполнена. — Я суеверна...

— А что — переполненная чашка предвещает что-нибудь нехорошее? — осведомилась Наталья Валерьяновна с уважением к странным привычкам гостыи.

— Читайте «Книгу перемен»! Как сила Инь, достигнув предела, превращается в Ян, а Ян — соответственно, в Инь, так и некое свойство, достигая полноты, обретает признаки своего упадка и деградации. Поэтому я никогда не наполняю чашку и вообще во всем предпочитаю промежуточные состояния.

— А как же пирожное? — спросил Скрябин, намекая на то, что, хотя чай она не допила, но пирожное умяла целиком.

— Ах, очень вкусное! Не упрекайте женщин в непоследовательности. Иногда они могут себе позволить... Но вы не представили мне молодого господина... — Гостыя бросила заинтересованный взгляд в мою сторону.

Я приподнялся и представился сам, не называя своего имени, чтобы не обременять им память столь знатной гостыи, а ограничившись упоминанием о том, что я скромный литератор и музыкант-любитель — amateur, как говорят французы (разговор шел на французском).

— Что же вы пишете? — со светской любезностью, рассеянно поинтересовалась гостыя, чтобы тотчас забыть то, о чем сама же спросила.

— Донесения в полицию, — произнес я тихо, убедившись, что при том мимолетном внимании, которое мне уделено, и моего громогласного ответа никто не услышит.

Параграф десятый

ШТАБ-КВАРТИРА В АДЪЯРЕ

— К тому же мой верный спутник и доверенное лицо, — добавил Александр Николаевич к моей характеристике.

— Что ж, очень мило! Вы не из полиции? — с самым невинным видом спросила гостыя.

Я чуть не поперхнулся пирожным, поднесенным ко рту.

— Почему вы так решили?

— Потому что среди четырех штатских и к тому же причастных к искусствам всегда найдется хотя бы один полицейский. Ха-ха-ха! Простите. Я люблю иногда неудачно пошутить. Женщинам в моем возрасте это позволено.

— Ну, какой наш возраст! — Наталья Валерьяновна, хотя она была вдвое моложе, из любезности уравнила себя по возрасту с гостьей.

— Мерси, — поблагодарила та с внушительным поклоном в ее сторону. — Вы тоже теософ? — обратилась она снова ко мне, считая, что из вежливости следует задать какой-нибудь светский вопрос.

Хотя ни о ком из присутствующих еще не было доподлинно выяснено, что он придерживается теософских взглядов, гостя заранее посвятила всех в теософию.

— Я только вступаю под священные своды... — Я выразился, может быть, слишком цветисто, но именно это произвело нужное впечатление.

— Замечательно! Поздравляю! Теософия — наука будущего. Вот свершится Мистерия, задуманная господином Скрябиным, и все духовно развитые люди станут теософами.

— И масонами, — добавил к этому Александр Николаевич, разумея что-то свое, может быть, не слишком лестное и для масонства, и для госты.

— Масонами — необязательно. В масонстве есть тайны, не подлежащие огласке... Однако вы, кажется, к масонству не расположены... — Анни Безант наклонилась к хозяину, чтобы расслышать все оттенки его ответа, одинаково важного для нее независимо от того, будет ли ответ положительным или отрицательным.

— Почему вы так решили?

— Мне показалось, что вы относитесь к масонству не слишком одобрительно.

— Просто настало время раскрытия всех тайн. Если Мистерия, как вы говорите, солнечная вспышка, то она видна всем, ведь и сам Христос — Солнце.

— В христианстве тоже есть свои тайны. Возьмите, к примеру, Оригена Александрийского...

— Апокалипсис срывает с тайн все покровы. Преображенному человечеству тайны не требуются. Все тайное становится явным.

— Становится, чтобы затем вновь стать окутанным дымкой тайны. Сколько дней продлится ваша Мистагогия? — Мадам Безант позволила себе слегка поозорничать, словно в ее устах любое, даже самое серьезное слово не могло пострадать от придаваемой ему шаловливой окраски.

Скрябин, рискуя показаться не слишком любезным, оставил без внимания сомнительную шалость.

— Семь дней. Первый день — предварительный, поскольку я использую для него музыку моего «Предварительного действия».

— А дальше?

— Дальше по нарастающей — крещендо.

— Дематериализация, полагаю, планируется на седьмой день.

— Совершенно верно.

— А воскресение мертвых у вас предусмотрено? Елена Петровна Блаватская — там, на небесах — этим весьма обеспокоена.

— Разумеется. Я внес ее первой в список, поскольку Елена Петровна — мой давний кумир.

— Ах, вы шутите! Но в отличие от меня шутите очень удачно. На какой же из этих дней вы пригласите меня? Все семь дней, боюсь, мне не выдержать. Я была на вагнеровских постановках в Байрейте и высидела только один день. Признаться, Вагнер мне не очень близок.

— Кто же вам близок?

Гостя испытующе взглянула на Скрябина, желая заранее отгадать, как будет воспринято ее признание.

— Прежде чем ответить, я хотела бы взять с вас обещание, что вы посетите нашу штаб-квартиру в Адьяре, неподалеку от Мадраса. Там прекрасные виды — настоящая Индия, родина упанишад. Вот где следует возвести Храм для вашей Мистерии! Между прочим, — она доверительно понизила голос, — название «упанишада» произошло от словосочетания: сидеть у ног Учителя и слушать его наставления. Вот так и я мечтала бы остаток жизни провести у ног моего любимого воспитанника Джидду Кришнамурти — воплощения Христа... Я о нем вам еще расскажу.

— Охотно даю такое обещание — посетить Адьяр...

— Прекрасно! Замечательно! Я скоро туда возвращаюсь. Будем вас ждать. И к вашему прибытию непременно раздобудем этот самый... самовар. — Она выговорила это слово по-русски, но с французским прононсом.

— Благодарю, но все же вы не ответили...

— Ах, кто мне близок? В таком интимном кругу я могу признаться. — Она обвела глазами комнату, явно не желая делиться своим признанием с кем-то помимо нас. — Из творцов Музыки — великой Музыки, Музыки с большой буквы — мне ближе всех... Жюль Массне. Я обожаю его «Элегию».

После этих слов со стола что-то упало, но мадам Безант не приняла это на свой счет, словно падение неизвестного предмета целиком на совести того, кто случайно задел его рукой.

Параграф одиннадцатый

У ШТАЙНЕРА

— Ах, зачем вы встречались с этой несносной Безант! — В уголках рта у Рудольфа Штайнера обозначились глубокие складки, свидетельство досады и раздражения, и на лоб свесился клок волос, не желавших быть хорошо уложенными и разделенными ровным пробором. — Ведь она, простите меня, — блудница. Астральная блудница! Вы думаете, таких не бывает? Бывают! И почтенная Анни Безант — одна из них.

— Как же это согласуется с тем, что Безант — председатель Теософского общества и видная фигура в масонстве? — спросил Скрябин не столько из любознательности, сколько из желания смягчить слишком резкие высказывания хозяина Гётенаума, принимавшего их в особой комнате на втором этаже.

— Прекрасно согласуется! Ведь и дьявол — великий согласователь: любит выступать в образе Ангела Света.

В минуты зарождающегося протеста и желания возразить Александр Николаевич всегда старался быть предельно корректным и выдержанным.

— Прежде чем согласиться или разойтись с вами во взглядах, я хотел бы услышать ваши доказательства. Как-никак затронута репутация женщины. — Он зачем-то тронул идеально завязанный галстук.

— Извольте, любезный Скрябин. — Штайнер откинул назад и ладонью выправил свесившиеся со лба волосы, как яхтсмен выправляет парус слишком накренившейся яхты. — Она, по существу, извратила самую суть христианства. Она возит повсюду этого мальчика — несчастного Кришнамурти и величает его новым Христом, не понимая своим бабьим умишком, что Христос — единственный и что Он явился раз и навсегда. Все же Его так называемые воплощения — это лжехристы и антихристы. Теперь вы согласны? — Штайнер прямо посмотрел на Скрябина, но прежде чем дать ему ответить, счел нужным добавить: — Антропософия всегда чтит и будет чтить Христа превыше всяких там Будд и Зороастров.

— Пожалуй, пожалуй, согласен, хотя и не без некоторых оговорок. Но все же честь дамы... — Скрябин окинул взглядом Наталью Валерьяновну, тем самым показывая, что он и ее включает в число защищаемых дам.

Та с благодарностью тронула его руку.

Тем временем смуглолицый прислужник в лиловой чалме принес на подносе чай. Это заставило собеседников ненадолго замолкнуть, а затем возобновить разговор в более спокойном тоне.

— Наверное, она звала вас к себе в Адьяр. Но знайте, что лучшего места, чем наш швейцарский Дорнах вам для Мистерии не найти. Храм должен быть здесь, рядом с Гётенаумом. Гётенаум, собственно, мог бы послужить для него образцом и по своей архитектуре, и по ее, так сказать, наполнению. Подумайте об этом.

— Представьте себе, уже думал. Я тоже поначалу выбирал между Швейцарией и Египтом. Швейцария мне очень близка. Здесь я когда-то начал проповедовать мое учение, иногда даже с лодки, как Иисус. Но все же со временем остановил свой выбор на Индии...

— Подозреваю, это все Блаватская, «В дебрях Индостана»! — В уголках рта у Штайнера вновь обозначились глубокие складки. — Ох, и намутила она в духовном плане своими книгами!.. Высокоталантливыми, конечно же, но все-таки — намутила.

Скрябин счел своей обязанностью вновь защитить даму.

— Я с большим почтением отношусь к Елене Петровне Блаватской. Чтение ее книг — целая эпоха в моей жизни. Они так много мне дали для осмысления Мистерии.

— Вот и напрасно. — Штайнер явно обиделся на то, что собеседник засвидетельствовал свое почтение к Блаватской, а не к нему. Обиделся и даже отвернулся, помешивая ложечкой чай и разглядывая что-то в полукруглом окне. Затем снова повернулся к Скрябину и произнес задумчиво-умиротворяющим тоном: — Однако заморосило... Знаете ли, люблю смотреть, как тропинки нашего парка мокнут под дождем. Это напоминает мне детство. В детстве я ведь часто болел, надо вам заметить. В ненастную погоду родители меня не пускали гулять. И я подолгу смотрел в расчерченное дождем окно, водя пальцем по стеклу и мечтая об иных мирах. Когда мне было девять лет, мне явился дух моей тети, о чьей смерти мы еще ничего не знали. Это было началом моего духовного опыта. — Рудольф Штайнер поник головой и тотчас вскинулся, чтобы не упустить важную мысль. — Мне неловко вам об этом напоминать, господин Скрябин, но все-таки вы европеец, и ваша Мистерия, как вы мне ее красочно описали, — творение европейского ума, воспитанного на Апокалипсисе Иоанна Богослова. Восток же при всей его изощренной мудрости этого не знал. Кстати, кто вы по сословной принадлежности?

— Потомственный дворянин...

— Вот видите! Вы — аристократ и при этом еще — аристократ духа, и вам негоже этот ваш дух растворять в буддийской нирване. Как вы понимаете, я очень ценю, высоко ставлю буддизм и прочие восточные учения, но все же воскресение мертвых свершится для нас по Евангелию и Символу Веры, а не по проповедям Сиддхартхи Гаутамы Будды.

— Вы правы, но я бы сделал одно уточнение...

— Какое же? — На лице Штайнера отобразилась вежливая готовность внимательно выслушать собеседника.

Скрябин произнес с убежденностью:

— Воскресение свершится и по Евангелию, и по проповедям восточных мудрецов. Многое из этих проповедей с Евангелием согласуется.

— Да, но не забудьте при этом, кого мы только что называли согласователем. — Довольный своей шуткой, Штайнер рассмеялся надтреснутым, суховатым смешком.

Мы с Натальей Валерьяновной, не вступая в беседу, с почтением слушали все, о чем говорили Штайнер и Скрябин. И чем дольше они беседовали, тем яснее становилось и нам, и каждому из них самих, что говорят они, может быть, и об одном, но на совершенно разных языках.

Параграф двенадцатый ФЕДОРОВ!

Когда мы возвращались по парку, нам навстречу из окутанной туманом глубины аллеи, из дождливого облака-морока выплыл призрак, впрочем, слишком полнокровный, чтобы и впрямь быть призраком, с винно-красным лицом, по виду швейцарец, но с таким изрезанным глубокими морщинами лицом, какие бывают только у русских стариков.

Когда мы с ним поравнялись, он, цепко всматриваясь в нас (в каждого — поочередно), сказал на швейцарском немецком:

— Ну, и дождичек зарядил, однако, — а затем, вдруг перейдя на русский, спросил: — А вы, господа, кто же будете? Чаю, тоже русские?

— Почему — тоже?

— А потому что и я — русский, дядя Коля. Если по батюшке — Николай Федорович. ТутOSHня фамилия моя немецкая — Вендт, а так я русский. Вернее сказать, иностранец Василий Федоров, как там у Гоголя сказано. Но моя душенька покуда живая, хотя сам я и умирал. Умирал — на самую малость, на мизинчик. Да и не смерть это была, а скорее, самовнушение: волна таких смертей прокатилась по России. Толстой ведь тоже не умер, а проповедует в Томске, как некогда старец Федор Кузьмич. Да и многие другие, не столь известные... Так же и я, как они, честь по чести воскрес и переселился духом в Швейцарию. Ну, а дух мало-помалу облекся плотью. Вот и вышел гоголек — иностранец Федоров. Ха-ха-ха! Сказано аккуратно обо мне, хоть я и лавку не держу, вывески у меня нет, а живу тут в пещерке неподалеку. Добрые люди мне еду приносят, а то и денжат немного подкинут... м-да... добрые-то — они везде есть.

За этим скрывалась невысказанная просьба о денежном вспоможении. Я достал кошелек, отсыпал в ладонь мелочь и протянул ему.

— Вот возьмите...

— Хоть и не густо, но благодарствую.

— Дали бы больше, но самим нужны.

— Знаю, знаю. Вы под Европу динамит закладываете, конец света готовите...

— Откуда вам это известно?

— А от его превосходительства верблюда.

— Какого еще верблюда и к тому же превосходительства? — спросил я, чтобы не вынуждать Скрябина задавать этот банальный вопрос.

— Тут в зоопарке верблюд один есть, который ростом всех прочих зверей превосходит. Он о каждом все знает...

— Передавайте привет тому верблюду.

— Передам, передам. Я его часто навещаю. Очень люблю бывать в зоопарке и наблюдать там различные породы — и зверей, и, особенно, людей. Немцы туда ходят ради пива с сосисками. Наедаются так, что штаны у них по шву лопаются. Позвольте откланяться.

Он на прощание снял перед нами шляпу, но мы немного помедлили перед тем, как уходить.

— А вы не тот ли Федоров, который дело себе придумал: мертвых воскрешать? — на этот раз спросил Скрябин, не желая уступать этот вопрос мне.

— Почему же только себе — всем. Это дело — общее. Все мы за умерших отцов в ответе.

— Как же без Бога-то воскрешать? — спросила Наталья Валерьяновна, столь же неуступчивая в подобных вопросах.

— А так, что есть три воскрешения. Первое — трансцендентное. Оно — от Бога. Второе — имманентное — от овладения человеком тайнами природы. И третье — от гения, реющего в пространствах космоса и способного воскресить мертвых силою своего творческого вдохновения, то есть экстаза и божественной игры.

Тут мы трое переглянулись — слишком близок был этот ответ одному из нас. Но все же требовалось спросить, чтобы точно выяснить, кого именно имеет в виду Федоров (в том, что это был он, мы уже не сомневались).

— И кто же этот гений?

— Ась? — Федоров приблизил ладонь к уху.

— Кто он, гений-то? Кто?

— А вы у того верблюда поинтересуйтесь.

— До верблюда нам не добраться. Идти далеко. Может, вы нам скажете?

— Отчего же не сказать? Скажу на прощание. Вот он передо мной стоит, а вы над ним зонты почтительно держите. Господин Скрябин собственной персоной! Он тот гений и есть. Скоро воскрешенные им гуртом повалят — только успевай расселять их по другим планетам.

Дождь вскоре затих. Я закрыл оба зонта, которые держал над Скрябиным и над Натальей Валерьяновной (зонты эти через своего слугу в лиловой чалме любезно прислал нам вдогонку Штайнер). В конце аллеи мы увидели воробья, пьющего дождевую воду со столика кафе, и осу, ползающую по чашке.

Скрябин долго смотрел на них, а затем произнес:

— Вот чего мне будет жаль, когда всему наступит конец. Воробей и оса... Тоже своего рода Мистерия!

Мы его тогда не поняли, поскольку сверху уже не лило и не накрапывало, но приходилось думать о том, что под ногами так сыро, и старательно обходить лужи с плавающими в них желудями и сосновыми иголками. Но через год, в один из Дней Мистерии, я вспомнил...

Вспомнил дождливую аллею, плавающие в лужах иглы и желуди, это маленькое кафе с убранными под навес стульями, вынесенное почти за пределы парка, чтобы, утоляя жажду и голод, посетители — праздная публика — не нарушали покой Гётенаума.

ДОНЕСЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Достопочтимый Валентин Анатольевич!

Хочу заранее Вас уведомить. Это донесение содержит сведения о нашем пребывании в Англии, где мы оформляли бумаги, позволяющие купить участок земли на берегу священного Ганга, о посещении нами штаб-квартиры Теософского общества в Адьяре и прочих событиях, связанных с подготовкой к первому Дню.

После моего предыдущего донесения угадываю Ваше желание, чтобы я несколько прояснил вопрос о воскресении и той роли, которую призван сыграть в нем Скрябин. Спешу его выполнить, как всегда был внимателен к Вашим желаниям — и высказанным Вами со всей присущей Вам деликатностью, и невысказанным, но угаданным мною по некоторым признакам.

Возможно, прояснение вопроса немного смягчит Ваше отношение ко всему проекту, и Скрябин для Вас перестанет быть преступником, от чудовищных злодеяний которого надлежит спасти человечество, и Вы вспомните, что он всего лишь музыкант, хотя и с наполеоновскими замыслами. Но что такое замысел композитора — мелодия, пусть даже мелодии в позднем творчестве Скрябина сжимаются до точки и служат продолжением гармонии, рождающейся не столько из созвучий, сколько из обертонов, напоминающих, по мысли одного вдумчивого исследователя, звучание полых металлических предметов, и прежде всего колоколов.

Да, поздний — мистериальный — Скрябин весь насквозь пронизан колокольным звоном, так сказать Ростовом Великим, но это специальный вопрос, и мы в него вдаваться не будем.

Вернемся к тому, что, помимо начала отрицательного — сотрясения основ мировой и, что особенно для Вас важно, русской цивилизации, в проекте Скрябина присутствует момент положительный. Под ним я разумею событие, о котором в Никео-Цареградском символе веры сказано: «Чаю!..» Я даже осмелился поставить тут восклицательный знак, поскольку речь как-никак идет о воскресения мертвых и жизни будущего века, а это придает нашим чаяниям сокровенный и восторженный характер.

Эти слова — «чаю воскресения мертвых и жизни будущего века» — упомянутый символ обязывает произносить каждого верующего, в том числе и Вас, многоуважаемый Валентин Анатольевич. Что же касается сотрясения основ, то, по мысли одного моего просвещенного друга, для Запада это катастрофа, для нас же, может, и благо. Мы через оную катастрофу зрим эту самую жизнь будущего века, для нас исполненную невыразимой — сладчайшей — приятности, как сладостен сам Иисус, по словам посвященного ему акафиста.

Лишь одно меня, признаться, беспокоит. Использованное мною чуть выше по отношению к Скрябину выражение — играть роль — мне не шибко-то нравится: все-таки роли играют на сцене. В истории же выполняют миссии или данные свыше поручения, хотя во всем этом так же присутствуют игра и даже некое позерство (достаточно вспомнить Наполеона, выхватывающего императорскую корону из рук папы римского).

Присутствует, достопочтенный Валентин Анатольевич, присутствует (куда ж тут денешься!). Поэтому я не отказываюсь от данного выражения.

Ваш покорный слуга отдает себе отчет в том, что воскресение как действие скрябинской Мистерии, сопровождаемое громовыми раскатами оркестра, светомузыкой, исполняемой по особой строке партитуры (она обозначена итальянским словом *luce* — свет), танцевальными движениями, похожими на балетные па, симфонией ароматов и прочими выразительными средствами, было бы кощунственно приравнять к спектаклю. Не «театральность», а «заклинательность» — вот девиз Скрябина. Соответственно, и актеры у него не играют, а вершат священные магические ритуалы. Он сам говорит об этом: «Моим актерам придется забыть все свои театральные навыки и приемы и научиться чему-то другому».

Чему именно научиться, Скрябин не уточняет, поскольку другое — там, за чертой, как некое инобытие театральной сцены, актерских движений и жестов.

Отсюда и идея экспериментальной театрально-хореографической студии, о которой рассказывает близкий к Скрябину Анатолий Дроздов, пианист, композитор, музыкальный критик: «У Зилоти, принимавшего деятельное участие в музыкальной жизни того времени и близко связанного со Скрябиным, возникла мысль привлечь меня в качестве директора музыкально-драматического училища Филармонического общества (на место уходящего А. А. Брандукова) и создать в училище, при ближайшем моем содействии, как бы лабораторию оркестровых проб для музыки скрябинско-

го „Предварительного действия“. Меня глубоко волновала и привлекала перспектива вплотную подойти к лаборатории скрябинского творчества, способствовать реализации новой величественной художественной идеи. Действовали гипнотизирующие нашептывания Скрябина (говоря о своих заветных сюжетах, он обычно понижал голос) о новых, небывалых музыкальных средствах, тембрах, об экстатических танцах, фимиамах... Более же всего влияли излучаемые его пальцами фантастически-зыбкие музыкальные прообразы будущего „Предварительного действия“. Это были совершенно новые — даже в плане скрябинского творчества — звуковые открытия. Музыкальная ткань упростилась, лаконизировалась. Одновременно конденсировалось и по-иному окрасилось музыкальное содержание. Появилось ощущение глубокого трагизма (некоторые из этих фрагментов, по-видимому, позднее были зафиксированы в миниатюрах 60-х и отчасти 70-х опусов). Мои колебания исчезали, я склонен был включиться в орбиту скрябинского пути. Но перспективам этим не суждено было осуществиться: росчерком пера „августейшей“ покровительницы Филармонического общества все проекты обновления училища были отвергнуты».

Не будем никого осуждать и тем более придавать росчерку «августейшего» пера губительное значение. Может быть, в этом росчерке заложена здравая и даже спасительная мысль.

Лабораторные опыты не выносятся на сцену, и нашептывания Скрябина — не для зрительного зала, а для интимного круга посвященных. Задуманная же Зилоти студия все-таки предполагала известную степень публичности. Волей-неволей пришлось бы смириться с тем, что не обошлось бы без присутствия любопытствующих, случайных зевак и т.д. Но в тоже время понятие игры столь универсально, оно затрагивает такие космические и божественные сферы, что совсем отказаться от него нельзя — решительно невозможно.

Тем более что сам Скрябин, как театральный режиссер-демиург, иногда мыслит актами своего мистического спектакля: «Эта вещь священная, последняя пляска перед самым актом, перед моментом дематериализации» (отзыв о Седьмой сонате).

Вот вам, пожалуйста: пляска перед самым актом! А акт есть игра — и на сцене, и во вселенной.

Теперь о главном, если позволите, — о видах воскресения. Возможно, такой постановкой вопроса я Вам не угодил, и она Вас несколько возмутит или даже слегка покоробит при Вашей чувствительности к оттенкам слов. «Какие там еще виды! — воскликнете Вы. — Воскрешайте, и дело с концом! Классификаций Дарвина и таблиц Менделеева нам еще тут не хватало!»

Менделеев и Дарвин Вам обычно приходят на ум, если кто-нибудь слишком уж дотошно и наукообразно выписывает (выкадриливает) полицейские протоколы, растекаясь мыслью по древу, увязая в подробностях и упуская самую суть.

Но все не так просто. Человечество к нашему веку накопило некий опыт воскресения, если не практический, то теоретический и готово представить на рассмотрение высших полицейских чинов простенькую классификацию.

Уверяю Вас, простенькую! Совсем простенькую! Но Вы ее, почтенный Валентин Анатольевич, уж будьте так добры — не отвергайте, под сукно не прячьте. Как-никак наука. А наукой негоже гнушаться даже тем, кому по воскресении мертвых придется собирать свой скелет из полусгнивших костей, выискивая для каждой косточки лишь ей одной положенное место. Без науки — хотя бы самых примитивных представлений об анатомии — тут никак не обойтись. А то этак берцовую кость можно приладить на место лопаточной. Выйдут конфуз и несообразность!

Поэтому я как полномочный представитель человечества классификацию Вам на подпись-то и представляю. Извольте окунуть перо в чернильницу и размашисто начертать: утверждаю!

Первый вид воскресения — трансцендентный, от иной реальности, от Бога, такой, как описано в Библии. Человечество с его умишком и всякими научными поползновениями к нему никакого отношения не имеет. Все свершается по Божьему соизволению. Как и когда Он решит — так и будет: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога», — со стенанием восклицает страдалец Иов.

Из этого следует, что кожа у нашего Иова распадается, лопается, обвисает клочьями на теле, но Всевышний латает ее, как портной прохудившуюся ткань. И вот уже Иов, вновь обретший свою плоть, воочию видит Бога. Чудо, непостижимое, превосходящее земную реальность и, как мы уже сказали, трансцендентное!

Второй вид воскресения — имманентный, внутренний, от человека. Тут уже наука развернется во всей своей красе и творческой мощи. Его и имеет в виду Федоров, чью «Философию общего дела» я изучил, хотя эта работа составлена его учениками из отдельных статей, порою написанных не то чтобы темно, но под простонародный говорок, с прибаутками, не всегда уместными и подчас затемняющими смысл.

По мысли Федорова, эта самая наука, на которую он уповает, как на манну небесную или перепелов, посылаемых Богом оголодавшему, хотя и избранному народу... эта наука столь глубоко проникнет в сокровенные недра материи и тайны клетки, что обретет власть над ними и сможет оживлять — воскрешать — умершую плоть.

Иными словами, откладывать бесценные — чистого золота — перепелиные яйца.

Но есть и третий воскреситель — композитор Скрябин, обладающий сверхчеловеческой (во всяком случае, на его усмотрение) способностью слышать биение пульса Вселенной и выражать это биение звуками. Поэтому его музыка способна воздействовать на космические процессы и приближать их во времени. Средства этого воздействия — мечта и экстаз. Мечта не вялая и бездейственная, а активная и динамичная. Соответственно, и экстаз — не чей-то индивидуальный, а всеобщий, присущий всему человечеству, к тому же окрашенный космическим эросом, который Скрябин столь вдохновенно передавал в звуках.

Подобного подхода к воскресению мир еще не знал: это неслыханная новость. Да и сама музыка, и особенно фрагменты из Предварительного действия, которые он играл своему другу Леониду Сабанееву, и отрывки из Мистерии, исполненные для нас с Натальей Валерьяновной на расстроенном пианино, поражают своей неслыханной новизной. Такая музыка не могла возникнуть просто так. Это — не образец обычного композиторского творчества, а та самая музыка бытия, которую первым расслышал и воплотил в нотных знаках Скрябин. И нам остается только ждать, какой из видов воскресения выберет Бог, трансцендентный, имманентный или скрябинский, основанный на мистериальном экстазе, ведь в конце концов именно Он — Всевышний — вершит судьбы человечества.

Позвольте заверить Вас в нижайшем почтении и неизменной преданности (подпись неразборчивая).

Параграф первый

С ОФОРМЛЕНИЕМ БУДЕТ ПРОЩЕ

В Англии Скрябина помнили по шумному успеху его выступлений 1914 года. Да и сам он хорошо запомнил этот год и по этой, и по другой причине: именно тогда, в Лондоне, перед одним из концертов у него начались неприятности с фурункулом.

Но — обошлось, и Александр Николаевич воспрянул духом. Потери были небольшие и восполнимые: Скрябин лишился части правого уса (ближней к носу, как он не без юмора писал жене). А через год тот же фурункул, вновь обнаружившись, свел его в могилу...

Англичане об этом ничего не подозревали. Для них это были не просто гастроли, а своеобразный русский триумф и апофеоз, который они никогда не допустили бы в политике, но в искусстве... пусть. В политике для них, как и в патриотизме, есть немного педантизма и излишней щепетильности. (И их немного удивляет, что Скрябин проводит целые дни в лондонском парламенте и с немалым интересом выслушивает дебаты по ирландскому вопросу.) Искусство же — как шутовство, колпак с бубенчиками или, напротив, темные мистические откровения — существует для их же, англичан, озарений, восторгов, приятности и развлечения.

Пусть русские в искусстве себя покажут: это не так уж страшно и нашим устоям ничем не грозит, а мы посмотрим, послушаем, благодушно похлопаем и — себе на уме — оценим. Сама-то Англия своей музыки, считай, не создала: ей бы с Шекспиром и Байроном разобраться, а заодно и мотки пряжи повыгоднее продать, сбить подороже бочки яблочного сидра и мелкую галантерею — булавки, ленты, перчатки и шарфы — вывести хитроумным способом на крупного покупателя.

Русские же свой товар сбывать не особые мастера — он у них годами залеживается. Но зато они в дополнение к Толстому и Достоевскому (кто из этих двоих Шекспир, а кто больше тянет на Байрона?) и свою музыку создали. Причем музыку неслыханную, небывалую, фантастическую — взять того же Скрябина, который, кстати сказать, ненавидит Германию с ее танками и отравляющими газами (с четырнадцатого года в мире полыхает война) и мечтает о духовном союзе России и Англии!

Вон куда замахнулись — на Мистерию, конец света задумали возглашать, как этот изящный джентльмен с бородкой маркиза, коком и пушистыми усами! Ему бы как истинному денди стать законодателем моды (вроде признанного короля денди Браммела) на жилеты и фраки, а он законодательствует, устанавливает свои порядки... во Вселенной, не спрашивая на то согласия Бога, а хватая Его за бороду!

Примерно так два года назад писали о Скрябине газеты, и вполне respectable, и бойкие бульварные газетенки — все были в восторге. Заезжим знаменитостям лондонцы обычно оказывают сдержанный прием, а тут — овации публики, фотографии на первых полосах газет и многочисленные интервью.

Скрябина славят и чествуют все, кто имеют хоть какое-нибудь отношение к музыке. Девочки с нотными папками смотрят на него широко раскрытыми, восторженными глазами. Его зазывают к себе как собрата и с нетерпением ждут лондонские теософы. Он получает от Уоллеса Римингтона, инженера и художника, описание изобретенного светомузыкального инструмента — с чертежами, схемами и подробными расчетами.

Мало того! Психолог и физик Чайлз Майерс, аплодировал Скрябину с поднятыми над головой руками на исполнении «Прометея», а затем зазвал его к себе в Кембридж, где они проговорили целый день о светомызыке и цветном зрении.

Все это дало Александру Николаевичу повод сказать: «Я теперь убежден больше, чем когда-либо, что только в союзе с Англией я смогу продвинуть и Мистирию». Или, во всяком случае, поставить здесь «Предварительное действие». В англичанах с их «религиозным практицизмом» он готов видеть надежных союзников. Индия же отсюда кажется совсем близкой...

И снова визиты фотографов с их треногами, вспышки магния и интервью, интервью...

В них Скрябин гибко лавировал, отвечая на самые каверзные вопросы, приговаривая при этом, что давать подобные интервью — не грибы в лесу собирать, выковыри-

вая их палочкой, чтобы не нагибаться и не морщинить попусту тщательно отглаженный сюртук. Александр Николаевич и в этом оставался франтом, а рыжики и грузди на засолку... На них другие охотники найдутся...

Вот и сейчас по прибытии в Лондон мы втроем решили, что Скрябину стоит выступить с концертом и тем самым напомнить о себе. Ведь могли просочиться слухи, что он умер и похоронен в Новодевичьем монастыре, под могильной насыпью с осмиконечным крестом, выбитым на мраморной доске именем и датами жизни. Слухи явно ненужные, но они же могут оказаться нужными и даже полезными, если их, как мелкую галантерею, вывести на Мистерию.

Иными словами, публично их опровергнуть, таинственно сославшись на то, что Мистерия уже сейчас вершит свое великое дело победы над смертью и воскрешения умерших.

Вот, мол, Скрябин, причисленный к мертвецам, на самом деле жив, концертирует по Европе и завтра выступит в Квинс-холле Лондона!

Ну, пусть и не в Квинс-холле, а в зале поменьше и не столь роскошном. Пусть... пусть... тем более что Александр Николаевич как пианист по-настоящему раскрывается и творит чудеса даже не в больших залах, где публика заполняет партер, ложи и амфитеатры, а для узкого кружка избранных и посвященных.

Англичане, при всем своем скептицизме все же падкие на сенсации, с восторгом это проглотят. А тогда и с оформлением купли участка на берегу Ганга будет гораздо проще. Чиновники Министерства колоний от умиления прослезятся и мигом подпишут все бумаги. Участок для Храма как созревший плод сам упадет в руки: это, конечно, мечты и благие надежды, но подобные мечты сбываются...

Связались с импресарио господином Кристофером Марло (тезкой известного поэта и драматурга, предшественника Шекспира). И вот уже по центру Лондона расклеивают свежие, дивно пахнущие типографской краской афиши. Мальчишки — продавцы вечерних газет, размахивая ими, выкрикивают: «Сенсация! Слухи о смерти композитора Скрябина оказались ложными! Русский музыкант собирается снова покорить Лондон!»

Александр Николаевич сует мальчишке несколько пенсов, на ходу разворачивает газету и пробегает глазами свое данное утром в гостинице интервью:

— Так-так... что я тут наговорил? Снова комплименты английской публике, расшаркивания и реверансы...

— Что ж ты ее так хвалишь, эту буржуазную публику? — спрашивает Наталья Валерьяновна, придерживая шляпу от ветра (сентябрь заканчивается дождями и непогодой). — Плеханов бы тебе этого не простил.

— Здешняя публика, как породистая собака, хоть и чванлива, но похвалу — вместе с кусочком сахара — на этот раз заслужила.

Наталья Валерьяновна порывисто выхватывает у него из рук газету.

— Дай-ка и мне взглянуть.

— Вот изволь... Хотя женщинам приятно, когда хвалят их избранных, и оставляет равнодушными, если их избранный кого-то хвалит.

— Не пытайся говорить афоризмами. Ты не Фридрих Ницше.

— Я больше, чем Ницше. Я — Заратуштра!

Параграф второй ОСКАНДАЛЮСЬ!

В интервью Александр Николаевич не устал повторять, что его несказанно радует и даже окрыляет то, с каким восторгом англичане принимают созданные им за послед-

ние годы сочинения, и особенно «Прометей», впервые исполненного два года назад оркестром под управлением Генри Вуда (фортепианную партию исполнял сам Скрябин). Это явное предпочтение, отданное позднему Скрябину перед ранним, по мнению Александра Николаевича, свидетельствовало не просто об искушенности английской публики, но о ее способности подняться выше меломанских воздыханий и постигнуть эзотерическую сущность музыки.

Англичане же все эзотерики — если не масоны, то теософы (но и масоны тоже). И в искусстве не столь наивны и легкомысленны, как мадам Безант. Тут «Элегией» Массне не обойдешься. И ему, как коробейнику Садко из оперы Римского-Корсакова, приходится выкладывать все товары, а не припрятывать их в надежде на лучшего и более достойного покупателя.

Перед концертом Скрябин, как всегда, отчаянно нервничал и волновался. Потирая руки (холодные, словно ледышки, — как он такими руками будет играть!), ходил взад и вперед по артистической, привычно повторяя свою давнюю присказку: «Оскандалюсь! Наверняка оскандалюсь!»

Попросил меня налить и выпил шампанского — несколько глотков, чтобы погасить волнение. Хотел выпить и больше, но Наталья Валерьяновна отняла бокал. Перекрестился (в Москве перед концертами тетюшка Любовь Александровна его всегда крестила).

— Ну, с Богом...

И стремительно вышел на сцену.

Параграф третий В МИНИСТЕРСТВЕ КОЛОНИЙ

За окнами нашей гостиницы, расчерченными пузырьчатыми струйками дождя, ветер гнул деревья столетнего парка, срывал с них красные зубчатые листья, собирал их ворохом, взметал, выдувал из них причудливые фигуры, кружил, как волчки с наклонной осью, и свивал в жгуты.

Несмотря на непогоду и промозглую сырость, мы решили не откладывать посещение Министерства колоний и направились туда на следующий день после концерта.

Скрябин оделся по-осеннему, закутался в шарф и прихватил большой английский зонт, повесив его на локоть. Зонт был великоват для Александра Николаевича при его невысоком росте и миниатюрном телосложении и придавал ему сходство с описанным Диккенсом или кем-то из его подражателей сироткой, которому все покупают на вырост.

Мы с Натальей Валерьяновной тоже взяли зонты, хотя и поменьше, первыми вышли из номера и вызвали лифт. Его озеркаленная, отливавшая лаком кабина с рядами перламутровых кнопок спустилась к нам сверху, словно посланная Богом как чудо цивилизации с самых высоких небес. На улице перед гостиницей мы остановили черный кеб, напоминавший погребальные дроги, и назвали вознице адрес. Лошадки тряхнули холками, всхрапнули, и наши погребальные дроги, мягко покачиваясь на рессорах, покатали в сторону Министерства колоний.

Это было правильное решение.

Вчерашний концерт имел успех. Утренние газеты с откликами лежали на столах у чиновников, рядом со служебной корреспонденцией, и нас не только сразу узнали, но и учтиво поздравили. Для этого нас проводили по коридору с антресолями, гардинами на окнах, винным запахом старинного, слегка подгнившего дубового паркета и пригласили в особую комнату для приема гостей.

Там на столе серебром, хрусталем и бронзой сияли начищенные приборы. Белели конусы салфеток различной величины — от больших до самых маленьких. Лежали открытые коробки с гавайскими сигарами и пепельницы в виде черепашек.

По телефону вызвали фотографа и попросили нас запечатлеться, что было особенно лестно, поскольку подобную честь, надо понимать, оказывают не каждому.

Обступившие нас чиновники со всех этажей просили у Скрябина автографы и без конца расспрашивали о вчерашнем концерте: их, радовавшихся случаю отвлечься от служебных дел, интересовали самые мелкие подробности.

Пришлось рассказать и об опасении оскандалиться, и о холодных, как ледышки, руках, и о глотках шампанского и даже перечислить опусы, включенные в программу. Хотя Александр Николаевич уж толком и не помнил, что вчера играл, настолько в голове у него все перемешалось (шампанское после концерта, конечно, допили). Чиновники все дотошно записывали, чтобы рассказать дома или поведать кому-нибудь в клубе за чашкой бразильского кофе с хрустящим, ломким печеньем.

Скрябин не помнил, я же могу засвидетельствовать, что он включил в программу ранние прелюдии, мазурки, знаменитый вальс из опуса 38, Третью и Девятую сонаты. А на бис даже исполнил отрывки из только что законченной Мистерии — вступительные колокола, под благовест которых шествуют народы, музыку третьего, шестого и седьмого Дня.

Успех был оглушительный.

Скрябина без конца вызывали. Таинственная незнакомка послала ему корзину голландских тюльпанов с изображением жуткой венецианской маски на визитной карточке, без имени и даже инициалов.

Какая-то надушенная дама, перебивавшая на груди жемчужные бусы, как бурая белка из Гайд-парка шелушит в лапках орешки, после концерта протиснулась к нам сквозь толпу, собравшуюся возле артистической, преподнесла Скрябину букет роз и интимно поведдала: «Когда я вас слушала, я чувствовала, что дематериализуюсь».

Скрябин рассказывал об этом со смехом, но чиновники восприняли все серьезно и глубокомысленно. Они даже поинтересовались, была ли дематериализация полной или после нее остались детали одежды, украшения, жемчужные бусинки, шпильки для волос и прочая мишура.

Александр Николаевич и тут нашелся. Он извлек из кармана шелковый платок и молча, с таинственным видом продемонстрировал, словно это было все, что осталось от дамы. Эта шутка была встречена дружным смехом и даже аплодисментами, после чего нас пригласили к столу.

Параграф четвертый **ЕЩЕ РАЗ О ЗАГАДОЧНОМ СЛУЧАЕ**

Разрешение на покупку земли для Храма нам выдали без всяких проволочек — только просили немного подождать, пока все подпишут, проставят печати и поддержат бумаги под прессом, чтобы они не скатывались в трубочку.

В комнату тем временем внесли на подносе кофе и маленькие пирожные. На всякий случай участливо, с вежливым пониманием спросили: «Может быть, мужчинам коньяк?», но мы со Скрябиным отказались: у нас и после шампанского была с утра мигрень.

Кто-то поинтересовался, почему нас столь влечет именно Индия как самое подходящее место для Мистерии. Скрябин ответил, что ему ради особого эффекта необходим именно тропический климат, чтобы можно было использовать все природ-

ные силы, всю гамму оттенков различных погодных состояний — от майского сезона дождей, влажной, туманной, пасмурной духоты до сухой жары, вызванной палящим в безоблачном небе солнцем.

— Пусть погода Индии тоже участвует в синкретическом действе моей Мистерии, — сказал он по-французски, а я перевел на английский.

В углу стоял беккеровский рояль, и Скрябин попросил разрешения поиграть.

— Конечно, конечно, — ответили ему чиновники и с преувеличенной — шутливой — опасливостью спросили: — Надеемся, мы при этом не дематериализуемся?..

— Что вы! Что вы! Вам это не грозит, — заверил Скрябин, приподнимая крышку рояля и легким касанием пробуя клавиши: он не любил идеального звучания инструмента и мог захлопнуть крышку, если рояль был слишком хорошо настроен.

Александр Николаевич предпочитал, чтобы идеальное звучание создавалось не настройщиком, а им самим.

На этот раз ему повезло: по словам чиновников, рояль не знал настройщика больше полугода. Скрябин заиграл вальс из вчерашней программы. Министерство колоний вежливо слушало, ожидая, когда начнется обещанная дематериализация.

— Почему же нам не грозит, как вы сказали? Мы, собственно, готовы...

— Могу я узнать, в чем выражается ваша готовность? Или это не подлежит огласке?

— Об этой готовности свидетельствуют некие случаи из нашей жизни — предвидения и предчувствия...

— Какие же?

Чиновники хотели привести примеры, но их перебили.

— А в вашей жизни бывали всякие загадочные случаи? — спрашивает сухопарая дама в кружевной мантилье, со сложной прической, секретарша одного из начальников.

Скрябин взглядом умоляет Наталью Валерьяновну ответить вместо него. Та изящно отвлекает внимание дамы на себя и на историю из разряда загадочных, которую ей приходилось рассказывать уже не первый раз:

— В 2012 году семья Александра Николаевича переехала в двухэтажный дом по адресу: Большой Николо-Песковский переулок. Это в центре Москвы, неподалеку от Кремля, на Арбате. С домовладельцем Аполлоном Аполлоновичем Грушка никак не могли сойтись по срокам проживания в доме. То ли его фамилия не нравилась, поскольку Скрябин очень не любит груши и уменьшительно-ласковые — на украинский лад — фамилии, то ли имя Аполлон Аполлонович корбило ему слух своей помпезностью. Знаете, какие бывают имена!

— Я, к примеру, почему-то не люблю имя Ричард, — благосклонно согласилась дама.

— Так или иначе, Александр Николаевич настоял на дате 14 апреля 2015 года: «Больше здесь не проживу!» В договоре поставили эту дату. И оказалось, что это как раз день его... — на полуслове обрывает свой рассказ Наталья Валерьяновна, заметив, что Скрябину он не очень нравится.

— Его смерти? Так он все же умер? — спрашивает дама, поставленная этим рассказом в тупик.

— Ну, как бы это сказать... не совсем... — Наталья Валерьяновна пытается обойти стороной щекотливый вопрос.

— Нет, пожалуйста, не скрывайте. Будьте с нами откровенны. Умер или не умер, в конце концов? Мне это необходимо точно знать!

— Успокойтесь. Скрябин не умер. Вот же он перед вами стоит! Живехонек!

Александр Николаевич невольно выступил на шаг вперед, чтобы всем своим видом соответствовать описанию рассказчицы.

— В чем же тогда смысл этой истории?

— А смысл в том, что дематериализация подчас приобретает самые причудливые формы, — нашлась Наталья Валерьяновна.

— Ах вот оно что!.. — Дама стала успокаиваться.

— К тому же еще не время... Надо немного подождать, — вставил свое словечко Александр Николаевич.

— Да-да, мы понимаем. Вы уж тогда заранее дайте сигнал, чтобы мы тут успели закончить дела.

— Всенепременно!

В этот день нам все удавалось. Поэтому Скрыбин был в хорошем настроении и охотно веселил публику.

Параграф пятый

НЕПРИЗНАННЫЙ ГЕНИЙ

Принесли оформленное по всем правилам, с подписями и печатями разрешение, и Наталья Валерьяновна бережно спрятала его. Скрыбин с энтузиазмом стал благодарить чиновников, кланяться и расшаркиваться, в свою очередь выслушивая ответные благодарности.

Когда благодарности наконец иссякли, он взялся за шляпу, чтобы откланяться, направился к двери и, конечно, забыл в углу зонтик, который ему тут же с превеликим почтением преподнесли, словно королевский жезл монаршей особе.

Он сконфузился и театрально всплеснул руками, сетуя на свою забывчивость: «Ах, простите! Оплошал».

Его оплошность приняли снисходительно и даже с некоей гордостью за него, словно это было выдающееся достоинство. К нему стали подходить для прощальных рукопожатий. Чтобы освободить руки, Александр Николаевич повесил зонтик на спинку кресла и — вот незадача! — снова его забыл, спохватившись возле самой двери.

— Видно, вам не хочется нас покидать! — сказали ему, терпеливо возвращая забытый предмет.

— Вы правы. После такого теплого приема...

Мы были вынуждены отдать дань вежливости и еще немного задержаться. Как бывает в подобных случаях, неожиданно возникшая возможность вернуться к прерванному и весьма оживленному разговору, казалось бы обещавшая его продолжение, обернулась неловкой заминкой, глубокомысленным изречением всяких «м-м-м» и «э-э-э».

Чтобы поддержать разговор, Александра Николаевича спросили, скоро ли мы намерены отправиться в Индию.

— Сразу, лишь только найдем хорошего архитектора...

Это слово, как эхо, пронеслось по рядам чиновников:

— Архитектора?

— Хорошего архитектора?

— Вы ищете архитектора?

— Да, архитектора для будущего Храма. Почему вас это удивляет?

— Потому что есть архитектор! Есть! — Чиновники засияли торжествующими улыбками. — Именно такой, какой вам нужен! Он словно бы специально вас ждал... такой, знаете ли, Симеон Богоприимец... «Ныне отпускаеши», или как там поется...

— Ну, уж с Христом меня не равняйте... — Скрыбин отклонил непомерно высокую честь.

— Как же не равняться! Позвольте! Вы же — мессия...

— Не совсем, господа, не совсем... — Скрыбин увертывался, словно от долетающих брызг фонтана, — хотя мне иногда кажется, что я несу людям новое Евангелие. Но вернемся к архитектору. Кто он? Откуда? — спросил он, натягивая перчатки и закутываясь в шарф (извечная боязнь простудиться).

— Кто он, вы спрашиваете? Гений!

— Ну, уж так прямо и гений... — Александр Николаевич слегка ревниво отнесся к тому, что у него как у гения появился соперник.

— Он, несомненно, гений, хотя и не признанный.

— Непризнанный? Это лишь говорит в его пользу. Если можно, поподробнее.

— Ну, что о нем рассказать... — Чиновники тесным кружком обступили Скрыбина и стали наперебой высказываться:

— Столь же блестяще образован, сколь и беден.

— Если у бедности есть неким образом обозначенный край, то он дошел до самого края бедности.

— Бежал от долгов в колонии. Жил в Индии. Поэтому мы его, собственно, и знаем. Кроме того, один из наших начальников — его дальний родственник; правда, родства не признающий.

— А имя архитектора?

— Генри Вуд.

— Позвольте! — воскликнул Александр Николаевич, словно ему сообщили нечто ошеломляющее. — Так зовут дирижера, исполнявшего здесь моего «Прометея»!

— Вот видите! Еще одно очко в его пользу. А сходство имен... пусть оно вас не смущает. Все нынешние гении у нас — чьи-нибудь тезки и однофамильцы. Такая эпоха... великие имена как бы проходят в истории по второму кругу. К примеру, сколько у нас сейчас всяких Вордсвортов, Кольриджей, Поупов, Блейков... Так и попрыгали из восемнадцатого века в наш век!

— Занятно. — Скрыбин переглянулся с нами. — Что еще о нем скажете? Где он сейчас живет?

— Под Вестминстерским мостом, — ответили ему, затаенно предвкушая, какое это вызовет удивление.

— Как?!

— Целыми днями там сидит, обнимая худые колени, и смотрит на воду. Иногда бросает в нее камушки. Впрочем, бывает и в библиотеке, разумеется бесплатной и общедоступной, куда его хотя и нехотя, но все же пускают. А лачугу снимает в трущобах на окраине Лондона.

— И из этого следует, что он гений? — В Скрыбине вновь шевельнулась угасшая было ревность.

— Нет, разумеется, но — его проекты... у Генри Вуда гениальные проекты. В колониях по ним кое-что построили.

— Почему же он не разбогател?

— Генри Вуд очень доверчив, близорук и наивен. Его легко обмануть. Этим многие пользуются.

— Ах, как мне бывает жаль таких людей! — воскликнула Наталья Валерьяновна, не скрывая, что у нее был особый повод, чтобы вступить в разговор. — А впрочем, я и сама такая...

Возникла слегка натянутая пауза.

— Это на тебя не похоже, — возразил Скрыбин, понижая голос в знак того, что подобные высказывания подобает ему услышать первому, а затем уже адресовать их обществу малознакомых, хотя и расположенных к ним людей.

Параграф шестой

ВТОРОЙ РИХАРД

Я предложил сейчас же отправиться к Вестминстерскому мосту. Пользуясь тем, что приближалось время перерыва, отведенного на второй завтрак, и у них были развязаны руки, два чиновника вызвались нас проводить. У одного из них прядь волос была фиолетовая, а на запястье браслет из маленьких черепов — знак английской эксцентричности.

— Да, да, сейчас же... немедленно! — с поспешной готовностью подхватил мое предложение Скрябин, и я почувствовал, что у него остался неприятный осадок после неожиданного признания Натальи Валерьяновны. Он не стал этого скрывать, а, напротив, заговорил на эту тему, не смущаясь тем, что Наталья Валерьяновна во время его сбивчивой речи все ниже опускала голову: — А вы знаете, что такое неприятный осадок? Он остается после незадавшегося разговора или даже просто чьей-то реплики, брошенной вскользь, но больно уколывшей...

— Саша, прекрати... — пыталась остановить его Наталья Валерьяновна.

— А что я такого сказал? Это ты произнесла нечто не совсем внятное... Извините, господа, — обратился он к чиновникам по-французски, но они все поняли без перевода (до этого я как всегда переводил). — Это у нас семейное... Однако оставим эту тему. Давайте лучше о чем-нибудь другом...

— Каково ваше мнение о войне? Как вы думаете, мы победим? — спросил чиновник с фиолетовой прядью.

Мы уселись в большой, просторный кеб, остановленный мною на перекрестке.

— Войны свершаются не только на земле, но и на небе. И земные победы, и поражения предначертаны нам свыше. Мы переживаем страшное время. — Скрябин поставил в угол злополучный зонтик, но затем повесил его на локоть, чтобы потом не забыть. — Это время, собственно, давно назревало. Одно существование такого композитора, как известный вам Рихард Штраус, — второй Рихард после Вагнера, с его зловещей музыкой... одно его существование предвещало, что грянет мировая война, развязанная Германией, и что в этой войне будет чрезвычайное скотство и зверство, проявленное именно немцами.

— А что же Англия и Россия? — спросил другой англичанин в добротном котелке и клетчатом пиджаке с кожаными заплатами на локтях.

— А ничего... — Александр Николаевич, как мне показалось, не хотел давать ответ, который либо не внушал никаких надежд, либо эти надежды были ничтожно малыми.

— Вы намерены сказать?..

— Россия и союзники — это сейчас выражение последних остатков духовности в мире.

— Последних, вы сказали? — спросил фиолетовый, явно в чем-то усомнившись, но при этом адресуя свои сомнения не Скрябину, а ощеренным черепам своего браслета.

— Наступает время предельной материализации и раздробленности Духа. — Скрябин раскачивал на локте зонтик, как маятник, соизмеряя с этим свои слова. — Дух погружается в материю, и чудовищный форпост крайнего материализма ныне — воюющая с нами Германия. Там все подчинено идее насилия, грабежа и захвата, а ведь некогда Бетховен... Шиллер... Гёте... Близится время, когда нам придется пройти полную материализацию. — Этим словам Скрябин постарался придать голосом особую окраску. — Все духовные интересы угаснут, вся мистика улетучится, и это прежде всего произойдет в России. Это будет век индустрии, машин, движущей силы сжатого пара, электри-

чества, которые заслонят собой все, век меркантильных интересов. И это же совпадет с торжеством социализма, как любит выражаться господин Плеханов, горячий поборник всего перечисленного. Сие торжество явится на смену торжеству православия, отмечаемого у нас в первую неделю Великого поста. Вот так-то мы поторжествуем... ха-ха! Но после этих ужасов Дух снова воспарит, и наступит время Мистерии...

— Когда же, когда?

— По моим подсчетам, примерно в октябре семнадцатого... Может, чуть позже или чуть раньше. Точные сроки нам неизвестны. Дорогая, тебе удобно сидеть? — обратился он к своей спутнице, улыбаясь примирительной улыбкой и тем самым показывая, что никакого неприятного осадка у него больше не осталось.

— Да, вполне... не беспокойся. — Наталья Валерьяновна старалась уклониться от его пристального внимания.

Скрябин заметил это.

— Прости, что я немного погорячился... Когда все силы напряжены, иногда невольно... виноват, виноват. Будь великодушна.

— Это ты меня прости... — сказала она быстрой скороговоркой, словно произнесенные медленно эти слова теряли всякий смысл и превращались в бессмыслицу.

Сказала и отвернулась к окну, как отворачиваются, желая скрыть слезы.

Параграф седьмой

ПОД ВЕСТМИНСТЕРСКИМ МОСТОМ

Мы вышли из кеба, раскрыли зонты (дождь все еще накрапывал) и направились к окутанной изморосью темной громаде Вестминстерского моста.

— А вот и наш любезный друг, — сказали, почти в один голос, сопровождавшие нас англичане, показывая на согбенную фигурку, накрытую тенью от моста.

Генри Вуд, сидевший на подстилке из явно подобранных на помойке, дырявого собачьего матрасика и распластанных картонных коробок из-под пива, отряхнул колени и поднялся нам навстречу.

Он был смугл, худ, с длинными и спутанными космами, в драных джинсах и шикарном белом свитере (ромбовый узор, стоячий воротник и ребристые манжеты).

— Вот познакомься, Генри... известный русский композитор, творец Мистерии на конец света. Он собирается в Индию и зовет тебя с собой. Откуда у тебя такой свитер?

— Нанялся мыть витрину в магазине и снял с манекена. Пусть голеньким постоит. А зачем я этому русскому? — спросил Генри, не глядя в сторону Скрябина.

— Ты ему нужен для строительства Храма, — сказал чиновник с фиолетовой прядью. — Он купил участок земли и будет строить Храм причудливой архитектуры. А поскольку ты у нас — чудо, мы выбрали тебя.

Генри Вуд все это серьезно (умудренно) выслушал, из чего вовсе не следовало, что он хоть что-нибудь понял. Он во все глаза смотрел на фиолетовую прядь. Почему-то эта прядь развеселила Генри до похожего на икоту смеха, от которого его скривило, передернуло, и он весь затрясся.

— Джон, ты снова покрасил волосы! Брось заниматься этими глупостями, старина! Тебе совсем не идет! Ты стал похож на образину!

— Генри, води себя прилично... на тебя смотрят.

Тот сразу перестал смеяться, притих и оправился, как школьник, которому сделали замечание.

— Да-да, я постараюсь... тысяча извинений. Извольте, господа... присаживайтесь... извините, здесь не на что сесть... сейчас я принесу стулья из ближайшего кафе, а им оставлю под залог мой свитер.

Генри Вуд сбегал за стульями для Натальи Валерьяновны и Скрябина, а мы четверо (я, двое сопровождающих англичан и сам Генри) остались стоять.

— Вы простудитесь, — сказала Наталья Валерьяновна, обеспокоенная тем, что Генри вернулся со стульями, но без свитера, а под мостом гулял ветер.

— Погода сегодня дрянь, — начал было фиолетовый, но его приятель не позволил ему высказывать банальности и тотчас перебил:

— Мы тут говорили о Рихарде Штраусе... Что ты думаешь о его музыке, Генри?

— Я не дирижер Генри Вуд, чтобы рассуждать о музыке. Я в ней дилетант, но все-таки, на мой взгляд, Штраус с его вальсами...

— Мы о другом Штраусе, о Рихарде...

— И этот ваш Рихард — такая же труха, похожая на бурую солому. — Он смахнул последнюю соломинку с коленей.

— А кто из композиторов тебе нравится?

— Мне-то? Ну, один композитор, только он русский...

— Как его имя? Чайковский?

— Скрябин...

Тут нам только и оставалось, что удивиться такому счастливому совпадению.

— Скрябин, ты сказал? — уточнил фиолетовый для усиления эффекта — уточнил, глядя на свой браслет, словно один из черепов неким загадочным образом соотносился с названным именем.

— Да, именно Скрябин. Жаль, я не был на его вчерашнем концерте! Но я раньше слышал музыку Скрябина. Хотелось бы его когда-нибудь повидать! Выпить с ним добрую пинту, разумеется, если позволят дамы. — Это был ответный реверанс в сторону Натальи Валерьяновны, проявившей заботу о его здоровье.

— Так вот же он перед тобой, спокойно сидит на стуле, который ты принес.

— Кто сидит? — Генри Вуд не понял, кто может перед ним сидеть.

— Скрябин! — Фиолетовый был рад, что ему досталось право самому еще раз назвать это имя, словно никем другим оно не могло быть названо с таким неотразимым эффектом.

Параграф восьмой

АВАНС

— Как?! Неужели?! Вы — композитор Скрябин?! — Генри Вуд не знал, как выразить свое восхищение Александру Николаевичу за то, что он оказался Скрябиным. — Позвольте встать перед вами на колени и поцеловать вам руку.

— Что вы, что вы! — Александр Николаевич, зардевшись от смущения, слегка отстранился: он всегда опасался столь пылкоgo изъявления чувств.

— Ну, хотя бы пожать...

— Пожать? Извольте... Но лучше принесите еще один стул и устраивайтесь рядом.

— Нет, в вашем присутствии я могу только стоять.

— Ну, полно, полно... Что еще за церемонии! Так вы согласны поехать со мной в Индию?

— Сочту за честь, господин Скрябин. Только позвольте спросить, зачем я вам нужен?

— Вы же архитектор, как мне вас отрекомендовали...

— Непризнанный...

— Признание сейчас равносильно полному забвению в будущем. К тому же вас, насколько я понял, не признают в Лондоне, в колониях же по вашим проектам многое построено, возведены прекрасные здания...

— Не знаю, насколько прекрасные, но возведены... и частные, и общественные...

— А я уверена, что прекрасные... — На правах единственной женщины в окружении мужчин Наталья Валерьяновна слегка подняла тон, требуя, чтобы ее слова не были оставлены без внимания.

— Да-да, дорогая. Мы с тобой полностью согласны, — заверил ее Скрябин. — Мне нужен архитектор для Храма на берегу Ганга, чтобы в нем свершилась Мистерия — грандиозное действо с музыкой, пением, танцами и даже «симфонией ароматов» — столпами курящихся благовоний, восходящих к самому куполу.

— Форма купола?

— Полусфера. Отраженная в водах Ганга, она должна обрести вторую половину и выглядеть как шар.

— А внутри Храма? Так сказать, интерьер?

Александр Николаевич стал давать объяснения архитектору на доступном тому языке:

— Пол ступенчатым конусом из концентрических кругов уходит вниз. Никакого места для зрителей — только участники действа. Менее всего вовлечены в действо те, кто находится на самом внешнем, то есть самом нижнем, круге. По мере движения вверх по кругам действие возрастает, обретает выпуклость, рельефность и пластическую завершенность. На самом верху — алтарь, видимый отовсюду, со всех точек пространства Храма. Здесь находится дирижер, или, если угодно, Верховный жрец Мистерии — эту роль я отвожу самому себе. Оркестр, пение, танцы, мимика, жест — все согласовано и точно распределено между участниками, и все это сочетается по законам сложного контрапункта. Свет тоже не должен слепо следовать за изменением эмоциональных «тяготений», как это было в «Прометее», который вы, надеюсь, слышали...

— Слышал, слышал... Знакомый билетер, когда-то игравший на валторне, под покровом темноты с фонариком, провел меня в зал.

— Так вот... — Скрябин удовлетворенно кивнул, — в Предварительном действе, да и в самой Мистерии, все будет по-иному. В воображении я вижу разноцветные дымовые столбы, призмы, пирамиды и другие фигуры, их сложное взаимодействие с музыкой, со словом, жестом, друг с другом. «Контрапунктируют» и участники: по ходу представления они перемещаются с круга на круг, нисходят и восходят, то удаляясь от центра действия, то еще больше вовлекаясь в него. Само действо становится неким подобием движущейся оратории. Это рассказ «в лицах» о том, как Бог, предвечный наш Отец, творя, умирает, чтобы ожить в своих детях. О том, как зарождается эволюция вселенной: Единое разбивается на множество противоположностей, Дух запечатлевается во плоти, рассеиваясь по ней словно бы легким туманом. Возникают мужественное и женственное начала. Первоматерия — это еще нечто текучее, так сказать «волны жизни»:

Волны
Первые,
Волны
Робкие,
Первые
Рокоты,

Робкие
Шепоты...

— Ну, и так далее... Все перечисленное мною должно быть отражено в вашем архитектурном проекте. Как? Это подскажет ваше воображение...

— Кажется, я улавливаю. Во всяком случае, вы так ярко обрисовали...

— Благодарю. Все это вынашивалось годами напряженных раздумий. С вашего разрешения, я продолжу. Если, конечно, все присутствующие не возражают...

— Продолжай, пожалуйста, — ответила за всех Наталья Валерьяновна.

— В Предварительном действе и в самой Мистерии, по моему замыслу, пробуждается целый хор чувств. Из соединения Луча (Духа) с «волной» рождается личность. Чувственный мир идет к своему расцвету. Жизнь — это ласка, нега, томление. Но то же есть смерть. К ней, как к солнцу, все живое устремляется, когда дети, забывшие Отца, доходят до крайнего «обездушения» и вражды и ощущают наконец в себе тягу к воссоединению. Как гласят мои несовершенные стихи, «Ток, устремленный к мигу от вечности, в путь к человечности, вниз от прозрачности, к каменной мрачности», достигнув дна, взбегает снова вверх. Отпадение от Бога, отдаление от Него — зло. Но через разрозненность происходит познание истины, через познания и творческие свершения мир возвращается к свету. Конец моего Действа — это всеобщий, безумный, вакхический танец. Здесь множественность приходит к единству.

Вот он, вот, в учащенном биенье сердец,
В нашей пляске живой к нам сходящий Отец,
Вот она, в растворении сладостном твердь,
В нашей пляске живой к нам грядущая смерть.

Обратите внимание: последние фразы — кульминация танца, слияние всего и всех в Отце — утрачивают рифму. Рифма — тоже символ «разделения» и «множества», ее не может быть в абсолютном единстве. Как вам такая картина, почтенный Генри?

Скрябин говорил то по-французски, то по-русски, вставляя иногда знакомые ему английские выражения. Конечно, я не все успевал перевести, но главное Генри Вуд понял. Потому и сказал с убежденностью в хриловатом, надтреснутом голосе:

— Прекрасно! Других слов у меня нет...

— Теперь многое зависит от вашего проекта.

— Вы не пожалеете, что пригласили меня, но только...

— Что вас смущает?

Генри Вуд кашлянул и тронул пальцами горло, как бы извиняясь за хриплое звучание голоса.

— Могу я рассчитывать на... извините меня, аванс? Аванс, опять же извините, фунтов этак... — Решающую цифру Генри произнес почти неслышным шепотом.

При этих словах все стали смотреть в пол, а Наталья Валерьяновна резко отвернулась. Лишь один Скрябин улыбался, и вполне благодушно, словно просьба гениального архитектора его ничуть не смутила.

— Ах, вы о деньгах! Вот они, «робкие шепоты»! Конечно, конечно... — Александр Николаевич сделал мне как казначею и доверенному лицу знак, чтобы я выплатил названную сумму.

Я отвел Генри Вуда в сторону и тотчас исполнил пожелание Скрябина (часть наших денег была у меня с собой). Генри, запросивший немалую сумму, удовлетворенно спрятал желанные фунты.

— А это вам от меня... из личных сбережений, — сказала Наталья Валерьяновна, по-прежнему отворачиваясь, но при этом протягивая ему маленький, вышитый бисером кошелек.

Генри Вуд бережно взял его двумя пальцами и уронил голову в поклоне.

— Снова прошу меня извинить, но насчет денег я не очень-то доверчив, близорук и наивен. Попросту говоря, с деньгами я крут. Меня трудно обмануть. Меня не проведешь.

— Генри, зачем ты на себя наговариваешь!

Я точно не помню, кто это тогда сказал, но кажется, это был англичанин с фиолетовой прядью и браслетом из черепов. Впрочем, какое это имеет значение, ведь через три дня мы уже поднялись по трапу парохода, плывущего в Индию!

Параграф девятый МЫ ПЛЫВЕМ В ИНДИЮ

Плывем теперь уже вчетвером: я, Скрябин, Наталья Секерина и наш новый спутник — гениальный архитектор Генри Вуд. Гениальным его любит называть Скрябин, ссылаясь на то, что таковым уж он был ему представлен при знакомстве под Вестминстерским мостом.

— Поэтому извольте терпеливо сносить то, что теперь этот эпитет будет вам сопутствовать, как вы сопутствуете нам в нашем путешествии и принимаете участие в создании Мистерии, — сказал он не без улыбки, сводящей это высказывание отчасти к шутке, но в большей степени придававшей ему вполне серьезное значение.

— Подождите, я еще ничего не сделал...

— Я уверен, что сделаете и ваш гений вас не покинет.

Скрябин произнес это с намеком. Перед отплытием на полученные от меня деньги Генри Вуд обошел модные магазины, приоделся, накупил платков, бантов и галстуков, постригся, наpomадил волосы у самого дорогого парикмахера и стал выглядеть как светский лев. Вот что одежда делает с человеком! Даже манеры у него изменились, в жестах появилась сдержанность, в речах — немногословность, а в выражении лица — сознание собственного достоинства и чуть ли не превосходства над всеми.

Когда он вышел к нам, облачившись в свои наряды, мы в один голос воскликнули: «О, вы теперь истинный денди!», чем ему немало польстили.

Лишь Александр Николаевич философски заметил, что Вестминстерский мост может не простить Генри Вуду измену прежнему костюму. Он также выразил опасение, что гений Генри Вуда способен его покинуть, поскольку не любит модников и франтов, но на это ему было замечено, что сам он выглядит как франт и это ничуть не умаляет его гениальности.

Скрябин не мог с этим не согласиться и засмеялся, ответив, что за своего гения он спокоен, поскольку тот прошел через разные тернии на пути к звездам (звезда как символ творчества Скрябина сияет в Четвертой сонате). А вот гений Генри Вуда — новичок и может не совладать с испытаниями и испариться — бесследно исчезнуть, раствориться в воздухе...

— ...Как моя Пятая соната, которая завершается не тоникой, а, освобождаясь от тоналности, парит в воздушных эмпиреях.

Итак, нас теперь четверо... Хотя на вторую неделю плавания (путь от Лондона до Бомбея занимает три недели) обнаружилось, во всяком случае для меня, не лишнего наблюдательности, что к нам следует добавить еще одного попутчика. Вернее, он сам, не спрашивая разрешения, к нам добавился, но об этом таинственном пятом попутчике я расскажу чуть позже.

А пока мы плывем на пароходе «Ганг», выбранном Скрябиным именно из-за этого символического для нас названия, выложенного аршинными буквами по борту и выдраенного до сияющего блеска юрким юнгой из спущенной на канатах шлюпки.

Несмотря на обстановку в мире (если мир театр, то отныне — театр боевых действий), у нас нет основания опасаться, что наш пароход потопят мины или торпеды. Английский флот надежно охраняет торговые пути, и одиночные крейсера Германии не представляют для нас угрозы — так же, как и редкие субмарины, которые только-только начинают появляться (вернее, скрываться под водой), да и то ближе к берегам Америки, чем Индии.

Словом, до Ганга им далеко...

Ганг! Священная река, на берегу которой (место уже выбрано и разрешение получено) будет возведен величественный Храм!

Генри Вуд недолго фланировал по палубе в своих обновах. Целыми днями, запершись в каюте, обложившись карандашами, циркулями, линейками и транспортирами, он вычерчивает свой проект, равного которому, по его словам, еще не знала архитектура. Нам он его не показывает и вообще мычит, рычит, беспрестанно курит, откашливается, клокочет горлом и издает прочие подобные звуки, если кто-то робко постучится в дверь: «Я занят, черт побери! Нельзя! Нельзя!» — только и слышится изнутри.

Иногда он даже отказывается от завтрака за столиком ресторана. И лиловый от загара мальчик-индеец приносит тарелки, кофейник, чашку и корзиночку с фруктами ему в каюту, демонстрируя чудеса эквилибристики и при этом пугливо поглядывая на листы ватмана, приколотые кнопками к пюпитру. Но даже и перед ним Генри завешивает свой проект тряпицей.

Нас он, естественно, к себе в каюту не приглашает. Только бросает скупые фразы, что конусообразные полы будущего Храма его замучили, а алтарь и место для Главного жреца (и дирижера) скоро доведут до нервных тиков, подергиваний и идиосинкразии. А то и вовсе замучают до смерти, и тогда его труп, завернутый в дерюгу, придется выбросить на корм акулам.

У всех нас сжимается сердце от этих слов, а Наталья Валерьяновна как женщина не может сдерживать восклицания:

— О, Генри!..

Пассажиров на борту немного — лишь коммивояжеры, миссионеры, семьи служащих в Индии англичан с прелестными детьми и отчаянные смельчаки туристы, рискнувшие добраться до Индии (если не по суше, так морем), чтобы поохотиться на тигров. Капитан и его первый помощник любезны, предупредительны, перед дамами снимают фуражки и охотно отвечают на все вопросы.

Капитан, больше похожий на оксфордского профессора, вынужден перед пассажирами разыгрывать из себя морского волка. Он курит трубку, держа ее в сомкнутых зубах, слегка оттопырив нижнюю губу, и поминутно приближает к глазам бинокль. Повара — мастера своего дела, утонченные гастрономы и эстеты, готовят нам изысканные кушанья. Вышколенная прислуга и официанты — образец исполнительности.

И еще одна достопримечательность нашего плаванья: с нами возвращается из Англии знаменитый писатель Киплинг, родившийся в Бомбее. Невысокий, стройный, с развитой мускулатурой, усами и выбритым волевым подбородком, он походил бы на охотника в джунглях или альпиниста, если бы не круглые очки, придающие ему несколько домашний вид сидельца за письменным столом. Киплинг часто появляется в салоне, берет играющих там детишек на руки и рассказывает им всякие небылицы об Индии. И дети, и их почтенные отцы слушают, что называется, раскрыв рот, и ес-

ли бы нашлась шальная муха, то она бы легко залетела отцам под нафабранные усы и дальше — прямо в рот, поскольку путь туда зазывно свободен...

Впрочем, шутки здесь неуместны, и я не намерен шутить по этому поводу, поскольку Редьярд Киплинг для англичан — фигура такой же значимости, как для французов — Мопассан, для скандинавов — Ибсен, а для нас русских — Лев Толстой.

Нас почти не укачивает, не кренит набок и не заливают нижнюю палубу морской водой. Если случайные волны иногда и накатывают, то дамы отгоняют их зонтиком и боязливо прижимаются к стенкам, чтобы — не дай бог! — не замочить мыски своих туфель.

«Огромное — во весь горизонт — солнце садится в перламутрово-жемчужные воды». Эту фразу я, чувствуя себя вторым Киплингом, занес в записную книжку и вот привожу ее здесь (что называется, сгодились).

На палубе для устрашения пиратов стоит старинная пятидюймовая пушка на однобрusном лафете. Не знаю, стреляет ли она, но вид у нее грозный, и детям не разрешают к ней подходить, хотя им так хочется по ней ползать и повиснуть, раскачиваясь на вытянутых руках.

Скрябин в салоне иногда присаживается к пианино, играет свои мазурки и вальсы. Во время его игры все замолкают и, обмахиваясь веерами из карт, внимательно слушают. Некоторые дамы даже пытаются вальсировать, но не находят поддержки среди мужчин, поскольку...

— Ну, сами понимаете, война и все прочее... Для вальсов еще не время, — говорят их мужья, оправдывая свою нерешительность и отсутствие склонности к танцам, и Александр Николаевич, краем уха слыша их реплики, тотчас замолкает.

Мужчинам становится неловко из-за того, что их слова превратно истолковали.

— Играйте... пожалуйста, играйте. К вам это не относится, — говорит от лица всех посетителей салона Киплинг.

— Зачем же! С вашего позволения, я патриот... Музы пристыженно молчат, когда высказываются пушки.

— В таком случае позвольте пожать вам руку. — Киплинг устремляется к нему. — Вы русский?

— Да, композитор Скрябин...

— Ах, вы Скрябин! «Прометей»! Мистерия! Я читал в газетах.

— Благодарю. Мне лестно это слышать от вас. Между прочим, ваш русский коллега, писатель Куприн принял участие в нашем начинании.

— Ах, Куприн! «Гранатовый браслет»! Если вы нуждаетесь в пожертвованиях, решите и мне внести посильный вклад в ваше благородное предприятие. — Он поискал глазами, кому можно вручить деньги.

Я выступил вперед и тоже представился.

— Доверенное лицо...

— В таком случае примите... — Киплинг извлек из кожаного портмоне пачку купюр и, не считая, протянул мне. — Пусть это будет плата за мой входной билет на ваш блистательный клавирабенд.

Так мы познакомились с Киплингом.

Продолжение следует

Алла ФЕДОСЕЕНКОВА

СВОИМ АРШИНОМ

* * *

Бессонница — мой личный Дом Советов,
Чем ни корми, но дай поговорить.
Вот и не спим, а вечный конь рассвета
Пьет высоту из зыбких рек зари.

Подросток — месяц, злой и уколобый,
Набычился — трубу решил боднуть.
Обочины сугробная утроба
Вынашивает новую весну.

Февраль поземкой бремя укрывает
От жадных лап метельных холодов,
Недопеченным в небе караваем
Нарочно дразнит сон надменных льдов.

И предвкушая будущую встречу
С улыбкой новорожденной весны,
Планета под трезвон синичьей речи
Шагнет на свет свечей седмиц страстных.

Лед поплывет, от ласки солнца тая,
Сквозь снежный плен пробьются зелены.
И многоточливых бессонниц рать святая
До новых зим отступит от меня.

* * *

Я — плот, зажатый льдами. Не вздохнуть.
Мороз в груди, обида в горле кляпом.
Я призвана обманом на войну.
Кто ты? — Мой друг или мой враг заклятый?

Алла Евгеньевна Федосеенкова — редактор и журналист радио. Родилась в г. Коркино Челябинской области в 1955 году. Автор поэтических сборников, книги повестей и рассказов «Дом с голубыми ставнями». Лауреат VI Международного литературного фестиваля-конкурса «Русский Гофман» в номинации «Проза» (2022), ряда областных литературных фестивалей и конкурсов. Член Союза писателей России.

Лавиной страсти не пали души.
Огонь твой зол, а мне тепло нужнее.
Дров ревности в огне не вороши.
Попробуй согреть меня нежнее.

И я очнусь, оттаю, поплыву
К тебе, в тебя, купаясь в талых водах,
Довериться смогу и к Покрову,
Не доверя больше непогодам,

Я возвращусь. Мой плотик на плаву!
И ураганы паруса порвут,
И упадут на плечи неба своды,
И криком счастья связки я сорву...
И, словно льды, растают эти годы.

* * *

Мир захлопнулся в клетке сурка.
Крутит, вертит колесики вечность.
Терпеливые бабы — века —
Тянут пряжу судеб поперечных.

Небо пробует тучи макать
В чашу льдистости глубей озерных,
Ищет ключик от клетки сурка.
А сурки ищут спелые зерна.

Ты оставил на вешалке зонт,
Взгляд прощения — клетке убогой,
Ключ от счастья найдя за порогом,
Убежал догонять горизонт.

* * *

На крыльях сна влетаю в пестрый мир,
Еще не зная, чем меня он встретит:
Все семь чудес подарит из семи
Или на бал судьбы помчит в карете?

А может, кучером присев на облучок,
Рванет коней без видимой отмашки,
Подбросит мне хрустальный башмачок,
Наследства нагадает на ромашке...

И чашку об пол грохнет просто так
Или на счастье? — Мало ль что случится?
Но навзничь опрокинет маета
И птицей будет биться под ключицей.

* * *

Большие вопросительные знаки
В глазах моих несломленных подруг,
Не машущих руками после драки
За справедливость, рухнувшую вдруг.

Живут они назло бюджетным фондам,
Где вся капуста вверена козлам,
Танцуют под шипенье граммофонов,
Не веря слишком чистым зеркалам.

Их кактусы в горшках неукротимы,
Теплички распирают огурцы.
У псов и кошек угол есть и имя, —
С друзьями легче вяжутся концы.

Перемолов, пересудачив слухи,
Пьют чай они, в раздумьях о своем,
Глазами шарят по небу, где глухо
И еле слышно кто-то их зовет.

Усыпана тревогами дорога.
За финишами будущего нет.
Зато для них за пазухой у Бога
Бесплатно все: вода, тепло и свет.

* * *

Я аршином своим отмеряла себе,
Как прожить, чтобы не было стыдно.
По-ребячьи грозила лукавой судьбе,
Что уйду, и не будет обидно
Никому за не отданный вовремя долг,
За шубейку с протертой подкладкой
И за то, что соседский слюнявый бульдог
Мне в колени уткнулся и плакал украдкой.

На себя не в обиде я лет так уж сто.
Поменялись и цели, и планы.
А знакомый всем конь, ну, тот самый, в пальто, —
Завсегдатый мой гость и желанный.

В сотый раз голой пяткой — на грабли свои!
Но танцуется мне и поется.
И в саду до утра голоса соловьи.
А когда я молюсь перед сном, Бог смеется.

* * *

В прокуренном тамбуре ночь сочиняла сюжеты
Смешных анекдотов, романчиков и повестей...
И тайно писала строку за строкой на манжетах
Набившихся в тамбур людей самых разных мастей.

Сентябрь задышался в объятиях бабьего лета.
Мужик матерился, окурком поджарив губу.
Сплетались в удавки чудные сюжетные ленты.
И будет что будет. А что было раньше, забудь!

Бренчанью гитарному ритм отбивали колеса,
Покашливал дед, и хрипел о любви пьяный бард,
На джинсы девчонки солдатик поглядывал косо.
Толстушка вздыхала, не морща высокого лба.

А тамбур дымил, промахнув незаметно речонку.
Ночной костерок маячком замигал вдалеке.
И ночь поменяла сюжет и ссадила девчонку.
А та ей небрежно махнула косынкой в руке.

* * *

Фантомы теней скачут по кустам,
В опущенных глазах твоих сгорая.
Огонь бликует в травах тут и там...
А мы, отчаясь, греемся у края.

Дым прячет то, что взгляду не сказать.
Дым жжет глаза, крадется под ресницы.
Но я не сдамся дыму и слезам, —
Лицом к огню отважусь наклониться

И растворюсь за огненной стеной,
Не доиграв в бессмысленные прятки.
Ночь мечется в трех соснах за спиной
И убеждает: все у нас в порядке!

Но тень печали на лице твоём...
Дрова трещат размашисто и пылко.
Ночной костер, сжигая тьму, поет,
Давно чужим устраивая пытку.

Александр МЕЛИХОВ,
Елена ДОЛГОПЯТ

ПОЛЕНОВСКИЙ ДВОРИК И СВЕТЯЩИЙСЯ ДЫМ

Александр Мелихов. Поэзию городов создают не только архитекторы, но и поэты — чем был бы Петербург без «Медного всадника», без «Петербургских повестей» и без «Преступления и наказания»? Поэзию наших любимых уголков мы начинаем воспринимать, подключаясь к чужому лирическому полю. Иногда к общенациональному — Пушкин, Гоголь, Достоевский, а иногда и к чьему-то личному. В романе «Испепеленный» я рассказал, как в мою еще детскую провинциальную душу впервые проник Петербург, тогда еще Ленинград.

Посланицей сказочного Ленинграда в нашем шахтерском поселке была Виктория Николаевна, обвитая мудрым дымком сигареты среди книг, которыми папа пренебрег, — я запомнил только Ибсена и Марка Твена. И еще казахскую фамилию Ахматовой и смешную — Пастернака. Как и вся наша интеллигенция, Виктория Николаевна попала в Северный Казахстан за казенный счет, там и задержалась, хотя оба ее сына учились в Ленинграде, и как-то раз ее навестил ленинградский племянник. Он носил тубетейку и поразил меня тем, что предложил мне базарную клубнику из газетного кулька со словами: «Угощайтесь, пожалуйста».

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017). Премия им. Искандера (2022), премия правительства Санкт-Петербурга (2023) и премия «Книга года» (2023) за роман «Сапфировый альбатрос». Премия им. Гончарова за роман «Тризна» (2023). Премия «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли (2024).

Елена Долгопят родилась в г. Муроме. Окончила Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (специальность «Прикладная математика») и сценарный факультет ВГИКа. С 1994 года работает научным сотрудником рукописного отдела Музея кино в Москве. Автор шести книг. Публиковалась в ведущих литературных журналах («Знамя», «Дружба народов», «Новый мир»). В 2017 году книга «Родина» вошла в шорт-лист премии «Национальный бестселлер». Лауреат литературной премии им. Исаака Бабеля и премии журнала «Дружба народов». По сценариям Елены Долгопят сняты четыре полнометражных фильма и сериал «Неопалимая купина».

Раз в несколько лет Виктория Николаевна и сама торжественно отбывала в ленинградское паломничество и привозила оттуда невероятно красивые фотографии размером с тетрадный листок, и я благоговейно их разглядывал. Хотя имена звучали еще более чарующе: Невский, Литейный, Владимирский, Аничков мост, Гостиный двор, Адмиралтейство, Медный всадник, Зимний дворец, Петропавловская крепость...

Так что когда я приехал поступать, то сразу же оказался среди старых знакомых: Невский, Литейный, Владимирский, Аничков мост, Гостиный двор, Адмиралтейство, Зимний дворец, Медный всадник...

Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта! Ты копыта, ты копыта... Конский топот.

Все эти чудеса действительно существовали! И я оказался среди них!! Это было самое чудесное чудо из чудес!!!

Тут стройность, там мощь, здесь изящество, там грандиозность...

Во мне тогда еще не звучали подобные слова, но все оттенки восторга во мне и пели, и гремели.

Стрелка Васильевского, исаакиевский золотой купол за синей Невой — люблю тебя, Петра творенье!

Мне лишь изредка удавалось вспомнить о приличиях и захлопнуть рот.

Иссякающие белые ночи, конечно, подзатынули светлую часть суток, но я бы и без этого не вспомнил, что по ночам документы не принимают. Зато я навеки влюбился в мои милые, нарезанные чудными ломтиками Двенадцать коллегий с их бесконечным, ведущим в любимую библиотеку Горьковку коридором, осененным справа стеклянными шкафами со старинными книгами и слева портретами потрудившихся здесь великих ученых (самых заслуженных даже удостоили запыленных временем белых статуй).

Так что ночь на скамейке Московского вокзала под расписным безмятежнейшим сталинским небом тоже была одной из самых счастливых ночей моей жизни — куда там первой внебрачной ночи!

Но это были шедевры, так сказать, общего пользования. А потом я обустроил собственный любимый уголок на Васильевском острове. Общежитие Восьмерка у юго-западного угла Смоленского кладбища, куда мы, юные варвары ходили играть в волейбол и целоваться на надгробной плите какого-нибудь секунд-майора, конструктивистский ДК имени Кирова, где мы смотрели старые фильмы, несколько трущобный Малый проспект, средний Средний проспект, размашистый Большой с видом на залив, незабвенный матмех на Десятой линии, на котором за все годы моей учебы так и не удостоили заменить стеклянную вывеску с отбитым углом, что меня особенно восхищало: у джигита бешмет рваный, а оружие в серебре. Я мог бы перечислять и перечислять, мне дорого все, от пышечной до трамвайного парка.

А какие у тебя личные любимые уголки?

Елена Долгопят. Я люблю открытые места, большое небо. Например, полудинкое футбольное поле у нас в поселке. Белый снег ослепляет, глаза привыкли к экрану, не могут перенастроиться, охватить все открывшееся им пространство. Нет препятствий, ограждений, стен, смотри свободно, беги вдаль, хотя бы взглядом. Конечно, это не степь (которую не раз я наблюдала из окна вагона бегущего поезда; правда, кажется, что поезд не движется, что все усилия напрасны; закатное красное солнце, горизонт, скоро ночь).

Я обхожу поле медленным шагом, останавливаюсь. Я начинаю различать дома вдали, колокольню. Я засматриваюсь на играющих в футбол ребят (восточные ребята

та, приезжие). Они играют на краю, все поле им велико. И это уже, конечно, не зима, не снег, от которого у меня бегут слезы, так он ярок. Это уже лето, на поле растет трава, по дороге за полем катит машина, в стекле отражается солнце.

Другое пространство — кладбище. Оно расположено между двух шоссе. Старое Ярославское шоссе и Новое. Над кладбищем безбрежное небо. Земля глинистая, сырая, трава на ней растет, как бешеная. Если за могилой не смотреть, трава ее погребет. Цветы кажутся глазами. Синими, желтыми, белыми, странными.

Смерть. Жизнь. Свобода. Свет. Вечная подземная тьма.

Кресты, надгробия, флаги, бегущие по шоссе машины, несмолкаемый гул. Улетевший высоко в небо тонкий, прозрачный целлофановый пакет. Фотография на могильном камне. Глаза как будто видят меня. И цветы видят. И небо.

Много было мест, которые я любила, и все они сохранились только в моей памяти. Вот, например, Рязанский проезд в Москве. Раннее темно-синее зимнее утро. Слева дома. Дорога обледенела, освещена скупо, шагать надо осторожно. По правую руку, внизу, в глубине, тянутся железнодорожные пути. Иногда по ним идет поезд. От Каланчевки к Курскому вокзалу. Или от Курского вокзала к Каланчевке. Окна вагонов, их свет, перестук колес, все это рядом и все это далеко, недостижимо.

И сейчас существует Рязанский проезд. И сейчас ходят внизу поезда. Но выглядит это место иначе. Наверное, даже лучше прежнего. Наверняка. Но мне в этом новом месте места нет.

Александр Мелихов. Все, что попадает в литературу, обретает потенциальное бессмертие. Вот и Рязанский проезд с этой минуты для меня наполнился поэзией. Как и все, о чем ты упоминала в каких-то своих зарисовках. Ярославское шоссе, «Ярославка», ВДНХ, за которой притаился Музей кино. Ты можешь рассказать о них поподробнее?

Елена Долгопят. Я так часто, так много пишу о музее, что уже и самой надоело. Тем более что дело не в месте. Хотя место хорошее, шагать пешком приятно: сосны, белки, важные рыжие утки, лебеди в пруду, рыбаки на берегу. Все обустроено, удобно, красиво. Зимой, конечно, ни лебедей, ни уток, ни рыбаков, и утро зимой не светлое, а темное, но фонари светят, и елки светят от ноября до марта, прямо возле музея стоит одна с сияющей на макушке звездой. Яблони цветут, когда им положено цвести, сирень роскошная дурманит. Рай на земле. И динамиков не слышно, пока мое утро, моя рань. Динамиков на ВДНХ тьма, так что идешь с работы под бесконечные песни. Я это дело терпеть не могу. Мне бы тишины.

И конечно, музей не притаился за ВДНХ, а прямо на ВДНХ и располагается лицом к прудам, спиной к Ботаническому саду. Весь белый, стройный, с прекрасной экспозицией внутри, ну и я там бываю, сижу в фондах, разбираю опавшие листья: письма, удостоверения и прочий житейский мусор, который люблю.

Еще мне вспомнилось об открытых местах.

Парковка в Ростокино, у супермаркета; и тут же — торговый центр, громада. Не новая парковка, повидавшая виды, ранним утром пустая. Идешь по ней, идешь, проспект Мира гудит за спиной. Гудит, катится в обе стороны, один поток (к центру) обернется Сретенкой, другой (к МКАД) Ярославкой.

Ну вот, пусть он там гудит за спиной, проспект наш Мира, а я шагаю свободно по старому асфальту от супермаркета к ТЦ, вдоль одного крыла которого тянется старая, ржавая железная дорога. Одна колея. Летом она зарастает травой. А сквозь одну из шпал пробилось деревце. Пробилось, растет. Я перехожу пути, поворачиваю, иду между железной дорогой и ТЦ. Здесь и проспекта Мира почти не слышно. По крайней мере, не видно. И все дорожные развязки, и МЦК с «Ласточками», все

это сумасшедшее движение, как будто рассеивается в воздухе, и мне кажется, что я не в мегаполисе, а где-то в Муроме, но не в том Муроме, про который пишут путеводители (он от меня далек). Мой Муром — рабочая окраина, одноэтажные дома с печным отоплением, сады, огороды, вода из колонки, походы в баню, дорога на вокзал, голоса диспетчеров, свисток, который мне подарил сосед, помощник машиниста. Свисток свистит, как тепловоз. Куда-то он запропастился, этот свисток, не знаю куда.

Саша, расскажи про степь.

Александр Мелихов. О, степи бывают очень разные, но главное — в них нужно углубляться одному или с очень близким человеком. С которым незатруднительно молчать. Но лучше все-таки одному — тогда скорее почувствуешь, что ты не один, а с тобой она. Степь.

И услышишь, как она звенит. А может быть, это звенит у тебя в ушах из-за невозможной в нашем мире тишины.

И увидишь неохватность горизонта, невозможную в нашем мире. И если ты молод, если тебе всего каких-нибудь шестьдесят, то ноги сами все быстрее и быстрее несут тебя, сами не зная куда, и тут нужно не забываться, потому что в какой-то миг можешь обнаружить, что не знаешь, в какую сторону тебе возвращаться. Особенно если степь не ровная, как бильярдный стол, а холмистая — горки все одинаковые, и не понять, с какой ты горочки спустился. Когда-то нас всей школой гоняли на поиски заблудившегося мальчишки, и мы таки его нашли.

Степная трава тоже очень разная вплоть до полного ее отсутствия, и степь может быть засыпана щебенкой, как бесконечная строительная площадка, а может быть растрескавшейся, как бесконечная пересохшая лужа, с кое-где прижившимися пучочками травки. И блестит в ней только укатанная дорога, к горизонту разливающаяся мелководным озером, над которым трепещет не то газетный лист, не то крыло чайки. Но подъезжаешь все ближе и ближе, а озеро вместе с чайкой отъезжает все дальше и дальше.

А иногда степь похожа на дно бесконечной пересохшей реки, на котором оранжевые водоросли приглажены течением в одну сторону, и они кажутся мягкими, как шелк. Но ничего мягкого в степи мне не попадалось, и седой волнующийся ковыль из-за острых колосков в народе даже называют овечьей смертью. В мире много вещей, которыми следует любоваться и не вглядываться в них слишком пристально. А особенно не испытывать на своей шкуре.

Вот и мне издали твой родной Муром представляется очень поэтичным. Одно имя чего стоит! А монастырь! Не может же быть, чтобы у тебя там не было любимых уголков?

Елена Долгопят. Я ведь давным-давно не живу в Муроме, бываю дня три в году (и то не каждый год). Мой Муром унесло время. Вместе со мной. Так что я там, на другом берегу. И здесь, на этом. Смотрю на свое смутное отражение вдали, а оно меня не видит. В том моем (давнем) Муроме монастыря не существовало. В моих местах. Но очень хорошо помню церковь на высоком берегу Оки, запущенную, без крестов, недалеко от нее бил родник, мы к нему ездили иногда с Казанки (так звалась наша окраина), спускались по крутым и шатким деревянным ступеням, набирали в бидон студеною воду, выпрямлялись, оглядывались, смотрели на Оку, на другой берег внизу, на дорогу в Навашино. Однажды зимой, у самой реки (она была подо льдом), в пасмурный день я увидела эту церковь высоко и в отдалении. Она как будто парила в воздухе. Потому что заснеженный берег и небо сливались, были неразличимы. Это фантастическое видение я пристроила в один свой рассказ под названием «Машинист» (который до этого был дипломным сценарием).

Церковь сейчас при крестах, действует, я в ней бываю, и к роднику спускаюсь, и на Оку смотрю. Жаль, что купаться в ней каждый год запрещают, все какие-то сбросы выше по течению. Но люди все равно купаются. Берег песчаный. Моста (пontonного), который вел к дороге на Навашино, давно нет, есть другой, современный, но далеко.

Вспомнилось еще одно место, многим оно известно. Поленовский «Дворик». Я часто на него смотрю. Не в Третьяковской галерее, а у себя дома. Он у меня круглый, фарфоровый, висит на стене. Блюдо с тонкой золотой каймой, как иллюминатор, через который я и наблюдаю этот дворик. Московский, но не московский. А вот как раз муромский. Для меня. Волшебный давний мир, тропинка, церковь, светлое небо, запечатленная жизнь.

А у тебя есть такая картина-место?

Александр Мелихов. Однажды в моем родном шахтерском поселке шипучим зимним вечером — я был классе в пятом — мы прощались с дружкой у него на крыльце, и я вдруг впервые увидел зимнюю зарю над горами щебенки и светящийся от заходящего солнца бесконечный горизонтальный дым из кочегарки — и вдруг поразился: «Как красиво!» Дружок усмехнулся: «Я каждый день это вижу», — и я смущенно замолчал. А между тем это было пробуждение души. До этого для меня существовало только интересное и скучное, а вот когда интересное начинается отесняться красивым, это и есть пробуждение души. И этот светящийся дым будет стоять у меня перед глазами до конца моих дней. Даже жаль, что он исчезнет вместе со мной. Хорошо бы собрать побольше таких мгновений — может получиться целая книга «Пробуждение души», у Павла Мейлахса есть такая миниатюра. Это была бы очень светлая книга.

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя.

Вера КАЛМЫКОВА

БЛАГОУХАННЫЕ ЛЕГЕНДЫ, ИЛИ ПЛАТОК-САМОЛЕТ

...Первый город в моей жизни. Родители боялись вывозить болезненного ребенка в центр Москвы, где везде, как известно, кишат инфекции. Летом не так опасно, но ехать с дачи в Москву?! Зачем бы? Дитя должно находиться на свежем воздухе. Достаточно кинотеатра «Вулкан», молочного коктейля в бывшей водонапорной башне, прогулки по улице — туда десять и обратно столько же метров, пока отец отоваривается в продуктовом.

Павловский Посад я помню, как себя. В начале 1990-х привезла туда мужа, показывать свою самую большую детскую драгоценность. Тогда городок оставался почти неизменным с советских и даже отчасти дореволюционных лет; мы мало думали об истории, потому что она нас окружала, казалась бытом.

Первое, что мы увидели, — телегу с пустой молочной тарой, мужичка с вожжами и неторопливую лошадь. А куда ей было спешить мимо солнца, мимо заборов, из-за которых вываливались стебли с золотыми шарами? Благословенный август...

Давайте так: сначала отдадим должное реальности-социальности. Типичные среднерусские города — это тенистые улочки, засаженные деревьями, палисадники за невысокими заборами, за ними яркие цветы, а чуть в глубине дома, деревянные или «каменный низ, деревянный верх», характерная застройка XIX столетия. То здесь, то там церкви. Выгоны для скотины. В центре рынок, торговые ряды, и дома побогаче, целиком каменные. Это до революции.

Потом церкви, спасибо если не сносили, но крестов и глав лишали, а в них располагали склады, клубы, овощехранилища. Не дай бог стране пережить такое еще раз. Строили хрущевско-брежневские коробки, и многие селяне с радостью переезжали в отдельные квартиры с канализацией и центральным отоплением. Вода из крана в провинции шла, как правило, коричневая, но шла же, таскать не надо.

Могло ли то, что пережило советские десятилетия, в целости и нетронутости дотянуть до наших дней?.. Н-не знаю, даже предполагать не возьмусь. Если бы сразу после перестройки, году этак в 1992-м, появилась и заработала общегосударственная программа сохранения русской старины, тотальной музеефикации среднерусских городов, наверное, получилось бы. С другой стороны, вряд ли. Дома в частном владении. Хозяин хочет — оставляет наличники, хочет — строит другой дом, более современный, на том же месте. Хвататься за голову, рвать на себе волосы? Тянет, да, потому что русский наличник — это наше исконное достояние, такого нигде больше в мире нет. Ну, так если он обветшал, распадается, что делать? Мастеров нет. Или в доме холодно и нужно его утеплить? Сайдинг — штука безликая, зато значительно менее трудоемкая.

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

Один раз обшил стены и гуляй на свободе, а иначе ежегодно стены красить, не каждому охота. Почти у всех домовладельцев по машине, а то и по две. Хороша ли защита — столетней давности деревянные ворота?..

Враг номер один деревянного дома, однако, даже не сайдинг, а старая электропроводка. И горели, горели прадедовские пятистенки, равно хоромы и халупы, не потому, что злоумышленники поджигали (хотя и поджигали, а то и сами хозяева расправлялись, чтобы в квартиру переехать), а потому, что где-то искра проскочила. Старому дереву много ли надо? Сгорело здание, где раньше была станция «Скорой помощи». Да и кинотеатр «Вулкан», даром что каменный, огонь не пощадил.

Так что облик Павловского Посада, конечно, изменился даже на моей памяти. Но — не до неузнаваемости. Для сравнения: район моего московского детства совсем чужой. Я там все собираюсь прогуляться, да ноги другими маршрутами заняты. Когда случается на машине проезжать — дух захватывает: как на Марс попала.

О плохом поговорили? Проблемы затронули? Уфф. Перейдем к тому, что здесь осталось и появилось, а есть много всякого — интересного.

Не захлебнуться бы мне в обилии сведений, не утонуть бы в любви, в памяти...

Если ехать сюда смотреть город, то лучше на пару дней и с хорошим экскурсоводом. Или на своей машине, но тоже не меньше чем на два дня. А лучше на три... или больше.

Во-первых, краеведческий музей. Это сюда я первым делом притащила мужа, чтобы оценил, на какой земле ему предстоит строить дом и возделывать сад — дача наша в Назарьеве, одна остановка на электричке. Земля-то древняя, культурная, археология небедная. Здешние топонимы — Клязьма, Вохна, Дрезна — финно-угорского происхождения, как, собственно, и Москва. Так что жили здесь меряне да мурóма, кривичи и вятичи, жили не тужили и то посуду били, то кольца-серьги теряли, то хозяйственную утварь меняли, а старую выбрасывали. Археологам раздолье. Кстати, здесь уже, считай, Мещера, Мещерская сторона, ау, Паустовский, Константин Георгиевич, слышите меня?.. Сейчас его книжка как-то подзабылась, а в 70-е годы ее постоянно по радио читали, и я аж замирала: есть же где-то на свете место с таким волшебным названием, наверное, никогда мне до него не добраться. И невдомек было, что добраться не надо, я уже здесь.

Племя меря, кстати говоря, дало название одной из недалеких небольших речушек. Правда, со временем она стала именоваться Нерской, потому что через «М» неблагозвучно как-то получается. Зато Вохну с Вохонкой никому переименовывать в голову не пришло. Ну и Клязьма, вездесущая подмосковная Клязьма. Любимая моя река. Детство. Отрочество. Юность. Зрелость. Не за горами старость. А ей хоть бы что.

О речи речь со мной
ведут
река и воздух волглый.
В них столько ритмов, смыслов,
интонационных перепадов и склонений,
что, кажется, услышала сейчас:
«Мы говорим и дышим».

Река моя!
То Леною прикинется, то Летой —
на самом деле Клязьма. Я рядом выросла.
Рассказом кажутся изведенные воды
и каждый выступ илистого дна.

То зарастет она, то обмелеет, то разольется вдруг.
Но не ослабевает
течение,
и лед тяжелый
уста не сковывает
никогда.

Зимой черна. Весной голубоглаза.
Она течет о том о сем, не зная,
что слушать некому. Ее несет
о том, что линии береговой скольжение
должно же кончиться когда-то.
Но знать
зачем об этом? Что ей до него?
Меж пальцами скрипучая вода
проходит в землю, ежится, ершится,
и вот смотрю, она опять в реке,
как будто я ее не забирала...

Откройся, речка, мне.
Реки мне слово. Хочу
услышать наставление твое.
Она молчит. Наверное, боится,
что тайну я не сохраняю?

Со мной когда-то ты была ребенком.
Со мной выросла.
Мне же умирать
придется без тебя.
Не жаль — ведь ты
вобрать меня успела столько,
что и по смерти буду я смотреть
на небо, вглубь, и станет мне казаться,
что я теку куда-то — и впадаю...

Где поселение, там ремесла, где ремесла, там народное искусство. Все обычно. Кто как, а мы с семьей любим краеведческие музеи. Вот смотришь на рыболовный крючок за стеклом витрины и думаешь: тыща лет прошла с тех пор, как на него рыбу ловили, а надо же, не затерялся, хоть сейчас в дело. Или вот пряслице. Такое каменное колечко. Ученые до сих пор спорят, зачем эти штуки нужны были. Вроде грузик, а вроде и не грузик. Чудно...

Тогда, в 90-е, мы с мужем как в музей вошли, сразу увидели огромное живописное полотно — жемчужно-серый зимний пасмурный день, спящие деревья, глубокий горизонт. Это была картина Владимира Владимировича Самодеева, художника, всю свою творческую жизнь отдавшего малой родине. В Павловском Посаде далеко не один живописец; другой патриарх — Юрий Александрович Федоренков, с которым нам и познакомиться посчастливилось. Работают здесь и помоложе мастера: Андрей Белоусов, Андрей Бозин, Ирина Ратушняк. Да разве они одни?

Выставляться художникам здесь есть где, скоро расскажу.

Краеведческий музей стоит на Большой Покровской улице, ее-то и пересекает железная дорога. Выйдя из музея (его, кстати, из электрички видно, деревянное здание в русском стиле, справа по ходу движения, как заметили — сразу двигайтесь на выход), киньте взор влево, в противоположную от железки сторону. Там несколько приятных зданий в стиле провинциального конструктивизма; где-то там давным-давно стояли гипсовые памятники вождям мирового пролетариата — до наших дней не дожили ни вожди, ни скульптуры: гипс недолговечен, как и коммунистическая идея. Ленин уцелел — ну очень причудливый. А вправо, по диагонали от Большой Покровской, уходят кварталы старинных деревянных домов, причем многие сохранили традиционный облик. В той же стороне и краснокирпичные фабричные здания, еще один лик здешних промышленных городишек. Текстильное производство в нашем регионе было развито, фабрики строили с размахом.

Если вы на машине, решительно отложите на час поездку в центр и двигайтесь по Большой Покровке до Носовихинского шоссе, а там направо и налево, к Рахманову, до революции богатому торговому селу. Сразу после кладбища чуждая краснокирпичная церковь Святой Екатерины, построенная, конечно, недавно, в начале XX века — да здесь все этого времени, не раньше, — после революции немедленно превращенная не то в склад, не то еще во что-то подобное и за 70 с гаком лет обветшавшая почти до неузнаваемости. Однако отреставрировали. И до того хороша она с двумя своими шатрами и высоким крыльцом! Внутреннее убранство здания после возвращения Церкви было устроено Иваном Николаевичем Серегиним, здешним жителем, бизнесменом, коллекционером икон и живописи, человеком большого внутреннего эстетического чутья и вкуса.

А теперь вернитесь к музею, пересекайте железную дорогу и идите (тут лучше проходить, пока все недалеко) перпендикулярно ей, по той же Большой Покровской. Минут пять-семь, если останавливаться для фотосъемки — десять, и вы на площади Революции. Кстати говоря, обратите внимание на два двухэтажных дома по левую сторону: каменный низ, деревянный резной верх. Когда-то они принадлежали купцу Ширину. Не так давно один, что поближе к площади, сгорел. Говорили, поджог, но у нас так всегда говорят. Восстановили. Новодел? Как по мне, и ладно, главное, что как было, так и стало, ничего не поменяли.

По той же левой стороне (в центре площади, конечно, Ленин, уже более официальный) — дом купца Давыда Ивановича Широкова (не путать с Шириным!), и вот в нем-то и открыли в 90-х выставочный зал. Мы впервые приехали туда, когда он только-только начал работать. Помню первого директора, легендарную Маргариту Ивановну Маркову. Доброты неимоверной, любви к искусству — не измерить. Мы с нашей группой художников «Арт-Широкофф» (она же «Дети Широкова») чего только не делали в этом зале. «Маргарита Ивановна, а можно сена привезти для инсталляции?» — «Можно». — «Маргарита Ивановна, а можно в потолки вкрутить крючки, чтобы щиты подвесить?» — «Вкручивайте, только в провода не попадите...»

Смертен человек... Да и мы не молодеем: уже под потолок неохота взлетать; прежде чем что-нибудь вкручивать, трижды подумаешь, а не получится ли на пол поставить. Не так давно мы в Доме Широкова сделали, уже вместе с обновленным музейным коллективом и изменившимся составом художников, выставку «В поисках пейзажа». Ирина Ратушняк искала идеальный образ березы, Андрей Бозин прошелся по истории русской живописи и сделал восемь холстов в разной манере. А я, вроде как куратор, нахватала работ от всех и отовсюду — и витражи, и скульптура, и батик — и повесила-поставила-положила аж 165 экспонатов. И еще примерно сорок не влезли.

С недавних пор и флигель во дворе Дома Широкова принадлежит выставочному залу (раньше там стоматология была). Основное здание здешнего Музея платка на ремонте, так что, к добру или к худу, но экспозиция пока здесь. И ходить никуда специально не надо.

Стоп. О платке и шали до сих пор ни звука. А надо ли? У фабрики девиз: «Цветы России на ваших плечах». Таки они на плечах, и нет у павловопосадской шали никаких маркетинговых ограничений. Как вырастет девочка, так и скажет маме, мол, хочу платок, как у тебя, у тети, у соседки. Мода меняется, а платки остаются, вот ведь парадокс. В 90-х, когда все закрывалось, мы страшно боялись, что и платочную мануфактуру постигнет та же участь. Нет! Новые хозяева оказались людьми понимающими, модернизировали производство. Мы однажды и в цеху побывали, заказ у нас был для журнала, муж фотографировал, я писала.

Платочному производству лет много-много. В 90-е годы рассказывали, что в Отечественную войну 1812 года увидели русские солдаты восточные шали, привезенные Наполеоном из Египта для супруги, и возжелали делать такие же.

О подобных сюжетах Анна Андреевна Ахматова говаривала: «Благоуханная легенда». Как сейчас вижу: стянул Бонапарт с округлых Жозефиновых плеч восточную шаль и помчался, спеша и падая, в село Павлово или в Вохну (городом, Павловским Посадам, объединенные села стали в 1845 году) показывать партизану Герасиму Курину заморский трофей... между боями, надо полагать.

Герасим Курин, кстати, историческое лицо: он был командиром отряда, разгромившего части корпуса маршала Мишеля Нея после того, как был занят Богородск (Ногинск), который отсюда всего-то в полутора десятка километров. Но набивные платки ни при чем.

На самом деле все просто. Земли здесь неплодородные, Мещера все же, болота, песок. Соснам хорошо растется, а вот сельским хозяйством заниматься, конечно, можно, но результат будет иным, чем в Черноземье. То есть семью прокормить получится, но все-таки лучше иметь бы приработок. Потому и процветали маленькие кустарные производства. Недаром неподалеку — Гжель, сорок минут на машине, а раньше, до революции, чуть в другой стороне был еще и старообрядческий центр Гуслицы, где вручную копировали церковные книги, писали иконы. Резали здесь и узорные рамы для зеркал, красивые, нарядные, по всей России расходились. Я в свое время в местной антикварке одну купила за триста, как сейчас помню, рублей, а вторую мне из горелого дома отдали, мы ее с сыном отреставрировали в свое время. Тогда я и поняла, что не быть моему мальчику реставратором, терпения не хватит ему. А жаль.

От Гуслиц, увы, только слово осталось да в музеях экспонаты. Не так давно увидела гуслицкую икону в музее Новый Иерусалим в Истре — прослезилась от счастья.

Недалекое от Павловского Посада Орехово-Зуево (станций пять-шесть по железной дороге от Москвы) и в советское время — город ткачей. А сколько в округе гончарных производств действовало, не сосчитать: глины было хоть ешь. Сейчас, говорят, только негодная осталась.

Так вот, считается, что первые кустари заработали в Павлове в 1795 году — раньше, чем Наполеон отправился в Египет за шальями. Это по документам. Может, конечно, и задолго до 1795-го, кто же их считал-то, маленькие крестьянские промыслы...

Платочная мануфактура связана с двумя купеческими именами — Василия Ивановича Грязнова и Якова Ивановича Лабзина. О Грязнове вы еще забыть не успели, в краеведческом музее были только час назад, там о нем много. Местнотимый святой. Тоже понятно: регион ведь исконно старообрядческий, а до 1905 года со старо-

верами в России боролись жестко, даже храмов своих они иметь не могли. Грязнов ратовал за обновленное православие, за официальное никонианство.

Если вы ехали в Павловский Посад по Горьковскому шоссе, то на повороте после Бунькова и Кузнецов могли заметить примечательную церковь, белую, очень изящную. Отстроена она сравнительно недавно, а так с 80-х стояла в руинах, такой я ее и помню. Представить было нельзя, что она так хороша. Старообрядческая как раз, во имя Анны Кашинской. Построена в 1909 году по проекту архитектора Ильи Евграфовича Бондаренко, между прочим, помощника великого Федора Осиповича Шехтеля. После 1905-го, когда вышел царский указ о веротерпимости, и до революции Бондаренко проектировал и строил преимущественно для старообрядческих общин, церкви у него получались исключительно хороши: умел он совместить модерн, абрамцевский стиль и северные традиции деревянного зодчества. В Москве в Малом Гавриковом переулке стоит храм пророка Захарии и преподобномученицы Елизаветы по его проекту, тоже очень красивый. Поди ж ты, как полюбили модерн староверы, кто бы мог подумать.

Город Орехово-Зуево, точнее, крупные села Орехово, Зуево и поселок Никольское (единым городом они стали только в советское время) тоже населяли преимущественно староверы. О Гуслицах говорилось уже. И вот Грязнов, получается, оказался кем-то вроде миссионера, хотя сейчас это, конечно, диковато звучит. Но мы же путешествуем: в пространстве, а значит, и во времени.

Итак, сначала в выставочный зал, а потом на временную экспозицию русского платка и шали. Музей создан на основе частной коллекции, которую Владимир Федорович Шишенин начал собирать в 90-х. Купил у антиквара шитый золотом новгородский платок... и пошло-поехало. Музей открылся в 2002 году. Коллекцию собиратель подарил родному Павловскому Посаду. Теперь это отдел объединенного местного Павловопосадского музейно-выставочного комплекса.

Устали от высокого искусства? Можете пересечь крошечный скверик с танком и довольно вкусно, хотя и неразнообразно поесть в кафе напротив. Здесь вообще голодным не останешься, хотя гастрономический туризм как будто не профильный. С танком, кстати, история забавная. Толком никто не знает, откуда он взялся. Говорят, остался от путча 1991-го, когда танковая колонна шла на Москву, а один по пути не то поломался, не то заблудился, не то потерялся, словом, остался где-то на каком-то фабричном дворе, хотели за ним вернуться, да забыли или плюнули, а потом местные власти решили его приспособить под памятник, чего добру пропадать. Вот и стоит, сердешный, мирный такой. Рядом скамейки в виде домашних собачек. Травка растет. А налево уходят еще кварталы старых деревянных домов, там тоже есть на что полюбоваться в смысле наличников, мезонинов и прочей милой сердцу дореволюционности.

В двух шагах от Дома Широкова — музей космонавта Валерия Быковского. Да-да, он родился здесь, как и всем памятный замечательный артист Вячеслав Тихонов, не только Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны», но и Андрей Болконский в «Войне и мире», это если о самых известных ролях. Но его музей в другой стороне.

Мы же на площади Революции, а значит, видим знаменитую колокольню. Был в городе замечательный краевед Виктор Феофилактович Ситнов (1949—2017), так мы с ним, помнится, пришли к выводу, что все-таки она построена в стиле ампира, а не классицизма. А может, нам так захотелось. В любом случае она такая прекрасная по пропорциям! Чуть-чуть пизанская (это видно, если вернуться на Большую Покровскую, стать к Ленину лицом и взглянуть ему за спину), что совсем ее не портит. Ну, не портило же Натали Гончарову-Пушкину легкое косоглазие.

Колокольня — единственное, что сохранилось от Воскресенского монастыря. ныне символ города. В советское время монастырскому храму не повезло: хранили в нем газовые баллоны, ну и... Колокольню взрыв не тронул. Собираются и основное здание отстроить, но когда это еще будет. Колокольня красиво стоит, на высоком берегу речушки Вохонки. Я еще помню, как по сторонам улицы к речке спускались двухэтажные дома, красивый был ландшафт. Сейчас там то ли долгострой, то ли вечноремонт, не разберешь. Но вид на колокольню и он не портит. Если на электричке подъезжать к Павловскому Посаду вечером, то слева по ходу увидишь ее — единственное подсвеченное здание. И Грязнов, и Лабзин, и Широков вкладывались в монастырь, жертвовали огромные средства.

А не переходя Вохонку, чуть правее, вглубь — церковь Казанской иконы Божией Матери. Если же двигаться прямо, через речку и дальше по направлению из города, то справа будет Покровско-Васильевский монастырь, тоже с очень красивой колокольней. Его строительство опять-таки связано с именем Якова Ивановича Лабзина. Стиль называется то историзмом, то ложнорусским. Кто-то его любит, кто-то считает дурновкусием, в любом случае свое обаяние есть и у него. Здания из красного кирпича — как Исторический музей в Москве. Получалось грандиозно, купцы небедные были и не скупились. Недаром этот архитектурный стиль еще купеческим называют.

Но лучше оставьте этот маршрут на потом, потому что по улице Льва Толстого (она продолжает Большую Покровскую) еще есть куда съездить. Да и налево можно повернуть, там тоже кое-что интересное. Так что пока обогните площадь, не испугавшись двух советских зданий напротив Дома Широкова, и нырните в проезд между ними. Обнаружится чудный дореволюционный квартал с бывшим пожарным депо, а над ним каланча в первозданном виде: советской власти она не занедалась, ее и не тронули.

Пришла, однако, пора отправиться за сувенирами. Налюбовавшись на каланчу, двигайтесь к водонапорной башне, не ошибетесь, а потом вниз по улице Кирова. Не забывайте поглядывать по сторонам. Несколько старых деревянных частных домов по правой, на одном мемориальная доска: здесь родился и вырос замечательный русский поэт Олег Григорьевич Чухонцев.

...Ох, как давно это было. Я школьница, второе полугодие девятого (или уже десятого?) класса. К нам в школу приезжает выступать Олег Ряшенцев, страшно тогда популярный как автор песен к телефильму «Д'Артаньян и три мушкетера». Выступает, рассказывает... В конце, как всегда, вопросы. Я тяну руку: «А как вы думаете, кто из современных поэтов останется в русской литературе на века?» — и называю несколько громких-звонких имен, тогда у всех на слуху. «Ни один из них, — отвечает Ряшенцев, — а останется Олег Чухонцев».

Как в воду глядел...

Этот город деревянный на реке —
словно палец безымянный на руке;
пусть в поречье каждый взгорok мне знаком
как пять пальцев — а колечко на одном!

Эко чудо — пахнет лесом тротуар,
пахнет тесом палисадник и амбар;
на болотах, где не выстоит гранит,
деревянное отечество стоит.

И представишь: так же сложится судьба,
как из бревен деревянная изба;
год по году — не пером, так топором —
вот и стены, вот и ставни, вот и дом.

Стой-постой, да слушай стужу из окон,
да поленья знай подбрасывай в огонь;
ну а окна запотеют от тепла —
слава богу! Лишь бы крыша не текла!

Как можно в таком, казалось бы, простом тексте выразить так много, не приложу ума. И сравнить судьбу с домом.

На Кирова сохранилось довольно много старых зданий, но в основном каменные. Школа в стиле модерн, почти у самого поворота к вокзалу — замечательный небольшой домик, низенький, но с огромным барочным шишаком: вон они, вкусы купечские. Кому принадлежал, не знаю. А магазин Павловопосадской платочной мануфактуры слева, его видно.

Про магазин рассказывать не буду. Я туда с некоторых пор не хожу, только картинки в сети смотрю и на выставках бываю: куда это все девать-то? Столько платков, сколько у меня есть, за жизнь не сносить. Плеч, конечно, два, но пара-то одна!

Один из самых популярных узоров шалей — «Молитва»: крупные цветы расположены несколькими концентрическими кругами. На каждой четвертой, ну хорошо, преувеличиваю, пятой женщине вижу. Рисунок (правильно это называется «крок», собственно рисунок, который потом, при печати, можно сделать хоть в красной, хоть в коричневой гамме) XIX века, реконструирован легендарной Златой Александровной Ольшевской (1920—2011). Я ее помню. Маленькая такая старушка. А какой художник! Сколько напридумывала всего! Послевоенный — после Великой Отечественной, я имею в виду, — расцвет фабрики связан с ее именем. Художники здесь и до сих пор замечательные, причем многие параллельно с кроками для шалей занимаются станковой живописью. Потому-то Павловский Посад был и остается городом художников, что традиция, как ни крути, двухвековая.

А дальше — фабричное здание, и при нем отдельный музей.

Говорю же, одним днем здесь ну никак не обойтись.

На Кирова, кстати говоря, несколько кафе. Очень приличных.

В провинции вообще кормят вкуснее, чем в столицах. Оно и понятно: в мегаполисе как ни приготовь, кто-нибудь да сожрет, поток посетителей велик, а в маленьком городке по физиономии за невкусную еду схлопотать очень даже можно. Охота была, проще продукты не портить.

Держу, держу в памяти, ведь обещала показать кое-что от Воскресенской колокольни. так что поели, отдохнули — и давайте обратно к ней.

Встали лицом, увидели — налево уходит улица. По направлению к Филимонову. Вам туда, только небыстро.

Интересные дома начнутся минуты через три и по правой стороне. Жемчужина деревянного Павловского Посада — дом купца Александра Егоровича Соколикова, еще одного местного фабриканта. Великолепный образчик абрамцевского стиля, весь кружевной. Фабрика у Соколикова была шелкоткацкая. Фабричные здания красоты неимоверной (провинциальная неоготика, не фунт изюма!) находятся дальше, по той же улице 1 Мая, по которой вы едете. Отреставрировать бы их, да и дом заодно... На той

же улице стоял еще один деревянный красавец, но ГИБДД, владеющая зданием, решила, что с сайдингом проще. Несколько резных элементов спасла Ирина Ратушняк, сейчас они украшают мою комнату. Предприятие вовсю действует. Опять-таки у меня весь дом в филимоновской продукции, друзья-соседи снабжены гобеленовыми скатертями, покрывалами и салфетками. Не пожалейте времени, зайдите в фабричный магазин. То есть если вы, конечно, любите текстиль, как люблю его я. Но тут даже крепкие орешки, бывает, трескаются и, прижимая к груди наволочку мечты для декоративной подушки 30 x 30, выходят с твердым намерением вернуться. Сама свидетель.

Традиция, традиция. Художественная традиция одухотворяет землю.

Ну и двигайтесь обратно по той же улице, держа направление на Воскресенскую колокольню. На углу сверните налево и поезжайте по Льва Толстого. С правой стороны будет поворот на Покровско-Васильевский монастырь. Сейчас ухоженный, особенно красив он летом, цветники здесь разбивают грандиозные. Покойный И. Н. Серегин тоже в него вкладывался, но не он один, конечно. До революции здесь была женская обитель, а после, когда монашек выгнали, а кое-кого и расстреляли как врагинь советской власти, заселили сюда, в кельи, городских бездомных-бездомельных жителей, в основном гопоту. И не было в городе шпаны страшнее «монастырских», как их звали.

Дальше, дальше. Узнаете маршрут? Да-да, та же дорога от Кузнецов, по которой вы ехали, если на машине или автобусе. Безлошадным придется или заранее изучать расписание местных автобусов, или раскошелиться на такси — пешком далековато, да и по большей части тротуаров нет, это не для пешеходов путь. Но теперь не торопитесь вновь повидать церковь Анны Кашинской, ищите указатели «Большие Дворы» и «Княжий Двор». Вам туда.

Дело не в моей любви к краеведческим музеям и к старинным предметам — вот ее я старалась скрыть, как могла, однако шило в мешке, как известно, все равно колет. Но еще больше я люблю людей, которые делают что-то прекрасное для других и радуются сами. В данном случае получился Княжий Двор.

Больше всего мы с мужем боялись, что в музее под таким названием нам покажут «а-ля русс на любой вкус». Поэтому поехали туда далеко не сразу после открытия...

Придется дорогому незнакомому читателю выдержать еще одну благоуханную легенду, правда, не такую уж и сомнительную. Жил да был князь Александр Невский, великий победитель крестоносцев на Чудском озере в 1242 году. И было у него четыре сына. Всем им, как положено, он раздал уделы по старшинству. Младшему, Даниилу Александровичу, достался самый плохонький, ну совсем захудалый. Силенок у князюшки набиралось маловато, войска никакого, оттого он и не воевал, а жил мирно.

И сбегались к нему из других княжеств те, кто битв не жаждал, а хотел просто жить и добра наживать. А стан Даниила, будущего первого князя Московского, как вычислили краеведы, находился как раз на месте нынешних Больших Дворов и назывался так же, только в единственном числе — Большой Двор. Потому что бедный не бедный, а все-таки князь.

И потому музей, который здесь организовался, так и называется — Княжий Двор. Создан он по инициативе предпринимателя, председатель совета директоров ПО «Берег» Владимира Викторовича Ковшутина. Кстати, историческая реконструкция Вохонского сражения между отрядом Герасима Курина и частями маршала Нея проходит в Павловском Посаде тоже по его инициативе. Часть музейной экспозиции посвящена событиям двухвековой давности и их современному отражению.

Краеведы считают, что в XIII веке на этой территории жили также княжеские ремесленники, обслуживавшие потребности властителя. Сейчас здесь центр народных

ремесел. А помимо этого — краеведческая экспозиция, собранная силами местных жителей, не пожалевших отдать в музей то, что хранилось от бабушек-прадедов. Поскольку жизнь не стоит на месте, глянь, а вчерашний день — уже история, собирают здесь и коллекцию предметов советской эпохи. Опять-таки фондообразователями во многом становятся граждане Павловского Посада. Даже я, слезами жадности обливаясь, привезла сюда мешка три милых сердцу мелочей. С мягкотелым и пластмассоворуким Буратиной, найденным на дачной помойке, расстаться не получилось: жаба раздулась и скрутила лапы на моей тоненькой шейке. Так что Буратино со мной.

А как не отдать, когда они тут над каждой коробочкой трясутся и готовы какую-нибудь упаковку от чая неделями повсюду искать?!

Я тут понарасказывала всякого, а сколько упустила. Жили в Павловском Посаде знаменитые братья Марковы, один художник, другой ландшафтный дизайнер, озеленивший пол-Москвы, а в родном Посаде устроивший сад непрерывного цветения. И церкви не все показала. И о парках ни гу-гу. Можно подумать, тут земной рай. Да нет, конечно, так же, как везде, и заботы, и горе, и усталость, и скука. Одно дело турпоездка, другое — каждодневная жизнь, быт. Мы тоже на даче, как и все, то полем, то строим, то чиним, то красим. Повзрослевший сын не так давно взвыл: «Да почему я должен с понедельника по пятницу вкалывать на работе, а потом на выходных то же самое на даче?! Отдыхать хочу!» Почему бы, действительно, не ввести новый жанр — дачный отдых? Не очень получается, однако стремление важнее успеха.

Все дело рук: и церковь восстановить, и музей открыть, и сад возделывать. Дело рук того, кто живет. А для туриста, если вдуматься, тоже работа — глаз и чувств.

Дело рук. Люблю я созидание. И созидателей люблю. Не так важно, деньги вкладывать или кирпичи класть. Главное, что результат остается.

Церковь Анны Кашинской на прощание блеснет вам главкой. А если путешествовать не надоело, то при выезде из Кузнецов сворачивайте не налево, к Москве, а направо, к Владимиру. Через полтора часа будете созерцать Золотые ворота.

Ой, нет, вру, через два: вы же остановитесь в Покрове?

Непременно остановитесь. Там же пряники!

КАК СВОБОДА ПРИШЛА В РОССИЮ

«До воцарения Екатерины, — отмечала исследователь ее царствования Исабель де Мадариага, — в просвещенном обществе не замечалось никаких признаков, свидетельствующих о том, что хоть кому-нибудь приходила бы в голову мысль об отмене крепостного права». Но саму молодую Екатерину — немецкую принцессу, читавшую книги французских просветителей, — мысль о недопустимости рабства все-речь беспокоила. Великие идеи Запада приходили в столкновение с реальностью Востока, где ей по воле случая довелось стать государыней.

Первые попытки

По всей видимости, во время своей ознакомительной поездки по Лифляндии в 1764 году Екатерина начала думать о проблеме крепостного права. А когда она собрала Уложенную комиссию, вопрос о крепостничестве встал в полный рост. В своем знаменитом «Наказе» (1767), написанном для комиссии, императрица, основываясь на трудах Монтескье и Беккариа, высказала много прогрессивных суждений и отмечала, в частности, что все подданные должны быть подвержены одним и тем же законам, а также, что власти должны избегать случаев, приводящих людей в неволю. При этом в подготовительных материалах к «Наказу» Екатерина высказывалась конкретнее о способах освобождения крестьян, но, предчувствуя, очевидно, настроения членов комиссии, в итоговый документ их не включила.

Даже расплывчатые суждения о воле и неволе, оставшиеся в «Наказе», не получили в деятельности комиссии никакого развития. Дворяне энергично обсуждали вопросы о наделении себя, любимых, новыми правами и о сохранении прав старых, но не о самоограничении хоть в чем-то. По сути дела, их настрой немногим отличался от позиции депутатов от «самоедов», заявивших, что они, мол, люди простые, пасут оленей, не нуждаются в уложении и просят лишь запретить русским соседям и начальникам притеснять их.

Познакомившись наконец с истинными настроениями господствующего сословия, Екатерина обнаружила вдруг, что «не было и двадцати человек, которые по этому вопросу мыслили бы гуманно и как люди. <...> Мало людей в России даже подозревали, что для слуг существовало другое состояние, кроме рабства». Когда Вольное экономическое общество (ВЭО) с подачи государыни объявило конкурс работ

Дмитрий Яковлевич Травин родился в 1961 году. Специалист в сфере экономической истории и исторической социологии, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге с 2008-го по 2024 год. Автор книг «„Особый путь“ России: от Достоевского до Кончаловского», «Как государство богатее: путеводитель по исторической социологии», «Почему Россия отстала?», «Русская ловушка» и др.

о проблеме земельной собственности и об имущественных правах крестьянства, лишь 7 из 160 сочинений написали россияне. Причем в них даже не ставился вопрос об отмене крепостничества, а в лучшем случае предлагалось защитить права крестьянина на пользование землей, на фиксированный размер повинностей и на независимый суд с помещиком в спорных случаях.

Князь Щербатов — один из наиболее сильных консервативных спикеров Уложенной комиссии — прямо заявлял в ходе прений, что даже добровольно помещик не должен давать крестьянам свободу, поскольку никто лучше хозяина не сможет о них позаботиться. Робкие попытки отдельных лиц возразить Щербатову решительно пресекались председательствующим. А поэт Александр Сумароков в своей записке для ВЭО даже не утруждал себя никакими аргументами: «Впрочем, свобода крестьянская не токмо обществу вредна, но и пагубна, а почему пагубна, того и толковать не надлежит». По оценке великого историка Сергея Соловьева, в России должны были еще целый век формироваться представления о том, что рабство — это признак варварского общества, что подобное состояние крестьянства оскорбительно для людей, имеющих притязания на образованность, что честь и слава дворянства требуют не бить и угнетать людей, а вести себя прямо противоположным образом.

Михаил Сперанский иронично и даже зло прокомментировал историю с Уложенной комиссией: «Государыня Екатерина Вторая, пленясь понятиями философов, в то время в великой славе и во всей свежести бывших, вообразила народ российский довольно совершенным, чтоб допустить его к великому делу законодательства — хотела заставить черемис и остяков размышлять и умствовать. Но что произвели сии в цепях законодатели? Прочитайте их журналы». Надо заметить, правда, что ирония Сперанского не вполне справедлива в отношении нравов 1760-х годов. В то время не только у «черемис и остяков», но также у пруссаков, поляков и народов империи Габсбургов сохранялось крепостное право. «Рабское состояние» было нормальным состоянием, одним из возможных вариантов существования даже для обществ, считавших себя цивилизованными. И российское общество не могло чувствовать себя отсталым из-за такой «мелочи». Екатерина хотела сделать, как лучше, а подданные хотели, чтобы все оставалось, как всегда. Неудивительно, что «государыня черемис и остяков» отказалась от мысли о свободе крестьянства. Императрица ведь с юности умела адаптироваться к реальным обстоятельствам, поскольку ей приходилось жить при дворе Елизаветы Петровны, где Екатерину не слишком жаловали. А печальная история быстрой утраты популярности Петром III показала ей, насколько опасно идти наперекор традициям и привычкам влиятельных российских кругов, даже если ты являешься государем. Отдельные вспышки недовольства в гвардии (на рубеже 1760—1770-х годов), вызванные слухами о возможном освобождении крестьян, наводили на мысль о верности поговорки «Не тронь лиха, пока спит тихо». С. Соловьев справедливо отметил, что гордый и высокомерный тон у Екатерины чувствовался лишь во внешней политике, «во-первых, потому, что здесь нет личной опасности, во-вторых, потому, что такой тон в отношении к иностранным державам нравится ее подданным».

Даже среди противников крепостничества Екатерина могла далеко не на всех опираться. Например, Александр Радищев был вовсе не конструктивным реформатором, а, как отметила сама государыня, мартинистом, хуже Пугачева. В «Путешествии из Петербурга в Москву» доминируют описания проблем, но порой встречаются и предложения: «Сокрушите земледельческие его орудия, сожгите его риги, овины, житницы, и развейте пепел по нивам». В общем, познакомившись с нравами своих подданных, императрица отбросила «западнические» иллюзии и стала править в соответствии

с обстоятельствами. Тем более подоспела большая война, оказавшаяся настолько увлекательным делом, что Екатерина целиком погрузилась в дипломатические и армейские проблемы. Победы над турками приносили ей славу и народную любовь. А в промежутках между трудами праведными была еще и любовь многочисленных фаворитов. Правление Россией оказалось настолько комфортным, что лишь очень мужественный и убежденный в своих идеях человек мог бы продолжить непопулярную борьбу с «рабством». Прагматичная, рационально мыслящая и далекая от фанатизма Екатерина Алексеевна не была, конечно же, таким человеком.

Ходили слухи про документ, в котором Екатерина намеревалась объявить, что любой человек, рожденный в семье крепостных после 1785 года, считается свободным. Но историкам так и не удалось этот документ найти ни в каких архивах. По-видимому, подобного намерения у императрицы никогда не имелось.

Не удалось продвинуться вперед Екатерине и в делах, связанных с расследованием и вынесением судебных решений по политическим преступлениям. Со времен Петра I, когда политическое противостояние резко обострилось, здесь царил полный деспотизм. Порой политических преступников осуждал лично монарх (самый известный случай — стрелецкие казни), порой — своеобразный суд, сформированный из верных ему людей (самый известный случай — расправа с царевичем Алексеем), но в любом случае дело не могло пойти против воли государя или государыни. Екатерина вела себя в основном так же, как ее предшественники. Хотя в истории с участниками пугачевского восстания она была явно гуманнее, чем Петр в истории с участниками стрелецких бунтов, персональные расправы (с княжной Таракановой, с Александром Радищевым) определялись личным желанием императрицы, а вовсе не ходом следствия. А в деле умело защищавшегося Николая Новикова «маски» оказались сброшены, и подсудимого именным указом укатали в Шлиссельбург на 15 лет «по силе законов». Так писали всегда, когда осудить по конкретной статье закона было невозможно. Наверное, двуличие Екатерины могло бы дать очередной материал для рассуждений о том, что русский деспотизм носит неевропейский характер, однако к концу ее царствования разразилась Великая французская революция, и якобинский террор породил такое бесправие, что на его фоне екатерининская Россия стала выглядеть образцом умеренности.

«Царствование Екатерины, — отмечал американский историк Джеймс Биллингтон, — являет собой драматическую иллюстрацию конфликта между просвещением в теории и деспотизмом на практике; конфликта, характерного для столь многих европейских монархов XVIII столетия». А русский историк Василий Ключевский высказался значительно проще: «В ее деятельности больше эффекта, блеска, чем величия, творчества». От Екатерины «шли идеи, незнакомые русскому обществу, но под покровом этих идей развивались и закреплялись старые факты нашей истории».

Младореформаторы

Примерно через полгода после того, как императором стал Александр I (16 октября 1801 года), его учитель швейцарец Фредерик Лагарп представил докладную записку, в которой дал характеристику групп интересов, способных повлиять на ход возможных преобразований. Большая часть общества, конечно, записывалась им в противники. Но если Екатерина II в свое время полагала, что не было и 20 человек, способных думать о свободах, то Лагарп, как отмечал историк Натан Эйдельман, выделяет прогрессивные группы: «образованное меньшинство дворян, некоторая часть буржуа, „несколько литераторов“, возможно, „младшие офицеры и солдаты“». Примерно о том же иными словами говорил мемуарист Ф. Лубяновский: «Надобно было видеть тогда движение

свежей по виду, здоровой и радостной жизни; молодое, и не по одним только летам, поколение прощалось <...> со старосветскими предрассудками; кругом пошли головы от смелого говора о государственных вопросах <...> надежда, как видно, веселила сердца».

Просвещение общества, смена поколений и появление генерации молодых людей, размышлявших о причинах и последствиях французской революции, сделали свое дело. Образованное меньшинство (типа грибоедовского героя Чацкого) отвергало теперь не только рационализм Павла Петровича (желавшего на грани XVIII и XIX веков править чуть ли не как в XVII столетии), но и суждения «забытых газет времен очаковских и покоренья Крыма». Биография адмирала Николая Мордвинова показывает, как возникали люди новой генерации. Мордвинов учился в Англии в середине 1770-х годов, когда там было издано «Богатство народов» Адама Смита. Двадцатилетний юноша с интересом воспринял новое учение и стал его приверженцем. Впоследствии он переписывался с Иеремией Бентамом, чьи идеи также стремился распространять в России. Другой пример — будущий реформатор Михаил Сперанский, который за границей не учился, но в молодости имел возможность читать Вольтера, Дидро, Лейбница, Кондильяка, Ньютона, Локка и многих других популярных тогда мыслителей. Третий пример — молодые люди из Вольного общества любителей словесности, наук и художеств: Иван Пнин, Василий Попугаев. В начале XIX столетия у таких людей появилась возможность объединяться в небольшие кружки для размышлений о просвещении России и ее конституционном устройстве. Основываясь на зарубежном опыте, Пнин отстаивал необходимость защиты собственности и личной безопасности человека.

Даже чисто литературные общества, вроде того, что собирал Алексей Оленин (в будущем директор Публичной библиотеки и президент Академии художеств) у себя в имении «Приютино» под Петербургом, косвенным образом оказывали воздействие на интеллектуальное развитие России. Наконец, большой интерес представляет случай Николая Карамзина, который в юности примыкал к просветительскому кружку Новикова (где на него оказали большое влияние старшие товарищи С. Гамалея и А. Кутузов), а затем приобретал знания в ходе длительной поездки по Европе.

Сразу после переворота, свергнувшего Павла, в беседе Александра с графом Строгановым было определено, что суть необходимых России преобразований сводится к обеспечению прав гражданина, заключающихся в защите его имущества и в свободе делать все, что не наносит вреда другим. Однако пути достижения цели были для нового государя неясны. В итоге император со своими молодыми друзьями стал обсуждать реформы, но характер этого обсуждения принципиально отличался от того, что делала Екатерина в 1760-х годах. Если бабушка вынесла дискуссию об обустройстве страны на суд избранных народом делегатов и сразу оказалась шокирована их консерватизмом, то внук стал строить планы перемен в узком кругу компетентных и прогрессивных соратников. Соратники стремились сохранить самодержавную власть царя ради возможности осуществлять решительные преобразования. Провал екатерининских благих пожеланий настраивал на мысль, что реформы должны исходить не столько от общества, сколько от императора. А поддержку они могут получить в той части общества, которая настроена с государем «на одну волну». Например, даже будущий декабрист Николай Тургенев отмечал, что в свое время сочувствовал неограниченной власти, защищая ее необходимость для освобождения страны от чудовишной эксплуатации.

Еще при жизни Павла I Александр Павлович наметил план ликвидации крепостного права. Но план нуждался в доработке группой «экспертов». «Реформаторским

штабом» стал кружок молодых друзей императора: Николай Новосильцев, князь Адам Чарторыйский, граф Павел Строганов и граф Виктор Кочубей. Эти люди долго жили в Британии, посещали Париж в годы революции, в общем, имели реальные представления о том, что происходит на Западе. На вторых ролях в кружке оказался молодой чиновник Михаил Сперанский, которому поручалась техническая работа по воплощению идей младореформаторов в конкретные проекты.

Любопытно, что при обсуждении отмены крепостного права почти не шла речь об экономике. Доминировали моральные аспекты проблемы. Рабство эмоционально отвергалось, и в этом младореформаторы были похожи на молодую Екатерину. Разница же состояла в том, что в александровском поколении небезразличных людей было уже больше, чем в екатерининском.

В этом кругу младореформаторов, как отмечал Чарторыйский, «Строганов был самый пылкий, Новосильцев самый рассудительный, Кочубей самый осторожный, я же самый бескорыстный и старавшийся успокоить чрезмерное нетерпение». Пылкость с рассудительностью следовало сочетать для того, чтобы пройти между Сциллой самодержавия, нарушающего имущественные права и свободы подданных, и Харибдой революции, которая, как видели теперь многие на французском примере, оказывается в какой-то момент хуже самого непросвещенного абсолютизма. Строганов полагал, что опасность в крестьянском деле состоит в отказе от перемен, но император проявлял осторожность, стремясь лишь к улучшению сельского быта таким образом, чтобы не раздражать помещиков и не волновать крестьян.

Ярким проявлением подобной осторожной стратегии стал указ о вольных хлебопашцах (1803), согласно которому помещики имели право (но не были обязаны) отпускать на волю своих крестьян. То есть в той мере, в какой у нас формировалось просвещенное дворянство, желающее свобод для всего населения, и в той мере, в какой у крестьянства имелись деньги для выкупа, государь был готов нанести удар по крепостному праву. Но поскольку доля такого дворянства и такого крестьянства в общей массе была невелика, появление вольных хлебопашцев проблему крепостничества не разрешило. Некоторые помещики — например, декабрист Михаил Лунин — указом воспользовались, но их оказалось мало. Практически никто из известных в либеральном и даже радикально-революционном лагере людей 1840—1850-х годов не отпустил своих крестьян.

О прямом противоречии интересов крестьян и дворян в этом вопросе писали авторы той эпохи. Порой Александр заговаривал с дворянами об отмене крепостного права, но сталкивался с почти неприкрытым сопротивлением, свидетелем чего был, например, князь Сергей Трубецкой. Александр Павлович имел, конечно, лучшие исходные условия для решения проблемы крепостного права, нежели его бабушка, однако он не мог не помнить о том, как вооруженные люди решали судьбу России на протяжении почти целого столетия. Реформаторские проекты Сперанского, скорее всего, были до поры до времени интересны императору, надеявшемуся обнаружить в них механизм, позволяющий получить поддержку заинтересованных в реформах групп интересов. Однако при всем значении этих разработок они не способны были сотворить чудо. Сперанский не мог сконструировать такую волшебную модель, при которой государь усиливал бы свои политические позиции даже в том случае, когда шел против основной массы дворянства в решении крепостнической проблемы. Неудивительно, что в итоге Сперанский, не оправдавший ожиданий императора, попал в опалу, и всякие попытки модернизировать страну были, как и во времена Екатерины, заморожены вплоть до конца текущего царствования.

Но к 1825 году российское общество вновь немного трансформировалось, и в нем наконец сформировалась критическая масса людей, не только откликающихся на желание императора что-либо реформировать, но и готовых размышлять о свободе вне зависимости от импульсов, идущих сверху. Наиболее образованные и информированные люди знали теперь не только об идеях Французской революции, но и о Кодексе Наполеона, о стремлении многих европейцев заимствовать наполеоновские идеи, о начавшейся борьбе Англии с рабством, об отмене крепостного права не только в Габсбургской империи, но и в Пруссии. Пожалуй, можно сказать, что в России впервые формировалось поколение людей, чувствующих культурное отставание своей страны от соседей. Если в начале XVIII века Петр со своими «птенцами» был обеспокоен лишь отставанием военным, то теперь (после победы над Наполеоном) Россия, наоборот, оказывалась военным лидером Европы, однако мыслящую часть общества это не так уж и радовало. Возникло представление о необходимости перемен, никак не связанное с милитаристскими планами страны.

Декабристы

Именно формирование нового поколения, отличающегося такими представлениями, породило движение декабристов. Если Александр в начале XIX века был истинным центром кружка своих друзей и младореформаторы без него вообще вряд ли сформировали бы какую-то организацию, то декабристы все делали «снизу». При этом они исходили из своих знаний об иностранном государственном устройстве, сложившемся за последние десятилетия. Многие из них получили систематическое образование в Московском университете, Царскосельском лицее или Московской школе колонновожатых — будущей Академии Генштаба. Но главным было даже не это, а обретение личного опыта в ходе разнообразных заграничных поездок и при чтении книг выдающихся мыслителей. То, что полвека назад знала в России чуть ли не одна Екатерина, теперь стало базой для формирования мировоззрения целого поколения дворян. Уже вернувшись в Россию после победы над Наполеоном, участники событий говорили, что принимали участие в важнейших исторических событиях и им невыносимо теперь бессмысленное существование в Петербурге, наполненное пустой болтовней стариков о преимуществах прошлого.

Но были ведь не только военные походы, а еще и целенаправленное изучение Запада. Когда у арестованных после восстания декабристов спрашивали, откуда они заимствовали свободный образ мыслей, Николай Бестужев отвечал: «Бытность моя в Голландии 1815 года, в продолжение 5 месяцев, когда там устанавливалось конституционное правление, дали мне первое понятие о пользе законов и прав гражданских; после того двукратное посещение Франции, вояж в Англию и Испанию утвердили сей образ мысли. Первая же книга, развернувшая во мне желание конституции в моем отечестве, была „О конституции в Англии“. <...> Впрочем, все происшествия последнего времени во всей Европе, все иностранные журналы, современные истории и записки, и даже русские журналы и газеты открывали внимательному читателю пользу постановления законов». Примерно о том же говорил Петр Каховский, отмечавший значение книг, размышлений и поездки за границу. Сергей Волконский рассказывал, как важно для него было пребывание в Париже, Лондоне и в разных местах Германии. Павел Пестель объяснял на примерах из истории Англии, Испании, Франции и Португалии, как сформировался его взгляд на будущее России. Михаил Фонвизин и Владимир Штейнгель связывали формирование своего мировоззрения с чтением книг по

истории. Александр Тургенев так внимательно изучал парижскую жизнь, что его приняли за шпиона, и он должен был оправдываться: «...одна любовь к изящному, к пользе России влечет нас всюду, где надеемся найти или наставлений для себя, или обогащение идей, или указание общественных открытий, заведений». Парадоксально, что именно воздействие полученного за рубежом опыта оказалось определяющим даже для консерватора Александра Бенкендорфа, который во время пребывания во Франции узнал, как эффективна может быть жандармерия для поддержания политического режима.

Отмена крепостного права представляла собой важнейший элемент разных программ, составленных декабристами. В них имелись существенные отличия — освобождать ли крестьян с землей, без земли или, возможно, оставить решение данного вопроса до созыва Учредительного собрания, — но так или иначе «рабство» должно было уйти, поскольку в цивилизованной стране ему не оставалось места. При этом вновь вставал в полный рост вопрос о той форме государственного устройства, которая обеспечит экономические преобразования. Декабристов условно можно разделить на демократов и автократов. Если, скажем, в составленном накануне восстания манифесте князя Сергея Трубецкого говорилось об организации выборов Учредительного собрания, то в «Русской правде» Павла Пестеля шла речь о формировании Временного верховного правления, в обязанности которого входило уничтожение рабства. «Если найдется среди дворян такой „изверг“, — отмечал Пестель, — который будет противиться мероприятиям Верховного правления по отмене крепостного права, надо такового злодея безызытно немедленно взять под стражу и подвергнуть строжайшему наказанию яко врага Отечества и изменника противу первоначального коренного права гражданского». Подобная диктатура должна была длиться, по Пестелю, 10–15 лет, но, скорее всего, она задержалась бы на более долгий срок из-за понятной нам сегодня сложности решения проблемы. Поскольку Пестель предполагал освобождать крестьян с землей (причем давал им больше, чем затем дали даже Великие реформы Александра II), то требовалось отнимать ее у помещиков, и это формировало бы мощные группы интересов, противостоящих реформам. Острый конфликт становился неизбежен.

«Русская правда» предполагала обеспечить гражданам России всех наций священное право собственности и одновременно подавлять те «буйные» народы, которые не готовы были жить в буржуазном обществе. Их Пестель намеревался переселить в глубинку, раздробив на малые группы. Таким образом получалось, что ради обеспечения успешного развития новой свободной России значительная часть населения должна была утратить возможность жить свободно в том месте, где хотелось, и вести тот образ жизни, который был привычен. «Русская правда» демонстрирует, что Пестель хорошо понимал, насколько сложное сочетание интересов (между социальными группами, между этносами, между регионами и т. д.) образует Российскую империю, и готов был использовать авторитарные средства для сглаживания или даже силового разрешения противоречий.

На пути к Великим реформам

Поражение декабристов привело к тому, что вопрос о реформах оказался отложен надолго. Николай I, наследовавший престол после смерти Александра I, на первый взгляд вроде бы проводил политику, прямо противоположную свободолубивому курсу своего старшего брата. Однако расхождение путей этих двух братьев определялось, скорее всего, не столько их личными характерами, сколько объективными об-

стоятельствами. Если Александр Павлович в момент восшествия на престол надеялся на поддержку значительной части общества, то Николай Павлович общества боялся. Даже той реформаторской его части, которая вместо поддержки преобразований, осуществляемых сверху, вышла вдруг бунтовать на Сенатскую площадь. Новый император понял, насколько шатким может оказаться российский престол в том случае, если влиятельные группы интересов (особенно вооруженные) попробуют его расшатать. Объективно царь вынужден был с первого дня своего царствования опереться на консервативную часть общества, поскольку прогрессивная часть в лице декабристов сделала ставку на его брата Константина.

В 1834 году Николай признавался, что говорил об отмене крепостного права со многими из своих сотрудников и ни в одном из них не нашел прямого сочувствия. Шеф николаевской жандармерии Александр Бенкендорф прекрасно понимал, что крепостное состояние — это пороховой погреб под государством, но полагал при этом, что не следует спешить с просвещением, поскольку просвещенный народ может поднять руку на своих правителей.

Конечно, консерватизм жандармов хорошо известен. Но репутация николаевского министра финансов Егора Канкрин вроде бы неплоха. Финансисты у нас часто считаются либералами. Тем не менее Канкрин отнюдь не стремился к переменам. Одно лишь название записки, подготовленной им в 1827 году, много говорит о «готовности» Егора Францевича к сложным и энергичным действиям: «О постепенном улучшении крепостного состояния крестьян без вреда для помещиков и без потрясения внутреннего спокойствия». Согласно воспоминаниям графа Павла Киселева, Николай I говорил ему, что давно убедился в необходимости преобразования положения крестьян, «но министр финансов от упрямства или неумения находит это невозможным. Я его знаю и потому настаивал на необходимости заняться пристально и, увидев, что с ним это дело не пойдет, решился приступить к нему сам».

Канкрин вообще скептически относился ко всему новому. Он полагал, в частности, что железные дороги годны лишь на то, чтобы уничтожать капиталы. С его точки зрения, они лишь «усиливают наклонность к ненужному передвижению с места на место». Кроме того, Канкрин был противником акционерного начала и кредитных орудий обращения: «...действительная потребность в них явится разве что через тысячелетия». Частные банки, с его точки зрения, соответствовали не монархическому, а республиканскому образу правления. Достопочтенный Егор Францевич полагал, что лучшей моделью является «семейная промышленность», где работник поистине счастлив, тогда как фабричная промышленность в Европе порождает нищету. Машины увеличили потребление, не дав людям ни богатств, ни счастья. «Министр финансов Николая I говорит языком Сисмонди или народников нашего времени», — констатировал экономист Михаил Туган-Барановский.

Консерватизм этот вряд ли можно назвать разумным. Не прошло и двух десятилетий с момента кончины Егора Канкрин, как в России по инициативе александровского министра финансов Михаила Рейтерна возник бум строительства железных дорог. Целый ряд магистралей был спроектирован в 1862 году, а с 1867-го до середины 1870-х годов началась просто железнодорожная горячка. Одновременно строились заводы для производства рельсов, паровозов и вагонов. Возникали частные банки. Акции и облигации помогали аккумулировать капитал проектов развития коммуникаций, поскольку государство за счет бюджета создавать железные дороги не могло.

Но при таких соратниках, как Бенкендорф с Канкриным, а также непосредственно тормозившие реформы военный министр Александр Чернышев, министр внутренних

дел Лев Перовский или новый (после кончины Бенкендорфа) шеф жандармов Алексей Орлов, осуществлять преобразования императору оказалось сложно. Сохранялась опасность потерять друзей в одном лагере, не приобретя их в другом. Тем не менее Николай понимал необходимость реформ и, как умел, продолжал их готовить. «Нет сомнения, — говорил он, — что крепостное право в его нынешнем положении у нас есть зло». «Я не понимаю, — отмечал царь в ином случае, — каким образом человек сделался вещью и не могу объяснить себе этого шага иначе, как хитростью, обманом, с одной стороны, и невежеством — с другой». При этом землю он считал дворянской, заслуженной «нами или предками нашими, но крестьянин, находящийся ныне в крепостном состоянии почти не по праву, а обычаем <...> не может считаться собственностью, а тем менее вещью».

В период николаевского царствования подготовкой преобразований занимался граф Киселев, который ранее сумел осуществить реформы в оккупированных Россией дунайских княжествах, где крестьяне не только перестали быть крепостными, но и приобрели гражданские права. Реформы Киселева существенно изменили в лучшую сторону положение государственных крестьян в России. Однако, несмотря на все киселевские разработки, по-прежнему оставалось неясно, как конкретно решить проблему крестьян помещичьих, примирив конфликтующие группы населения. Работа секретных комитетов (в 1846 и 1848 годах их возглавлял будущий император Александр Николаевич) ни к чему не привела. И дворяне, и крестьяне считали землю своей, поэтому при ее разделе неизбежно появлялись проигравшие. А поскольку оптимального варианта раздела, минимизирующего риск возмущения той или иной стороны, так и не было найдено, Николай предпочитал топтаться на месте, хотя очень ценил графа Киселева и часто с ним откровенно беседовал о важных проблемах развития России. «Я, конечно, самодержавный и самовластный, но <...> никогда не решусь приказывать помещикам», — честно признавался царь при обсуждении крестьянского вопроса.

Преобразования в судебной сфере развивались примерно так же, как в крестьянской. Граф Дмитрий Блудов (конформист и убежденный поклонник самодержавия) по велению императора подготовил проект реформы гражданского судопроизводства и даже ввел в него по примеру центральноевропейских стран некоторые элементы состязательности. Но их одобрению мешало упорное сопротивление министра юстиции графа Виктора Панина. Волокита с обсуждением деталей тянулась до смерти Николая I, а при его наследнике встал уже вопрос о более серьезных преобразованиях, и блудовский проект умер.

Самые важные изменения во времена правления Николая происходили все же не в государственном аппарате, а в обществе, где шел, по выражению Александра Оболенского, «процесс медленного размывания прежних стереотипов». Публицист Иванов-Разумник назвал николаевское время эпохой официального мещанства, имея в виду, что власть, опасавшаяся западных веяний, делала все возможное для препятствования развитию интеллектуальных процессов. Возможно, это была слишком жесткая характеристика, но цензура, аресты, а также ограничения на заграничные поездки действительно мешали свободомыслию. И все же остановить трансформацию общества не удалось. В 1830—1840-х годах оно вновь коренным образом стало меняться, причем в больших масштабах, чем раньше. Если в 1830 году на всю страну было лишь три публичных библиотеки, то в 1842 году их стало сорок две. Люди стали больше читать. «Умственная жизнь начинает быстро развиваться в нашем поколении, — отмечает в 1832 году в своем дневнике молодой университетский преподаватель Александр Никитенко, сын крепостного (мать и брат его оставались в не-

воле, даже когда он стал цензором и главным редактором журнала). — Но пока еще это жизнь младенца. Все в ней незрело: только порывы к благородному и прекрасному. <...> Нет еще самостоятельности в умах и сердцах».

Тем не менее III отделение констатировало, что в России есть общественное мнение, которое нельзя навязать сверху и которым можно лишь в известной степени манипулировать в том случае, если удастся его отследить. Как отмечал историк российского либерализма Виктор Леонтович, «это была эпоха, в которую незаметным образом один строй сменялся другим, а именно — крепостной строй строем гражданским». Пришло новое поколение людей, значительно лучше своих отцов и дедов знакомое с событиями, происходившими в различных европейских странах. Да и сама Европа к тому времени качественным образом изменилась. В итоге воздействие постепенно утверждавшейся в Европе свободы на Россию стало значительно более сильным, чем раньше. В отчете III отделения за 1827 год говорилось, что «молодежь, то есть дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть империи».

Выдающийся российский историк и правовед Борис Чичерин лучше всех объяснил суть такого возникшего в новом поколении явления, как западники. «Никакого общего учения у них не было. В этом направлении сходились люди с весьма разнообразными убеждениями: искренно православные и отвергавшие всякую религию, приверженцы метафизики и последователи опыта, социал-демократы и умеренные либералы, поклонники государства и защитники чистого индивидуализма. Всех объединяло одно: уважение к науке и просвещению. И то, и другое очевидно можно было получить только от Запада, а потому сближение с Западом они считали великим и счастливым событием в русской истории». В принципе славянофилы, как и западники, уделяли большое внимание открытиям, совершенным в разных европейских странах, но при этом упор делали на самобытность отдельных народов, формирующуюся под воздействием местных обстоятельств. В плане отмены крепостного права, развития земского самоуправления и формирования хорошего суда образованные славянофилы были, по сути, западниками, хотя их взгляд на историю и глобальные перспективы России оставался специфическим.

Появление такой категории интеллектуалов, как западники, свидетельствовало, что часть общества осознанно и целенаправленно стремится модернизировать Россию по взятому из-за рубежа образцу. К этому времени сформировалась определенная когорта людей, которая получила образование в Германии (как пушкинский «Владимир Ленский с душою прямо геттингенской», который из «Германии туманной привез учености плоды: вольнолюбивые мечты, дух пылкий и довольно странный») и восприняла германскую философию в качестве последнего слова науки. В немецкие университеты юношей выпускали легко, поскольку российским властям Германия казалась здоровой и патриархальной в отличие от буйной, революционной Франции. Однако тайное франкофильство было в Германии очень сильным, а потому студенты возвращались в Россию с комплексом прогрессивных европейских идей. Некоторые русские мыслители нового поколения в тот момент взяли за образец даже германскую философию особого пути, чтобы выстроить аналогичную систему в России. Но большая часть все же, не мудрствуя лукаво, стремилась к тому, чтобы осуществить у нас реформы, близкие по духу германским, и сделать техническую революцию, близкую по духу английской. А самые радикальные западники мечтали о социальной революции на манер французской. Именно тогда один из героев Стендаля сказал, что русские делают все то же самое, что французы, но с опозданием на пятьдесят лет.

Первое знакомство с немецкой философией в Московском университете относится к 1820-м годам, когда из-за границы вернулся профессор М. Павлов и начал приви-

вать шеллингианство. Сформировался кружок Любомудров (Владимира Одоевского и Дмитрия Веневитинова), а позднее — кружок Николая Станкевича. Со временем интерес к Шеллингу трансформировался в интерес к Гегелю. «Упоение гегелевской философией с 1836 года было безмерное у молодого кружка, собравшегося в Москве во имя великого германского учителя», — отмечал Павел Анненков. С 1835 года в Московском университете немецкая наука — по свидетельству Константина Кавелина — «стала преподаваться целым кружком талантливых и свежих молодых профессоров». А по свидетельству Александра Герцена, вслед за поражением польского восстания 1830 года у некоторой части русской молодежи стал на месте «детских» революционных воззрений формироваться интерес к европейской философской мысли от Шеллинга до Сен-Симона. В результате между прогрессивными профессорами и мыслящими студентами установились сердечные отношения. «У Грановского, у Кавелина, у Редькина в назначенные дни, — вспоминал Чичерин интеллектуальную атмосферу 1840-х годов, — собиралось всегда множество студентов; происходили оживленные разговоры не только о научных предметах, но и о текущих вопросах дня, об явлениях литературы». Для молодых людей, приехавших в Москву из провинции, в этих кружках открывался совершенно иной мир — мир размышлений и знаний, мир благородных побуждений. Важную роль в развитии умов нового поколения играл Тимофей Грановский, обладавший уникальным обаянием и прекрасно умевший общаться с молодежью, ради которой готов был отложить свои научные занятия. Он много говорил студентам о становлении западного общества и формировании идей свободы, равенства, братства. При этом другой ведущий профессор — Константин Кавелин — давал трезвый взгляд на отечественную историю.

Представители власти по достоинству оценили роль Московского университета в развитии свободомыслия. В отчете III отделения отмечалось, что либеральные идеи возникают у молодых людей, обучавшихся у иностранцев, у воспитанников лицея и пансиона Московского университета. А Николай I, проезжая как-то мимо университетского здания, выразился предельно лаконично: «Это волчье логово».

Будущие творцы Великих реформ Александра II тоже проходили через кружки. В Петербурге реформаторски мыслящие чиновники, профессора, литераторы собрались вокруг братьев Николая и Дмитрия Милютиных, стремившихся к экономическим и политическим свободам, но не признававших нелегальных способов борьбы за них. В свой петербургский период жизни (1848—1855) к этому кружку примыкал Кавелин, служивший с Н. Милютиным в Министерстве внутренних дел и познакомивший его с Грановским. Записка Кавелина «Об освобождении крестьян в России» (1855) оказала большое воздействие на реформаторские процессы 1860-х годов. Учеником Кавелина являлся Чичерин, выступавший не только за отмену крепостничества, но и за серьезные реформы, включавшие установление индивидуального землепользования вместо общинного.

Новые идеи, формировавшиеся как в больших университетских аудиториях, так и в узких интеллектуальных кружках, стали в эту эпоху быстро распространяться по России благодаря журналам, которые, по справедливому замечанию Александра Герцена, «вбирают в себя все умственное движение страны». Кроме того, журнал был адаптирован к текущему состоянию умов. Как отмечал Василий Жуковский, работая над «Вестником Европы», книга «действует исподволь на некоторых частных людей, и очень медленно; напротив, хороший журнал действует вдруг и на многих, одним ударом приводит тысячи голов в движение. <...> Сочинения, обычно помещаемые в журналах, не требуют такой утомительной работы внимания; они вообще кратки, при-

влекательны своей формой; трудишься, не чувствуя труда, следуешь за автором без всякой усталости, не замечая неволи, с приятностью, потому что видишь конец своего поприща, <...> Ум в движении, любопытство возбуждено, воображение и чувства пылают».

Фактически то же самое подметил и князь Петр Вяземский, сильно невзлюбивший в отличие от Жуковского журнальную культуру за примитивизацию сложных идей. «Благо, что заплатил я деньги, говорит подписчик, и теперь освобожден от труда и неволи ломать себе голову над разрешением того или другого вопроса. Это дело журналиста отправлять черную работу, а мне подавай он уже готовые разрешения. <...> Журнал и газета, — делает вывод Вяземский, — источники, которые непрерывным движением, капля за каплей, пробивают камень или голову читателя, который подставил ее под их подмывающее действие». Самые успешные журналы настойчиво, упорно и увлеченно предлагали публике свои мнения, повторяя их раз за разом. А публика эта, по оценке философа и правоведа Бориса Чичерина, пассивно воспринимала чтение, не желая ни думать, ни работать.

Журнал представлял собой конструкцию, оптимально приспособленную для распространения новых идей. Он мог «заманивать» читателя звучным именем великого писателя, публиковавшего роман в целом ряде номеров с продолжением, но одновременно в тех же номерах предлагал острую публицистику, выдержанную в духе времени. Кроме того, в самих романах стали появляться дидактические отступления и рассуждения. Особое место в литературе заняли, как отмечал Виссарион Белинский, «так называемые физиологии, характеристические очерки разных сторон общественного быта». В результате современные западные интеллектуальные веяния, переработанные небольшой группой мыслителей в Москве или Санкт-Петербурге, принимали упрощенную форму, адаптированную к восприятию массового образованного читателя, и достигали дальних городков, уединенных помещичьих усадеб, а также консервативных поповских семейств, в которых подрастали неконформистски настроенные молодые поповичи.

Цензура по мере сил стремилась, конечно, бороться с «тлетворным влиянием Запада». Но то, что запрещалось к изданию в переводе, свободно можно было приобрести у букинистов на языке оригинала. Таким образом, в целом влияние западных идей существенным образом оказывало воздействие на ту ситуацию, которая сложилась в России. Новые поколения в большей степени, чем их отцы или деды, испытывали на себе воздействие западного свободомыслия и в меньшей — давление старых традиций. Вследствие этой перемены постепенно начинали трансформироваться старые группы интересов. Хотя помещики продолжали зависеть от крепостного труда и болезненно воспринимали намерение освободить крестьян, в дворянстве все больше становилось людей, которые ставили во главу угла моральную нетерпимость к рабству. Характерен в этом смысле эпизод из дневника Александра Тургенева, встретившегося в Лондоне с борющимся за уничтожение рабства квакером, которому прислуживал свободный негр. Тургенев описывает «черную рожу, которая встретила нас у крыльца его. Это был арап, но с какой счастливой и добродушной физиономией, какой я еще не встречал и в белых неграх! <...> Я вздохнул, подумал о России и взглянул с глубоким чувством зависти и умиления на счастливого арапа».

Падение рабства

Еще до отмены крепостного права свободный и «рабский» труд конкурировали друг с другом, причем преимущества свободного понемногу начинали проявляться. Металлургия, возникшая еще в XVIII веке на крепостном труде, стала со временем развивать-

ся медленнее. Россия в середине XIX столетия заметно сократила свою долю в мировом производстве чугуна на фоне быстрого технологического прогресса ряда западных стран. Но при этом отечественная хлопчатобумажная и суконная промышленность, которая с самого начала основывалась на свободном труде, развивалась динамично. В том числе потому, что импортировали зарубежные технологии. Наемный работник, качество труда которого прямо зависело от оплаты, лучше адаптировался к сложным технологиям, чем подневольный. Уровень зарплаты в России к середине XIX века оказался высок даже по европейским меркам.

Впрочем, основной удар по крепостничеству нанесла не экономика. В экономическом смысле крепостной труд, наверное, мог бы еще какое-то время существовать, но в моральном он теперь действовал угнетающе не только на рабов, но и на господ, которые не могли себя ощущать одновременно и европейцами, и рабовладельцами. Путешествуя по западным странам, наши дворяне часто сталкивались с тем, что русских считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. «Перемена сознания незаконности права произошла не в крестьянах, а в помещиках, и, без сомнения, эта перемена инстинктивно осознается народом», — писал в 1856 году князь Дмитрий Оболенский.

Влиятельные бюрократы, утонченные мыслители, прагматичные помещики все чаще готовы были поддержать отмену крепостного права. «Крепостная система, — справедливо отмечает историк Борис Миронов, — заходила в тупик не из-за ее малой доходности, а по причине невозможности сохранения прежнего уровня насилия. <...> Время для отмены частновладельческого крепостного права наступило в конце 1850-х гг., когда общественное мнение склонилось к мысли о несовместимости крепостного права с духом времени». Точно так же, кстати, несовместимой с духом времени оказалась старая правовая система, и это предопределило необходимость судебной реформы. «России необходим еще новый Петр Великий, — писал в дневнике Никитенко. — Первый Петр Великий ее построил. Второму надлежало бы ее устроить. Теперь в ней все в хаосе. Кто выведет ее из этого хаоса?»

Ощущение нетерпимости рабства и бесправия усилило поражение, понесенное в Крымской войне. Нельзя сказать, что этот военный конфуз продемонстрировал полную невозможность развивать производительные силы при крепостнических производственных отношениях, как выразились бы на этот счет марксисты. Связь между слабостью армии, уровнем развития промышленности и внеэкономическим принуждением в сельском хозяйстве была весьма сложной, неочевидной. Однако в противостоянии различных групп интересов позор, который довелось испытать царскому режиму, неизбежно должен был укрепить позиции сторонников перемен.

В такую интеллектуальную атмосферу попал после своего восшествия на престол Александр II. Как справедливо отмечал известный публицист Дмитрий Писарев в 1862 году, «чтобы напасть на мысль об уничтожении крепостного права, мало быть гениальным человеком; надо еще жить в такое время, когда вопрос поставлен на виду, когда слышатся голоса за и против, когда, следовательно, важность этого очередного вопроса бросается в глаза даже такому человеку, который еще не знает, на чьей стороне логика и справедливость». Характерны в этом смысле также «посткрымские» наблюдения племянника графа Киселева Дмитрия Милютина, ставшего позднее военным министром. «Мертвенная инерция, в которой Россия покоилась до Крымской войны, и затем безнадежное разочарование, навеянное Севастопольским погромом, сменилось теперь юношеским одушевлением, розовыми надеждами на возрождение, на обновление всего государственного строя. Прежний строгий запрет на устное, письменное и паче

печатное обнаружение правды был снят, и повсюду слышалось свободное, беспощадное осуждение существующих порядков». «Если бы правительство после Крымской войны, — отмечал министр финансов Михаил Рейтерн, — и пожелало возвратиться к традициям последних сорока лет, т. е. к неуклонному противодействию стремлениям новейших времен, то оно встретило бы непреодолимые препятствия, если не в открытом, то, по крайней мере, в пассивном противодействии, которое со временем могло бы даже поколебать преданность народа — широкое основание, на котором зиждется в России монархическое начало».

В атмосфере массового осуждения крепостнической системы царь, справедливо полагавший, что лучше отменить крепостничество свыше, чем ждать, пока его «отменяют» снизу, мог наконец осуществлять реформы, поскольку теперь они имели широкую поддержку и не противоречили доминирующим групповым интересам. Возле Александра II сложился кружок реформаторов, важнейшим из которых был его брат, великий князь Константин Николаевич. Широкий круг чиновников, непосредственно готовивших реформы (Яков Ростовцев, Николай Милютин, Юрий Самарин, князь Владимир Черкасский и др.), образовался в госструктурах.

Таким образом, длительное воздействие на Россию идей свободомыслия, приходящих с Запада, а также практическое изучение зарубежного опыта преобразований постепенно вели к изменению соотношения сил консервативных и реформаторских групп интересов. Освобождение крестьянства выстраивалось исходя из представлений о необходимости учета интересов разных групп. Крестьяне должны были получить землю, а дворяне — материальную компенсацию за нее.

Более того, надо было устранить признаки насилия со стороны власти. Реформа представляла собой своеобразное «принуждение к миру с крестьянами», которого император требовал от помещиков. Как отмечает Борис Миронов, «выработанную программу надо было непременно утвердить и реализовать под флагом добровольной инициативы дворянства. Иначе нарушались две статьи Жалованной грамоты дворянству 1785 года: „Без суда да не лишится благородный имения“ (11-я) и „Да не дерзнет никто без суда и приговора в силу законов тех судебных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у благородного имение или оное разорять“ (24-ая). В силу этого Александр II хотел, чтобы подготовка реформы проходила гласно и, по крайней мере, формально с согласия дворянства, и чтобы ее проведение выглядело как ответ на его обращение. Тем самым отмена крепостного права легитимировалась бы в глазах общественного мнения и ответственность за его подготовку, проведение и последствия до некоторой степени ложилась бы на само дворянство». Друг императора виленский губернатор В. Назимов долго уговаривал литовских помещиков, и наконец они выступили с инициативой отмены крепостного права. Александр II милостиво с этой «инициативой» согласился. С великорусским дворянством дело обстояло сложнее, но и тут нашлась возможность продемонстрировать, что намерение освободить крестьян идет, мол, со стороны самих крепостников. «В архиве, — отмечает Борис Миронов, — нашли старые проекты петербургских помещиков о безземельном освобождении крепостных, которые были представлены как инициатива столичного дворянства».

Началась реальная подготовка крестьянской реформы. Впрочем, оказалось, что за нее выступает лишь меньшинство членов Государственного совета, несмотря на всю гуманизацию нравов, проходившую в XIX веке. И тогда император проявил волю и утвердил мнение меньшинства по всем спорным вопросам, имеющим программный характер. «Александр II, — по оценке Бориса Миронова, — принудил дво-

рян к освобождению — включив их в сценарий любви дворянства к крестьянству и государю». Царь понимал, бесспорно, всю рискованность таких действий. «Нельзя не признать за Александром Николаевичем той храбрости, которой недоставало покойному отцу его», — отмечал князь Дмитрий Оболенский. Согласно запискам князя, царь говорил накануне подписания манифеста об освобождении крестьянства, что, возможно, дворяне его убьют.

На самом деле проблемы пришли с другой стороны. Если в день обнародования манифеста крестьяне падали на колени, молясь Богу и благодаря государя за предоставленную свободу, то со временем настроения широких масс, ощутивших проблемы свободной жизни, существенно переменились. Эпоха дворянских переворотов завершилась, и началась эпоха революционная.

Отцы и дети

Примерно сто лет заняло в России продвижение от первых идей о необходимости разрыва с «рабством» до отмены крепостного права. За это время в России сменилось четыре поколения, причем каждое следующее оказывалось немножко ближе к реализации великих идей. Вряд ли сами реформаторы замечали это приближение. Многие из них умирали с чувством безнадёги и с представлением, что Россию никогда не сдвинуть с мертвой точки. Некоторые отправлялись на каторгу. Но глядя в прошлое из нашего времени, мы видим, что каждое следующее поколение было шире, сильнее, образованнее. И готовность очередных «детей» к борьбе каждый раз была больше, несмотря на поражение очередных «отцов».

Вот «вольтерьянцы» екатерининских времен. Их еще очень мало. Они затерялись со своими импортированными мыслями в общей помещичьей массе и внешне почти от нее не отличаются. Это люди, радующиеся дворянской вольности и не слишком грустящие из-за сохраняющегося «рабства». Но детям своим они нанимают французских учителей, с которыми в Россию проникают революционные идеи.

Вот «младореформаторы» «дней Александровых». Они делают рывок от вольности дворянской к вольнодумству и по мере сил стремятся реформировать страну, а не только потреблять книги наряду с картами и охотой, как делали их отцы. Но влияние этой группы основано лишь на том, что небольшая ее часть близка к императору. Отказ царя от реформ превращает младореформаторов в потерянное поколение.

Вот «декабристы», представляющие собой первое самостоятельно действующее поколение, готовое бороться за преобразования против государя и государственной машины. Они изучали не только противоречивые последствия революции, но и быстрые преобразования наполеоновской эпохи, а потому видели, в отличие от своих отцов, как быстро может меняться мир, когда у руля встают реформаторы.

И вот, наконец, «западники» — поколение, засидевшееся в николаевском застое и за это время осознавшее, что в Европе середины XIX века неприлично уже быть «рабовладельцем». Это поколение смогло на равных бороться с консерваторами, проводя свои идеи в ущерб их интересам. И оно победило, воспользовавшись окном политических возможностей, открывшимся после Крымской войны.

Любопытно, что примерно за четверть века до Великих реформ Михаил Лермонтов в стихотворении «Дума» написал: «Печально я гляжу на наше поколение! / Его грядущее — иль пусто, иль темно, / Меж тем, под бременем познания и сомненья, / В бездействии состарится оно». Поэт ошибся. Именно его поколение — люди, которые вошли в сознательную жизнь после разгрома декабристов, — смогло, дождавшись

подходящего момента, совершить радикальный поворот в истории России. В этом, конечно, не было никакого предопределения. Проживи Николай I еще пару десятилетий, реформаторство, возможно, выпало бы уже на долю следующего поколения и совпало по времени с отменой рабства не в США, а в Бразилии. Но исторический шанс совершить перемены выпал России на рубеже 1850—1860-х годов, и поколение Александра II, Лермонтова, Самарина, Кавелина, братьев Милютиных этим воспользовалось. И совершенно справедливо историк Яков Гордин назвал то, что они совершили, «великим подвигом бюрократов». А лермонтовская фраза «толпой угрюмою и скоро позабытой / Над миром мы пройдем без шума и следа» при всем восхищении поэтом сегодня воспринимается как курьез. След, оставленный Великими реформами, по сей день является основой для горячих споров, серьезных дискуссий и самых разнообразных интерпретаций.

Преобразования Александра II не были случайным явлением в истории России. Они не были маленьким частным эпизодом, затесавшимся между тиранией самодержавия и тиранией сталинизма, как полагают порой.

Во-первых, они медленно вызревали в обществе и долго готовились разными группами реформаторов — как сверху, так и снизу. Понадобилась смена четырех поколений для того, чтобы реформаторские идеи охватили значительную часть общества. И осуществлены преобразования оказались лишь тогда, когда на их стороне были не узкие группы прогрессивно настроенных бюрократов и не столь же узкие группы непреклонных заговорщиков, а широкие слои населения, полагавшие, что Россия является частью Европы и жизнь здесь должна быть организована по-европейски.

Во-вторых, все то, что происходило в России на протяжении долгого периода вызревания реформ, четко отражало суть процессов, которые шли на Западе. Отмена крепостного права в нашей стране соответствовала отмене крепостного права в Пруссии и в Габсбургской империи (а также в Польше, разделенной между этими державами и Россией). А те западные страны, в которых крепостного права к XIX веку уже не существовало, расставались с плантационным рабством и с такими близкими к крепостничеству формами эксплуатации, как энкомьенда и мита.

В-третьих, отмена крепостного права не только предоставила свободу сельским жителям. Она трансформировала всю жизнь России. Дифференциация крестьянства способствовала формированию рыночных отношений в деревне. А значительный отток части крестьянства в город создал там рынок труда, столь необходимый для индустриализации. Этот процесс начался в России еще в предвоенные десятилетия, а вовсе не в межвоенные, как полагают адепты сталинской индустриализации. Изменилась структура населения, возник быстрый экономический рост, появились группы интересов, существенно выигравшие от свободы и рынка.

Другое дело, что модернизация — это сложный процесс, не вписывающийся в былые оптимистичные представления о прогрессе как о неуклонном движении вперед. Позитивные перемены, полученные в ходе Великих реформ, стали в то же время базой для будущей трагедии России. Порой высказываются мнения, будто проблема развития состояла лишь в нерешительности Александра II, в его унаследованном от отца консерватизме и неготовности перейти от отдельных реформ к конституционной монархии. С таким представлением трудно согласиться, однако изучение вопроса о противоречивости модернизации выходит уже за пределы данной статьи.

КРЫЛАТЫЙ ПРОСТЕВ

Отправиться с Александром Простевым в расписанный им храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской — странно и удивительно. Это как если бы нас вел в храм Рождества Богородицы в Ферапонтове сам Дионисий, покрывший стены церкви горнебесными фресками. Древний мастер работал артелью, ему помогали сыновья, с Простевым вместе в составе артели работал сын Денис, в крещении, понятно, Дионисий. Посмотрев росписи питерского мастера вживую, понимаешь, что он пожал и руку, протянутую из XVII века гением русской иконописи Гурием Никитиным, старшиной костромской артели.

Кисти питерца принадлежит большой пятилетний цикл необычных картин, посвященных житию блаженной и выпущенный в 2015 году в виде прекрасного альбома «Блаженная Ксения Петербургская в живописи А. Простева» издательством «Общества памяти игумении Таисии» (ОПИТ), которое возглавляет иеромонах Александр (Фаут). Внимательными просветителями прежде были изданы альбомы Простева с «житиями» преподобного Сергия Радонежского (2008), а также святых благоверных Петра и Февронии Муромских (2009). Последствием чего стали теперь уже и фрески, и суждения о том, что Простев — «единственный, кто оживил для нас моменты жизни Ксении, начиная от ее детского изображения», и что «Простев уже вошел навсегда в историю как художник, увидевший и создавший образ Ксеньюшки таким, каким видели ее духовным зрением сотни тысяч человек». В самом деле, некоторые сюжеты и их воплощение у Простева столь пронзительны, что их невозможно созерцать без сердечных слез. Например, «Одна на целом свете», «Февральские метели» или, скажем, «Башмаки блаженной Ксении Петербургской», где Ангел-Хранитель зашнуровывает на ногах святой прохудившиеся ботинки.

В притворе прихожан встречаются некоторые «Ксеничкины» картины мастера.

Художник медленно рассматривает их, похоже, с невыразимым то ли недоумением, то ли изумлением, что картины написал именно он. Они уже живут своей, отдельной от автора жизнью. Еще сильнее этот эффект проявляется в самом храме, весьма высоком, где масштабы совсем иные: мастер замирает с запрокинутой головой, а потом поясняет нам содержание эпизодов этого «умозрения в красках», подтверждает догадку, что многие сюжеты из цикла картин, посвященных житию блаженной, включены в роспись, получив, разумеется, иконописную форму.

Станислав Александрович Минаков — поэт, прозаик, переводчик, эссеист, публицист. Автор книг стихов и прозы, энциклопедий и альбомов. Родился в 1959 году в Харькове (УССР). Жил в Белгороде, куда по причинам преследований за инакомыслие вернулся в 2014 году. В 1983-м окончил радиотехнический факультет Харьковского института радиоэлектроники. Член Союза писателей России, Всемирной организации писателей International PEN Club. Из Национального союза писателей Украины исключен в 2014-м после двадцатилетнего членства в организации. Лауреат Международной премии Арсения и Андрея Тарковских (2008), Всероссийской поэтической премии имени Анны Ахматовой (2024) и других литературных и журналистских премий России и Украины.

Также мы узнаем, что на сегодняшний день самая лучшая краска для настенного письма — силикатная. У нее такая же долговечность, что у фрески, то есть росписи по сырой штукатурке. Можно сказать, что это два разных пути к одному и тому же результату.

Весь нижний регистр росписи исполнен на тему Акафиста св. Ксении Петербургской и сопровождается текстами из него. Фактически перед нами предстает житие святой.

Мастер рассказывает нам: «В центре северной стены помещен сюжет „Собор юродивых Христа ради“. Такой иконы раньше не существовало. Но именно задача, стоящая перед росписью храма св. Ксении Петербургской, юродивой Христа ради, вывела на необходимость создать такую икону. В центре композиции находится Христос, восседающий на огненных серафимах, а по сторонам расположены образы Богородицы, Иоанна Предтечи и юродивых Христа ради. Возле Христа, в центре, расположены фигуры апостола Павла и св. Ксении Петербургской. Дело в том, что именно апостол Павел первым заговорил о юродстве Христа ради. Свиток с этими словами он и держит в руке. В этом сюжете изображены почитаемые русским народом юродивые: Андрей Царьградский, Прокопий Устюжский и Исаакий затворник Печерский, которые являются одними из самых первых юродивых Древней Руси, а также Иоанн Устюжский, Николай Кочанов и Феодор Новгородские, Иоанн Пошехонский, Исидор Ростовский, московские чудотворцы Василий блаженный, Максим и Иоанн Большой Колпак, Прокопий Вятский, Киприан Суздальский и другие. Восемнадцать видимых ликов. Остальные, как разрешает традиция, изображены условно, только нимбами, друг за другом.

И если „Собор юродивых...“ группируется вокруг Христа, то на противоположной стене он рифмуется с композицией „О Тебе радуется“, где святые расположены вокруг Богородицы с Младенцем».

Уверяют, что любимыми святыми блаженной были ее небесная покровительница прп. Ксения Миласская и апостол Матфий. Этот «малоизвестный» апостол, уроженец Вифлеема, был призван из 70-ти по жребию в 12 — вместо отпавшего Иуды. В единственном в Российской империи храме в честь ап. Матфия, располагавшемся на Петроградской стороне, Ксения Григорьевна Петрова, по утверждениям жизнеописателей, исповедовалась, причащалась, венчалась, в нем отпевали ее супруга Андрея Федоровича, и она сама была отпета (как полагают, около 1803 года). В безбожные времена храм был уничтожен, с тех пор на его месте, в центре сада, который горожане и сейчас называют Матвеевским, находится невысокий холм.

Эти места мы видим на картинах Александра Простева «Ксеничкиного» цикла. Две работы так и называются: «Раннее утро на Большой Матфиевской» (улица, которая вела к храму ап. Матфия) и «Блаженная Ксения и церковь апостола Матфия».

Лет десять назад в день памяти блж. Ксении мне прислали в соцсети черно-белую картинку прежде неизвестного мне художника, нашего современника Александра Простева, непостижимым образом связывающую и град Петров эпохи блаженной Ксении Петровой, и безбожные годы, разрушившие Матфиевский собор, и блокадный Ленинград, и извечную питерскую дождливую погоду, и ап. Матфия, моего небесного покровителя. На рисунке был изображен этот самый холмик, а на нем словно белая свеча — Ангел, вечный страж разрушенного алтаря.

...Именно отсюда, от пригорка Матфиевского храма, мы и пришли-то с Александром Простевым к храму Ксенички по Лахтинской улице, раньше носившей имя Андрея Петрова. На углу этой улицы и Большого проспекта Петроградской стороны проживала свою земную жизнь счастливая в замужестве Ксения Григорьевна. Из этого дома, к сожалению, не столь давно снесенного, она и ушла в мужнем офицерском полковничьем мундире в свою новую жизнь блаженной во Славу Божию.

* * *

Стиль, метод и дух живописи Александра Простева мы назвали однажды «ангельским реализмом», поскольку на его полотнах, малого или большого размера, часто увидишь ангелов — они сопровождают-осеняют святых и любящих, помогают пострадавшим, вступают в бой с силами зла.

В этом русле выдержан и новый альбом А. Простева «Свете Светлый» (СПб.: ОПИТ, 2024), являющийся дополненным и переработанным переизданием альбома 2014 года. «Свете Светлый, — пишет художник в предисловии к новому изданию, — это обращение к Ангелу Хранителю. Еще это свет, которым наполнены души святых. А еще это светлый свет Божий и светлое состояние души человека».

В нынешнее издание включены и новые работы художника. Многие репродукции сопровождаются авторским текстом — своего рода духовным дневником размышлений, чувств, воспоминаний. Идея совместить на книжном развороте авторские изображения и текст дала название серии альбомов художника — «Образ и слово». Если предыдущие — «Житие преподобного Сергия Радонежского», «Жития святых Петра и Февронии Муромских», «Блаженная Ксения Петербургская» — были посвящены теме русской духовности, выраженной в образах конкретных исторических личностей, то «Свете светлый» — результат поездок художника на малую родину, в Брянск и Вщиж, где он в свое время «застал еще печку, чугунные горшки, ухват». Автор книги помнит «бабушку у этой печки», которая «печет пирожки с золотистой корочкой», он, «как все дети, начал рисовать в раннем возрасте, но с тех пор так и не остановился». Глубинка для этого художника — не только географическая провинция, но и детство, «глубинка души», — оттуда и проступает окормляющий свет, а потому и свою серию картин «Свете светлый», всю подсвеченную этим несказанным светом детства, любви, ностальгии, светом, соединенным с вечностью и Небом, автор называет также «картинками из глубинки».

«...Время в русской глубинке течет более размеренно, без особой суеты... — продолжает автор книги в предисловии. — Взрослые ошибаются, считая детское видение мира наивным и несерьезным... Детская душа как никакая другая — христианка, хотя еще не знает о религиях и конфессиях. <...> А еще все дети, без исключения, рисуют. Художник, в каком-то смысле, это тот, кто с тех детских пор так и не оставил это занятие. Подлинное искусство всегда искренне и религиозно. Нерелигиозный художник — это что-то неестественное, вроде коровы в Эрмитаже».

Вообще-то, Простев, отучившийся полный курс, но «отказавшийся от защиты диплома» в Санкт-Петербургской академии художеств им. Репина (СПбГАИЖСА), старается быть строгим к себе, не любит публично говорить о своей биографии, считая это «самомумификацией». Он говорит с Богом и миром — мягким светом своих произведений, где за внешней наивностью и детскостью многих образов проглядывает серьезное осмысление бытия человека на земле.

Как литератор не могу не отметить редкую замечательность текстовых миниатюр, коими живописец сопроводил репродукции картин в своей книге. Это — стихи в прозе, самодостаточные как литературный факт, и это — духовное письмо. Кроме того, что у мастера прекрасный русский язык, его записки осенены той же любовью, тем же светом, что и картины. Они лаконичны и стилистически выверены и гармоничны. По аналогии с названием цикла фортепианных пьес Мусоргского «Картинки с выставки» я бы назвал тексты Простева «Записки к картинкам» или «Стихопроза к картин-

кам». Это и описание, и пояснение, и прояснение мотивов и образов, и притча одновременно — в каждом сопутствующем тексте художника. Мы, конечно, помним прекрасную прозу живописцев Константина Коровина и Кузьмы Петрова-Водкина, дневники Михаила Нестерова и Станислава Косенкова, записки Александра Бенуа, Ильи Репина, Игоря Грабаря, Марка Шагала, рассказы и повести Юрия Коваля, но аналогов простевским миниатюрам в русском изобразительном искусстве мне встречать не приходилось.

Чаще всего разворот в книге А. Простева представляет собой своего рода двусторчатый складень, на правой половине коего расположена картина или икона, а на левой — прямоугольник текста, прямо или ассоциативно связанный с изображением. Получается словесно-визуальный духовный диптих. Створки складня, отражаясь друг в друге, взаимноумножаются.

Приведу несколько цитат из миниатюр к полотнам, дополнившим новое издание книги «Свете светлый», название которой автор для нас еще раз поясняет, предпослав картине «Ангел небесный» цитату из Канона Ангелу-Хранителю — «Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми Ангеле».

К весьма известной и популярной картине «Домой с Ангелом», украшающей обложку книги: «Православная вера, как никакая другая, откликается в чутком детском сердце. Чистота детского сердца позволяет ребенку видеть то, что уже бывает скрыто от взрослого... ему понятны и близки русские святые, пустынники, жизнь которых протекала среди природы и зверей, с которыми святой общался как с ручными, потому что и сам обладал детской чистотой своего сердца, „духом Адамовым“».

К картине «Падал на землю снег»: «Красота присутствует во всем творении Божьем. Она зрима и не может не отзываться в душе человека. Красота — в глазах смотрящего. Но беды и горести могут так затуманить взгляд человека, что он может перестать видеть красоту: она для него как бы перестает существовать. Но красота сама по себе никуда не уходит: она всегда, несмотря ни на что, присутствует рядом с нами, ждет, когда глаза наши снова откроются. Удивительное постоянство красоты! <...> Она — свидетельство Бытия Божьего. Красота никуда не может исчезнуть, что бы с нами ни случилось. Она обязательно дождет нас!»

К иконе «Святые Иона и Вассиан Пертоминские чудотворцы»: «Часто бывает так, что я пишу иконы сам для себя, которые очень хочется написать. Читаешь жития русских святых и понимаешь, что это неисчерпаемый источник вдохновения. Наши святые неразрывно связаны с Богом, но и с русской землей тоже. А значит и с русской природой — такой поэтичной, тихой, задумчивой. А еще у нас есть святые не очень известные, если можно так выразиться, „провинциальные“. Например, в „Иконописном подлиннике“ читаем такие строки о преподобных Ионе и Вассиане Пертоменских Чудотворцах: „На монастыре в гробнице (зри) между ними велико древо именуемо рябина стоит“. <...> И я написал эту икону — со святыми, стоящими возле рябины. Ведь у Бога нет мертвых: у Бога все живы!»

К картине «Се, стою и стучу» художник дает такое размышление: «„Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечереать с ним, и он со Мною“ (Откровение, 3:20). Это означает, что Господь всегда стоит при дверях нашего сердца, которое мы или готовы открыть Ему, или держим закрытыми, потому что грехи наши и пристрастия мешают нам сделать это. <...> Мы закрываем Евангелие, и слово Божье не входит в нас, а остается по ту сторону страницы, „для апостолов“. А поэтому наша духовная спячка с житейским похрапыванием продолжается дальше».

Оттого и картиной «Время жатвы» автор напоминает нам, что в Евангелии есть притча о пшенице и плевелах (Мф., 13:24).

Отметим и деревенско-центричный русский космизм, поэтизацию Дома и Хлеба, философскую образность картин «Среди миров» и «Русская галактика». Ко второй художник предпосылает слова великого мыслителя Ивана Ильина: «Как бы ни были велики наши исторические несчастья и крушения, мы призваны самостоятельно быть, а не ползать перед другими; творить, а не заимствовать; обращаться к Богу, а не подражать соседям; искать русского видения, русских содержаний и русской формы, а не ходить в кусочки, собирая на мнимую бедность. Мы западу не ученики и не учителя. Мы ученики Богу и учителя себе самим. Перед нами задача: творить русскую самобытную духовную культуру — из русского сердца, русским созерцанием, в русской свободе, раскрывая русскую предметность. И в этом — смысл русской идеи».

Любомудрием и космизмом прежде обращали на себя внимание и полотна «Дом человеческий», «Хлеб и звезды», «Колодец», «Планета Русь», сюжет «Святое семейство» в картине «Борьба Ангела».

К картине с занимательной нотой «Епархиальное управление в провинции»: «В провинции, в глубинке, церковная жизнь не такая, как в крупных мегаполисах. Здесь батюшки не ездят на дорогуших иномарках, не живут в домах-хоромах. У меня есть знакомый священник, у которого семеро детишек, и живет он очень скромно. Если честно, бедно живет. Но после общения с ним чувствуешь, что наполнился благодатным светом».

И, с доброй назидательной улыбкой, — к картине «Отец Василий поскользнулся»: «И получается, что ведем мы себя в такой ситуации, как неразумные мальчишки на этой моей картинке, где отец Василий, повстречав ангела, то ли мимо хотел пройти, то ли обогнать его. Но поскользнулся».

Конечно, не забывает художник и «братьев наших меньших». Переворачивают душу песьи глаза в картине «Собакино горе». А вот цитата из миниатюры к небольшому полотну о пенсионере, «Кошкин защитник»: «Если бы ему, бывшему полковнику милиции-полиции, грозе бандитов, хулиганов и воров, сказали бы, что наступит время, когда он станет защитником и, даже, „ангелом-хранителем“ для местных кошек микрорайона, то он просто не поверил бы и поднял бы „прорицателя“ на смех».

Одно из «внутренних» качеств и свойств полотен и писаний этого удивительного, «необычного» художника — тишина, «благое молчание». Она сочится у Простева не только из замерших созерцательных фигур святых, но и, скажем, отовсюду — как в картине «Тихие беседы отца Никиты». Деликатно художник обыгрывает идиому «Ангельская тишина» (так называется другая картина), где на ветвях большой березы среди снегопада над голубеньким деревенским домом замерли два белых ангела.

Очень трогательна картина «На крыльях любви», где селянка летит над заснеженной улочкой мимо голубенького (!) домика, держа в каждой руке по тяжелой сумке с продуктами.

Но и озорство у Простева проявляется, причем в широком диапазоне: от лирической радости («Зимняя лепота») до обличения, как в полотне с отсылком к брейгелевским слепцам «Мимо церкви за козлом» или картине с показательным антиалкогольным названием «Вниз под горочку». Мягкую улыбку, наполненную тихим веселием духа живаго, художник дарит нам в картинах «Здравствуй, дедушка Егор», «Преподобный Трифон Кольский и медведь», да и «Преподобный Павел Обнорский», с его трогательными синичками на руках и зверьем у ног.

Крылатый Простев любит писать не только ангелов, но и птиц. Достаточно назвать его большую «Сороку из детства», «Чудо с птицами» (из серии «Житие прп. Сергия

Радонежского»)), а также философски-лиричный сюжет «Ангел и ворона», развернутый на фоне прекрасного багряного куста, колористически отсылающий к древнерусской иконе. Или «Дождь пошел. Блаженная Ксения и птичка», где бездомная святая находит приют от дождя там же, где и воробушек, — под зелеными ветвями куста. А есть улыбающаяся, но загадочная картинка «Монах и птичка».

Кусты он тоже любит — в том числе как эстетические объекты. Да что говорить, любит и старые деревянные выцветшие разномастные и поломанные заборы и штакетники, а проходя мимо старых обшарпанных гаражей, обращает ваше внимание на их «цвет, свет и фактуру» или в двух шагах от Зимнего дворца заманивает вас в закутки, помнящие еще чуть ли не Сашку Меншикова, где приглашает вместе с ним любоваться структурой саморазрушающейся старой застройки Санкт-Петербурга. Без вашего путеводного Вергилия вы бы никогда не догадались, какие нераскрытые «каменья» находятся за отреставрированными фасадами трехсотлетней набережной. Не говоря уже о долгожданном воплощении идеи «выпить Белую ночь», зародившейся у Простева лет восемь назад, но осуществленной при вашем участии, с неукоснительным следованием выношенному предписанию автора «взять белое вино, выйти к Неве, наполнить бокалы, полюбоваться отражением города в бокале, посмотреть сквозь вино на Неву, на небо, на лица близких, почувствовать, как свет Белой ночи растворяется в вине, и, когда появится ощущение, что уже растворилась, выпить этот бокал вина, наполненный Белой ночью».

* * *

В квартире Простева почти все стены заняты большими полотнами о житии блж. Ксении, а в мастерской, кроме того, и много икон, в том числе находящихся в работе. Художник пишет образа и на заказ, в том числе «мерные», но «для себя» постоянно пишет святых юродивых Христа ради, эти работы он показывает увлеченно, рассказывает про русских блаженных, многих из которых мы находим и в простевской храмовой росписи, в сюжете «Собор юродивых Христа ради», придуманном самим мастером.

Подозреваю, что Простев наиболее благодатно чувствует себя именно в кругу «взрослых детей» — русских блаженных, он «собрал» их и вложил в душу, для него они — лучшие, из возможных, человеки и собеседники.

Иконы письма Простева непостижимо и органично сочетают традицию с авторской манерой художника, непременной составляющей которой является тот самый «светлый свет».

Красоту древнерусской иконы Простев понимает как косвенное доказательство бытия Божьего. Он убежден, что древнерусская икона, «живопись исихазма» — это центр, вокруг которого на орбите вращается живопись, и выше иконописи нет ничего.

«Иконопись — это форма служения Богу, вид молитвы. Икона — это часть литургического пространства. Ничего подобного не скажешь о живописи. Но у меня не существует выбора: иконопись или живопись. В этом смысле я внутренне не разрываюсь. Есть образы, которые можно наиболее сильно выразить именно в иконе, и никак иначе, но есть образы, которые выражать средствами иконы просто ни к чему. Например, у меня есть картина, где Сергей Радонежский штопает свою прохудившуюся ризу».

Картины Простева словно подсвечены изнутри каким-то бело-золотым свечением, в самом деле отсылающим к иконному письму. Возникает впечатление, что мастер пользуется волшебными красками. Он поясняет: «Увы — живописный язык более по-

нятен и близок современному человеку, чем иконописный. Но что есть, то есть. А я люблю живопись не меньше иконописи. Так и появились мои житийные серии в живописи. Кандидат искусствоведения Виктория Гусакова считает, что живописные житийные серии — это новый жанр, в котором создается не только образ святого, но и образ его Жития».

В целом есть подозрение, что Александр Простев, соединив в рамках полотна икону с живописью, совершил духовно-эстетическое открытие, создал новый жанр также в смысле стилистическом, направление в изобразительном искусстве — «духовная живопись».

Особенно отчетливо это явлено в новой, грандиозной работе, которая не могла бы появиться до росписи художником храма.

* * *

...Выставляя на мольберт поочередно и таким образом показав нам десятки невиданных картин и икон, Александр Евгеньевич таинственно зависает у большой белой занавески, за которой кроется, похоже, что-то особенное. Снимает покров, и предстает огромное, до потолка (190 x 250 см), вертикальное сияющее полотно, которое автор еще не показывал никому, кроме своих домашних. Новое произведение, с необычным названием «Картина о том, что смерти нет».

Тема впечатляюще прозвучала еще в картине 1997 года «Помер дедушка Егор и в этот светлый день убедился, что смерти нет».

Хотя первые наброски и эскизы к новой картине про «смерти нет» появились в 2004 году, она вынашивалась до 2017 года. «Я уже картон (рисунок в натуральную величину) сделал, подрамник заказал, — рассказывает художник, — и вдруг от известного предпринимателя, общественного деятеля и благотворителя Вячеслава Заренкова поступило предложение расписать храм св. Ксении. И два года на роспись ушло. Но что интересно, написать свою картину я в прежней мастерской не смог бы — холст по высоте просто не помещался. А после росписи появилась мастерская с высотой потолков три метра, куда холст вошел без проблем. В прежней мастерской я эскиз (картон) рисовал, подворачивая нижний край бумаги, т. к. размер листа по высоте не входил. Планировал и холст потом подворачивать. Кстати, Суриков свою „Боярыню Морозову“ — подворачивал, причем холст стоял в комнате по диагонали — из одного угла в другой. У Сурикова мастерской не было, он на время работы снимал комнаты».

Я не знаю, что и как подворачивали Александр Иванов, тоже 20 лет работавший над знаменитым полотном «Явление Христа народу», или Илья Глазунов, с его гигантами «Мистерия XX века» и «Вечная Россия», но мне их огромные многофигурные полотна кажутся вымученными, если не сказать безжизненными. В чем не упрекнешь ни Михаила Нестерова с картиной «Христиане», позже получившей название «На Руси» («Душа народа»), ни Юрия Ракшу с супертриптихом «Поле Куликово» и полотном «Современники», ни Александра Простева с новой небывалой картиной, даром что изображающей отпевание усопшего.

На масштаб мысли, размер и стилистику новой картины явственно повлияли двухлетние труды по росписи храма. «Начал работу на холсте 3 февраля 2023 г., закончил через десять месяцев, — рассказывает мастер, снова и снова придирчиво вглядываясь в полотно. — Писать картину нетрудно. Главное, понимать, что ты хочешь сказать, и как сказать. Времени больше уходит на подготовительную работу, созревание, когда уже каждый квадратный дециметр картины окончательно прояснится.

У меня так дело обстоит: приходит какой-нибудь образ, складывается в эскиз, в изобразительное решение, я рисую в блокнот. Что-то реализуется в готовую картину сразу, а что-то лежит по пять, десять лет, а то и больше. Так я держу в голове с десятков будущих картин, возвращаюсь к эскизам, поправляю, дорабатываю, изменяю. Я же и сам за это время изменился. Время вносит поправки. Иногда смотрю на эскиз, который сделал пять, а то и десять лет назад, и думаю: хорошо, что я не стал писать эту работу пять лет назад. Не то получилось бы!

У меня еще есть одно преимущество — я не рвусь участвовать в выставках, а поэтому у меня ни сроков, ни спешки нет, и меня ничто не подгоняет — ни зритель, ни заказчик, ни мысль „ну надо же выставиться!“, а если что и стимулирует, то только сама работа. Это самый верный замер искренности того, что ты делаешь. В серии „Свете Светлый“ эта картина должна быть предпоследней. Последняя работа в этом цикле будет очень личная, но говорить о том, что еще не сделано — только расплескивать себя».

Чтобы мы прониклись не только видимым сюжетом, но и замыслом, мастер по нашей просьбе дал, а мы восприняли краткие пояснения к картине в целом и к ее эпизодам.

1. Композиция построена по вертикали и состоит из нижней части — мир земной, дольний, и верхней — мир Небесный, горный. Она христоцентрична, главная фигура всей композиции — Христос. Господь изображен так, как принято на русской иконе «Спас в Силах», — на фоне геометрических фигур, где ромб символизирует Огонь (духовный), овал — Небо (мир духовный), четырехугольник — землю и четыре стороны Света, в которые проповеданы Евангелия.

2. Дерево (дуб) соединяет нижнюю и верхнюю части композиции: корни дерева в земле, крона в небе. Символ известен и понятен — родовое древо, символ семьи, рода, народа. Крест — Древо Спасения рода человеческого. В верхней части находятся ангелы и люди, так же и в нижней — ангелы присутствуют среди людей. Мы видим изображенное взаимопроникновение небесного и земного. К слову, это и есть «ангельский реализм», где мир земной — это реальность, а мир Небесный — реальность высшая. Земной горизонт в картине выгнут, что подчеркивает планетарность пейзажа.

3. На картине изображены две реки: река земная как символ течения жизни, которая конечна, и вверх — река Вечности. В композиции соединены два времени года — зима на земле, и вечное лето в Небесном Царствии. Верхняя часть картины построена по принципу Деисиса. В самой верхней части изображены православные храмы — Небесный Иерусалим.

4. Среди людей можно выделить центральную группу — близких родственников. В руках у них зажженные свечи, которые на отпевании символизируют молитву о усопшем. В центре нижней части стоит мальчик, внук усопшего, — продолжение этой семьи. Он единственный из всех, чей взгляд обращен на зрителя, на нас. Над (за) группой родственников — группа певчих и человек, держащий крест.

5. Две женские фигуры слева противопоставлены друг другу по духовному состоянию: печально наклоненная голова одной женщины, ее некоторое уныние, взгляд в землю и, возможно, сомнение в бессмертии души контрастирует с поднятой головой другой, которая обращена вверх, к сцене встречи души усопшего со Христом, женщина видит это небесное событие, поет вместе с певчими. То есть контрастны молчание одной и пение другой. Можно сказать, что поющая — это образ блаженной: она и одета бедно, с заплатой на рукаве, в юбке с потрепанным подолом.

6. А справа от гроба находятся три фигуры: снизу, по восходящей, — монах, священник и сослужащий ему ангел. Еще правее стоит молодая семья — муж, беременная жена и их дочка, взгляд которой, как и взгляд ее матери и монаха, обращен вверх, ко Христу, принимающему душу усопшего. (Сюжет «В жизнь вечную»,

где покойницу, «во гробе» проносят по деревенской улице, зрители встречали уже в картине «Борьба ангела».)

7. Выше, рядом с молодой семьей, — фигуры юноши и девушки: один из них зажигает свою свечу от свечи другого. Мы понимаем: между ними что-то происходит, возгорается обоюдное чувство.

8. Задействован здесь и излюбленный прием автора, наделенного даром изображать неизобразимое — прозрачность ангельского крыла. Сквозь крыло видна горящая свеча в руках молодого человека. Ту же прозрачность видим внизу картины, где сквозь ангельское крыло просматривается лицо усопшего: еще немного, и оно целиком скроется под крылом, окончательно перейдет в мир иной.

9. По сути, в картине изображена Церковь Христова — как совокупность христиан живших, живущих, и еще не рожденных, они все представлены в картине. И, наконец, в композиции просматривается центральная вертикаль — от головы и тела усопшего вверх к вертикали креста, к душе усопшего и к фигуре принимающего его Христа, который по-отечески протягивает свои руки к душе человека, как родитель к своему ребенку.

10. Еще немаловажные детали: в глубине картины, у излучины реки, изображен голубенький (!) дом, с погасшими, черными глазницами окошек — земное жилище отпеваемого, а выше — в Царстве Божьем, мы видим как бы повторение того же дома, но с оконцами, светящимися золотом Небесного Иерусалима, тех же трех деревьев за домом, видим речную излучину, повторяющую изгиб реки земной. Хочется верить, в Царстве Божьем светлая душа человека встретит все, что любила на земле, — родина земная соединится с отчизной небесной, обретя божественную цельность и полноту. Две фигуры у открывшейся створки небесных врат, рядом с домом, — это родители усопшего. Мать, в белом виссоновом одеянии, спешит на встречу с душой своего ребенка, с которым теперь соединится навеки в Царстве Света. Потому что у Бога все живы, и смерти нет.

Когда в оторопи восхищения смотришь на эту симфонию, на этот гимн торжества православия, в тебе оживает Иоанно-Златоустово пасхальное возгласие «Смерть, где твое жало! Ад, где твоя победа!»

Простев не торопится выставлять «Картину о том, что смерти нет», она еще нигде не экспонировалась, хотя работа над шедевром завершена почти год назад. Похоже, он все еще продолжает «разговаривать» с ней.

* * *

А жизнь — жительствоует, порой проявляя и неожиданные свидетельства подлинной народности простевских произведений, которые люди воспринимают как свое неотъемлемое, как «достояние республики» — настолько, что забывают, как минимум, ставить автора в известность. В частности, интересная новость пришла в Интернет из г. Тольятти, где 9 июля с. г. была открыта гранитная композиция в виде сердца с изображением святых благоверных супругов Петра и Февронии, причем гравировка сделана по картине А. Простева «Что Бог сочетал, человек да не разлучает». А одна православная община из Бельгии уже второй раз получила разрешение на печать простевского альбома о Петре и Февронии с текстом на фламандском языке. О творчестве нашего современника Александра Простева пишут и рассказывают отечественные и зарубежные исследователи и поклонники, снимаются телевизионные сюжеты и программы, страницы Интернета изрядно полнятся подборками фото-репродукций его картин. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его».

Лариса ШУШУНОВА

«ПІД КУП'ЯНСКОМ, ЯК ШРЕДІНГЕРА КІТ...»

О военных стихах
поэта Сергея Семенова

Цикл стихов «Чернозем» петербургского поэта Сергея Семенова — безусловно, один из лучших образцов военной лирики. Мне выпала честь услышать эти стихи в авторском исполнении в конце 2023 года. В то время их автор — участник СВО — находился в Санкт-Петербурге в отпуске по случаю огнестрельного ранения.

В тот декабрьский вечер Сергей Семенов проводил презентацию своей первой (и как же хочется верить, что не последней прижизненной) книги «Ночь как ночь» в стенах Дома писателей на Звенигородской. Вот как написал об этом литературном событии Александр Вергелис в своей рецензии, опубликованной в четвертом номере журнала «Звезда» за этот год:

«И презентовать ее автор едва успел — попав в короткий временной промежуток между двумя зияниями, почти что вернувшись с того света, и снова — с пулевой печатью на лице — отправляясь туда, откуда можно уже не вернуться. В окололитературных кругах спорят зачем: из чистого ли патриотизма, в попытке ли разрубить гордые узел так называемой личной жизни, из зудящего мужского желания „испытать себя“, из русской лихости, заставляющей ходить по краю... Но, вернее всего, потому, что такова трагическая логика существования нормального романтика».

И отдельным «бонусом» прозвучал этот короткий и страшный цикл с эпиграфом из Бродского: «Удобрить землю солдатом», написанный в госпитале. Сергей читал эти стихи с трудом, так как снайперская пуля раздробила ему челюсть и повредила язык.

Цикл открывается стихотворением, ставшим пророческим в контексте судьбы самого автора:

Вернутся все. А выживут не все.
Останешься ли в лесополосе
Иль захлебнешься жирным черноземом,
Где залпом артиллерии весомым

Лариса Шушунова — поэт, эссеист, переводчик, прозаик. Родилась в 1972 году в Ленинграде. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет (исторический факультет). Публиковалась в журналах «Звезда», «Нева», «Арион», «Аврора», «Алтай». Автор книг стихов «Радиоприемник» (2007), «В поисках лирического повода. Новый поворот» (2009), романа «Волчий фьорд» (2016). Лауреат премии журнала «Звезда» за 2016 год в номинации «Поэзия». Живет в Санкт-Петербурге.

Накроет. Ни молитва, ни броня
Тебя, как танк ударит, хороня
Под битых плит и мусора курганом,
Не защитит. Эй, командир, куда нам?..

Заройся в землю. Сверху, как пила,
Жужжит над головой БПЛА
Злым насекомым, тужится, гундосит.
А ты гадаешь: сбросит ли, не сбросит?..

Здесь смерть имеет местный колорит.
Під Купянском, як Шредингера кіт,
Ты в этот миг убит и не убит.

Они и сами по себе замечательные, эти строки — с неожиданным переводом на мову названия всемирно известного мысленного эксперимента физика Эрвина Шредингера, демонстрирующего абсурдность миропорядка на квантовом уровне. С этой смыслообразующей рифмой в последних двух строках: трагическое русское причастие братается со смешным украинским существительным, вовлекая эту самую мову (как бы ни сопротивлялись этому нынешние ее носители) в контекст русской культуры — всемирно отзывчивой, всепоглощающей и всепримиряющей...

Тут, конечно, невольно напрашивается еще одна литературная ассоциация, происходящая во время событий столетней давности, но очень похожих на нынешние, — диалог про кіта и кита из «Белой гвардии» Михаила Афанасьевича...

Однако в контексте дальнейшей судьбы поэта Сергея Семенова, который месяц спустя пропал без вести на Купянском направлении после атаки украинского БПЛА «Баба Яга», эти стихи — замечательные и сами по себе — приобретают уже какие-то запредельные, инфернальные смыслы. То ли предвидение, то ли программирование собственной судьбы.

Конечно, лучше было бы написать статью об этом цикле еще тогда, когда автор был на связи: ведь знала же, что он может не вернуться... Но культурный шок, мною испытанный, невозможно было выразить обычными словами. Разве что тем самым, односложным, из финальной строфы знаменитого стихотворения Маяковского: «Вам, проживающим за оргию оргию...», выражающего для русского человека крайнюю степень ужаса и восхищения. Все-таки явление солдата СВО с шевроном ЧВК «Вагнер» на рукаве, со шрамом на пол-лица — петербургскому литературному бомонду — не каждый день встречающееся событие.

Как будто ткань бытия разошлась, и два непересекающихся мира вошли на короткое время в соприкосновение. В одном из них были литературные презентации, какие-то там премии, прения... А в другом — ужас осенней ночи, в которой над головами бойцов повисает такая маленькая птичка с характерным стрекочущим звуком, и разлетаются в разные стороны комья земли и сочные клочки человеческого мяса...

Его не спасет ни врач,
Ни друг с позывным Грач,
Его почти уже нету.
Он так надоедлив был;
Последние дни твердил:
Распишемся, как приеду.

Приедет. В черном мешке.
Вот наш, с осколком в башке,
Сказал командир: двести.

...Не струсил ни перед кем
И сдохнешь на передке,
А друг на одной ноге
Поедет домой, к невесте.

Нет, не гумилевская романтизация войны с ее серафимами за плечами воинов и ярко-красным медом, собираемым шрапнелями-пчелами... А голый ремарковский ужас.

А он говорит: уроды,
Поддержку дать не могли...
В итоге две наших роты
В подсолнухах полегли,

А он говорит про осень,
Сезона дремучий сплин.
Про ржавые ветки сосен,
Про землю, как пластилин.

Как пуля друга убила,
С которым они вдвоем...
Как будто на пуле было
Написано «не твое».

Земля по-прежнему прекрасна, и профессиональное зрение поэта, привыкшего подмечать детали, успевает фиксировать и эти ржавые ветки, и подсолнечное поле — мирный осенний пейзаж малороссийских лесостепей, ставший ареной катастроф...

И за всем этим слышится, как и двести лет тому назад, та же экзистенциальная тема, что и у автора «Валерика» (Я думал: жалкий человек. / Чего он хочет!.. небо ясно, / Под небом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует он — зачем?).

И еще страшнее оттого, что поэту приходится применять свое зрение теперь уже по другому назначению:

Реальность не сравнится с теликом,
И быть не спутаешь со сказкой.
И ты, сводящий мушку с целиком
На розовом пятне под каской,

Не мучь души чужою драмою.
Спроси: а сам здесь что я значу?
Когда возврат затворной рамою
В плечо передает отдачу.

На тела глупые старания
Прицельным глазом посмотри.

И все его воспоминания
Сотри.

Так безэмоционально и безоценочно зарифмовывается описание повседневной работы снайпера, как будто это текст технического сопровождения к снайперской винтовке. Потому что для успешного выполнения этой работы необходимо выключить в себе человека и сосредоточиться на выполнении боевой задачи. И от этой сухости и безэмоциональности становится еще страшнее. Как и от сокращения последней строки до одного-единственного слова. И действительно: зачем это лишнее «бла-бла», чтобы вписаться в размер? Оно здесь совершенно ни к чему. У настоящих поэтов даже пауза говорит больше самых сильных слов.

Предвосхищая возмущение со стороны псевдопацифистов напоминаю: стихотворение это было написано в госпитале, после прилета снайперской пули в лицо.

Чижова Анастасия.
Общенья анестезия,
Словесной игры бейсбол,
Как временный обезбол.

Лишь выпорхнет из палаты,
Довольные, ржут, солдаты:
Так что там, на передке?..
Ты это все перед кем?..

Я ржу с ними вместе. Зема,
Как наша душа земна...
Из этого чернозема
Мы вышли путем зерна.

Из этого, с**а, ада
Мы вышли путем распада,
Отринувшие труху,
Мы все ж проросли куда-то,
К чему-то, что наверху.

Помимо чисто обэриутской игры с рифмой — «Анастасия/анестезия», «бейсбол/обезбол», «на передке/перед кем» — здесь сложно не увидеть цитату из стихотворения Владислава Ходасевича «Путем зерна» (которое, по сути, представляет собой поэтическую иллюстрацию к евангельской притче о сеятеле): «Затем, что мудрость нам единая дана:/ Всему живущему — идти путем зерна».

В данном контексте эта цитата, прости, Евтерпа, производит более мощное впечатление, чем у самого Владислава Фелициановича.

В стихах Сергея образ земли проходит обратную трансформацию: из поэтического символа — в конкретный чернозем южнорусских лесостепей, который может в любой момент стать общей братской могилой. Очищенные от плевел зерна Господни — «отринувшие труху» внешних понтов и иллюзий солдаты перед лицом смерти... Да и Господь в окопах если и присутствует, то в виде неясного «чего-то, что наверху». Низовая лексика несколько не смущает, ибо очень уместна в данной ситуации (психологической и экзистенциальной), и очень органично сочетается с высокими поэтизмами.

Вот казалось бы: где СВО, а где русская эмигрантская лирика начала XX века? Удивительно: даже в таком состоянии, в госпитале, еле выживший, Сергей не забыл о поэтической переключке: настолько глубока его преданность стихам и крепка связь с традицией...

И да, «почва и судьба» поэта (о чем речь идет в вышеупомянутой статье Александра Вергелиса) — она шире и не исчерпывается стихами. Поэтому скажу еще несколько слов, к стихам не относящихся, но относящихся именно к «почве и судьбе».

В околολитературных кругах Санкт-Петербурга (почему-то иногда начинающего тяготиться своим бременем бывшей столицы империи) иногда можно услышать вялый шепоток осуждения: вот, мол, мы Семенову говорили, что не надо ему идти на войну, а он не послушался, «жаль, что он сделал такой выбор»... Как будто речь идет о хулиганской выходке малолетнего мажора, севшего за руль BMW в нетрезвом виде и устроившего смертельное ДТП (например). Так и хочется ответить гражданам, забывшим родную историю: да это, вообще-то, тот самый выбор, который сделали наши деды 80 лет назад... И если бы лучшие представители нашего Отечества не делали этот выбор сейчас, то спросите у жителей Донецка, а теперь уже и Белгорода, как бы мы жили...

Представление о военной лирике Сергея Семенова будет неполным, если не упомянуть еще одно его стихотворение, написанное также на тему войны, но — до опыта личного участия, примерно за год.

Я б хотел быть плитой, на себя принявшей снаряд.
Несущей стеной, удерживающей от удара
Здание. Но вместо этого, брат,
Я в плечо упираю приклад
И рассматриваю в прицел тебя, от пожара

Рядом полыхающего, багрового. Кто ты: москаль? хохол?..
Не поймешь по смеющейся этой роже.
Не для того ж я сюда пошел,
Чтоб убить своего же.

Своего же... Господи, десять лет
Продолжается смертельная эта тряска.
...Перед смертью, как говорят, ты увидишь свет
Выстрела. Может, даже почувствуешь, как дернулась каска.
Может, даже найдешь, что смысла в происходящем нет,
И близка развязка.

Искренность и изначальная человечность автора сомнению не подлежат. Волюнтарное стояние меж двух огней с молитвой «за тех и за других» присутствует и в этих строках Сергея.

Но — как сказано выше — они написаны были еще до участия. Увы, реальность, которая «не сравнится с теликом», ничего не оставляет от прекраснотушних иллюзий...

Здесь полагается выразить скорбь и сожаление о том, какого глубокого и настоящего поэта лишилась отечественная литература. Но я лучше выражу надежду на возвращение поэта и воина Сергея Семенова — живым и равным себе. В конце концов, всякое случается в жизни, и, согласно православной этике, за пропавших без вести принято молиться как за живых.



ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ

Полина МАМЫШЕВА

«...ПО ГЛАВАМ ТОЛСТОГО УВЛЕКАТЕЛЬНОГО РОМАНА»: американские фотографии И. Ильфа

И. Ильф вел записные книжки с 1925-го по 1937 год: от первой командировки в Среднюю Азию, куда его отправила московская газета «Гудок», до последних дней жизни. В простых блокнотах и телефонных книжках Ильф делал наброски к будущим текстам, бытовые, финансовые и библиографические заметки. Во время путешествий подробно описывал увиденные места и дополнял записи рисунками.

Если просматривать записи Ильфа, начиная с 1925 года, можно увидеть, как меняется их содержание в 1930-е годы: с заметками-наблюдениями и набросками к будущим текстам начинают конкурировать длинные списки сделанных фотографий и записи о технических данных фотосъемки (выдержке, диафрагме, освещении и т. д.).

В последние годы жизни Ильф не только занимался литературным творчеством, но и серьезно увлекся фотографией.

Друг Ильфа и Петрова В. Ардов вспоминал: «...в 30-м, кажется, году Ильфа заинтересовал фотоаппарат „лейка“ — тогда они были внове. Фотографирование было для Ильфа еще одним способом поглубже залезть в делишки этой планеты. Ильф стал страстным фотографом-любителем. Он снимал с утра до ночи: родных, друзей, знакомых, товарищей по издательству, просто прохожих, забавные сценки, неожиданные повороты и оригинальные ракурсы обычных предметов. Он и фотографировал по-ильфовски.

Полина Андреевна Мамышева родилась в 2001 году в Санкт-Петербурге. Окончила филологический факультет СПбГУ (кафедра истории русской литературы). Исследователь русской литературы XX века. Публиковалась в «Профессорском журнале. Серия: русский язык и литература».

Евгений Петрович [Петров. — П. М.] жаловался с комической грустью:

— Было у меня на книжке восемьсот рублей, и был чудный соавтор. Я одолжил ему мои восемьсот рублей на покупку фотоаппарата. И что же? Нет у меня больше ни денег, ни соавтора... Он только и делает, что снимает, проявляет и печатает. Печатает, проявляет и снимает...

Но кончилась эта история с фотографированием счастливо. К 35-му году, когда друзья поехали в Америку, Ильф снимал уже настолько хорошо, что его снимки, сделанные в Соединенных Штатах, с „расширенными“, как говорят в редакциях, подписями, составили целую повесть в журнале „Огонек“: это был первый вариант знаменитой ныне книги об „Одноэтажной Америке“¹.

«Повесть в журнале „Огонек“» была опубликована после возвращения Ильфа и Петрова из длинного путешествия по Америке, в 1936 году (№11–17, 19–23). Она состояла примерно из 150 фотографий И. Ильфа и была разбита на главы: в каждом номере публиковалась серия кадров, объединенных одной темой (описание типичного американского городка, посещение музея Марка Твена, поездка в пустыню и т. д.) и дополненных текстовым описанием путешествия.

В фотосерии проявились новаторство Ильфа-фотографа и его нетривиальный взгляд на мир, но эти снимки интересны не только с точки зрения теории фотографии. Сделанные Ильфом кадры имели большое символическое значение в культуре 1930-х годов, которое было связано с двумя важными тенденциями эпохи: усилением роли визуальных медиа в стране и особым восприятием пространства. Нас интересуют разные аспекты, связанные с особенностями стратегий зрения, которые используются в травелогге.

Визуальные материалы и зрительные навыки играли очень важную роль в советской культуре 1930-х годов. Зрение политизировалось, а визуальные объекты (плакаты, фотографии) получали символическое значение: с их помощью можно было проводить манипуляции, которые влияли на реальную жизнь людей.

Именно в начале 1930-х годов в газетах появляется максимальное количество визуальных материалов за всю историю советской печати: ни в 1920-е, ни в 1940-е фотография не занимала такого важного места в медиа.

Г. А. Орлова пишет, что в этот период фотография становится одним из важнейших способов конструирования новой реальности. Снимки советских фотографов, на которых были изображены искрящиеся радостью и воодушевлением граждане, светлые лики вождей и изобилие, визуализировали абстрактное благополучие, творили несуществующую жизнь. Визуальные материалы советских медиа формировали у граждан модель идеологически верного взгляда на все сферы жизни и символизировали значимые для власти события.

Помимо большого влияния визуальной культуры на общественную жизнь для 1930-х годов характерен повышенный интерес к пространству и способам управления им.

Благодаря техническому прогрессу и появлению новых видов транспорта в начале XX века меняется представление о скорости и расстоянии, появляется интерес к изучению, преодолению и покорению больших территорий. Возникает оппозиция «СССР — заграница»: советский мир противопоставляется западному с точки зрения идеологии (коммунизм — капитализму).

Особую роль начинает играть также идея границы. Внутри страны границы в разных сферах жизни размывались: возникали коммунальные квартиры, колхозы, пространство становилось публичным, общим. Государственные границы СССР в это время,

¹ Сборник воспоминаний об И. Ильфе и Е. Петрове / Под ред. В. Д. Острогорской. М., 1963. С. 204–205.

напротив, обрели особую четкость и даже символическое значение: «с дружественными странами они объединяли, а с враждебными — разделяли»².

В этот же период в школе снова (после длительного перерыва) начинают преподавать географию, причем особое значение на уроках придается умению работать с картой и хорошо ориентироваться на ней. Манипуляции с географической картой (то есть с формой визуальной репрезентации территории) воспринимаются как способ активного воздействия на пространство.

На карте изображались не только уже существующие объекты, но и запланированные: это приближало реальное пространство к его утопическому образу. Действительное пространство заменялось при этом воображаемым: советский человек, работая с географической картой, получал возможность корректировать реальность, превращать абстрактные проекты в объективную данность, фактически — творить собственный мир.

Пространство в эту эпоху не просто осваивается и контролируется: на протяжении 1920–1930-х годов оно превращается из материального физического в мифологическое. Географическим характеристикам стран придается символическое и идеологическое значение.

Здесь пересекаются важные для нас концепты культуры 1930-х годов: особое отношение к пространству и повышенная роль визуальных материалов. Это позволяет посмотреть на фотографии Америки, сделанные Ильфом, под новым углом.

Можно сказать, что фотографии Ильфа документировали факт существования США, подтверждали советскому человеку наличие этой страны.

«Фотографии — и цитаты — воспринимаются как частицы реальности и потому кажутся более достоверными, чем растянутые литературные повествования»³.

Америка же более, чем какая-либо другая страна, нуждалась в документировании и удостоверении, поскольку советскими гражданами она воспринималась не просто как идеологический враг, но как призрачная, мифологическая страна, в которой всеми сферами жизни управляет капитал⁴.

США были знакомы советскому человеку по книгам и раньше: «Железный Миргород» С. А. Есенина (1923), «Стихи об Америке» и американские очерки В. В. Маяковского (1925–1926), роман Б. Пильняка «О'кэй» (1933) — все эти тексты об Америке старше травелога Ильфа и Петрова (1936).

Однако прочитать книгу — совсем не то же самое, что увидеть фотографии, которые создавали иллюзию того, что смотрящий вплотную познакомился с заграничной жизнью, как будто бы сам побывал в стране.

Фотографии Америки позволяли советскому читателю совершить виртуальное путешествие в заокеанскую страну.

Поскольку за границу обычный советский гражданин поехать не мог, воображаемые путешествия были для него особенно актуальны.

Как указывает Орлова, смысл их заключался не столько в самом путешествии, сколько в навязывании путешественнику особого типа восприятия пространства, когда «видеть» и «знать» означало одно и то же. Путешественник «видит» за счет имеющихся у него знаний, которые он дополняет и уточняет, опираясь на визуальные материалы (карты, фотографии). Такое восприятие пространства позволяло не замечать

² Орлова Г. А. Овладеть пространством: физическая география в советской школе (1930–1960-е гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 4. С. 182.

³ Сонтаг С. О фотографии. М., 2013. С. 102.

⁴ Пономарев Е. Р. Типология советского путешествия: «путешествие на Запад» в литературе межвоенного периода. СПб., 2013. С. 330.

условности придуманного мира и принимать любую визуальную репрезентацию пространства как реально существующую.

Фотографии американской жизни позволяли читателю «Огонька» перенестись в пространство мифической страны, реконструировать его, как бы побывать в нем. Гипотетическому объекту (Америке) при этом придавался статус реального, объект документировался, осваивался и превращался в сознании того, кто смотрел фотографии, из абстракции в предметную данность.

Текст, сопровождавший фотоисторию в журнале, объяснял зрителю разные сферы американской жизни. Он был способом понимания США и рефлексии о стране.

С. Сонтаг писала, что из фотографии ничего понять нельзя. Понимание основано на том, как функционирует предмет, а функционирование происходит во времени, и для его объяснения нужно время. К пониманию, как считает Сонтаг, приводит только то, что повествует.

Американские фотографии Ильфа, опубликованные в «Огоньке» с разбивкой на главы, сами по себе представляли историю («повесть»), поскольку это были не единичные кадры, а циклы фотографий, связанные одной темой, одним сюжетом. Однако без вербального сопровождения эти снимки не помогли бы читателю понять специфику функционирования американской жизни.

Фотосерия в «Огоньке» может рассматриваться как способ освоения Америки и овладения ею через фотографию, поскольку, как пишет Сонтаг, сфотографировать — значит присвоить фотографируемое.

Фотографии Америки не просто устанавливали символический контроль над страной-идеологическим конкурентом. Они тиражировались по Советскому Союзу в миллионах экземпляров «Огонька», делая США «экспонатом на выставке, документом для изучения, объектом слежки»⁵.

Говоря о роли, которую стало играть восприятие пространства в культуре 1930-х годов, мы упомянули о том, какую роль в эту эпоху начинает играть проблема границы. На американских фотографиях Ильфа этот концепт представлен в разных вариантах.

Так можно говорить о границе страны, которую пересекают путешественники, чтобы попасть в Америку. Граница эта сама по себе имела, как уже было сказано, символическое значение, являясь разделом между «своим» и «чужим» миром.

Кроме того, существует граница между фотографом и объектом его съемки.

Сонтаг отмечала, что фотографирование как процесс — это «акт невмешательства. <...> Вмешавшийся не сможет зарегистрировать, регистрирующий не сможет вмешаться»⁶. Фотография отделяет человека с камерой от события и создает видимость участия.

Восприятие событий действительно различается в зависимости от того, смотрит ли человек на них через камеру или без ее посредничества. Находясь между человеком и предметом съемки, камера становится буквально физическим барьером: она меняет привычный способ получения визуального опыта, вынуждает видеть действительность не всю целиком, а в виде отобранных фрагментов (кадров). В результате у фотографа может создаваться ощущение, что он не принимал участия в событии, которое фотографировал.

Особенность восприятия Америки советскими путешественниками, на наш взгляд, напоминает способ зрения, характерный для фантастической литературы. В текстах этого жанра «любое появление элемента сверхъестественного, близко видимого,

⁵ Сонтаг С. О фотографии. С. 204—205.

⁶ Там же. С. 23.

но чужого, неопознаваемого в визуальном опыте, сопровождается введением сюжетно-композиционных элементов темы взгляда. Например, в мир чудесного можно проникнуть с помощью очков и зеркал»⁷.

«Одноэтажная Америка», конечно, не относится к жанру фантастики. Однако США для советского путешественника 1930-х годов были в своем роде неопознаваемым «миром чудесного», и характерно, что взаимодействие с этим чуждым пространством происходило в том числе с помощью фотоаппарата — устройства «быстрого зрения», как его называл А. Л. Коберн.

Поскольку путешественники (в основном, конечно, Ильф) смотрят на страну через фотоаппарат, они как бы одновременно присутствуют и не присутствуют в Америке.

На физическом уровне факт их посещения Америки подтверждается вполне отчетливо: о США написана книга, сделаны сотни фотографий, документирующих практически каждый день поездки. Однако на символическом уровне реальность их присутствия в заокеанской стране ставится под сомнение как текстом «Одноэтажной Америки», так и фотографиями.

Так, Пономарев писал о том, что в тексте травелога есть много мифологем, которые характеризуют Америку как призрачную, не совсем реальную страну.

В качестве примера приведем фрагмент, описывающий грандиозность нью-йоркского небоскреба: «Телескоп был направлен в небо. <...> Но любопытный, прильнувший к трубе, смотрел не на луну, а гораздо выше, — он смотрел на вершину „Импайр Стайт Билдинг“, здания в сто два этажа»⁸.

Гиперболизация размеров Импайр Стайт Билдинг создает ощущение того, что путешественники находятся не в США, а в сказочном пространстве.

Общее впечатление соавторов от Америки описано следующим образом: «Когда закрываешь глаза и пытаешься воскресить в памяти страну, в которой пробыл четыре месяца, — представляешь себе не Вашингтон с его садами, колоннами и полным собранием памятников, не Нью-Йорк с его небоскребами, с его нищетой и богатством, не Сан-Франциско с его крутыми улицами и висячими мостами, не горы, не заводы, не каньоны, а скрещение двух дорог и газолиновую станцию на фоне проводов и рекламных плакатов»⁹.

Пономарев замечает, что это описание соответствует изображению сказочного распутья, только вместо камня в центре его находится газолиновая станция.

Прощание же с Америкой создает впечатление, как будто после отъезда Ильфа и Петрова США исчезли не только из поля зрения соавторов, но и вообще с лица земли: «„Маджестик“ [пароход, на котором Ильф и Петров плыли из Америки в СССР. — Л. М.] набрал ходу, блеснул прощальный огонек маяка, и через несколько часов никакого следа не осталось от Америки. Холодный январский ветер гнал крупную океанскую волну»¹⁰.

Замена реального путешествия фикциональным подчеркивается и тем, что путешественники часто воспринимают увиденные объекты и явления через призму литературных ассоциаций.

Например, так в травелоге описан грохот нью-йоркской улицы: «Из каких-то люков, вделанных в мостовую и прикрытых круглыми металлическими крышками, пробивался пар. Мы долго не могли понять, откуда этот пар берется. Красные огни реклам бросали на него оперный свет. Казалось, вот-вот люк раскроется и оттуда вылезет

⁷ Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. С. 91.

⁸ Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка. Письма из Америки. М., 2000. С. 23.

⁹ Там же. С. 93.

¹⁰ Там же. С. 416.

Мефистофель и, откашлявшись, запоем басом прямо из „Фауста“: „При шпаге я, и шляпа с пером, и денег много, и плащ мой драгоценен“»¹¹.

А такое впечатление остается у соавторов от Большого Каньона: «Пейзаж опрокидывал все, если можно так выразиться, европейские представления о земном шаре. Такими могут представиться мальчику во время чтения фантастического романа Луна или Марс»¹².

Текст «Одноэтажной Америки», таким образом, ставит под сомнение реальность путешествия. Фотографии же, сделанные в Америке, как было сказано выше, сами по себе являются проявлением «невмешательства», указанием на иллюзию присутствия и участия.

Нам хотелось бы сказать еще об утопическом взгляде, черты которого проявляются в американских фотографиях Ильфа.

Разного рода повторы (унификация, метрический порядок в архитектуре, симметричная игра света и тени и т. д.) в сочетании с пустотой в кадре могут спровоцировать восприятие пространства на фотографии как утопического¹³.

На снимках, которые есть в нескольких главах фотосерии «Огонька» (№ 11, 12, 15), типичный американский город выглядит именно так: улицы, на которых практически (или совсем) нет людей, много пустого пространства, контраст солнечного света и тени, симметрично расположенные объекты (дома, машины, столбы и т. д.).

В двенадцатом номере журнала утопического вида фотографии дополнены следующим комментарием: «...основная масса американских городов, которые обладают сходством пяти канадских близнецов, отличающихся друг от друга разве только двумя-тремя родимыми пятнышками, — эта обезличенная масса кирпича, асфальта, автомобилей и рекламных плакатов может вызывать в путешественнике лишь ощущение досады и разочарования»¹⁴.

* * *

Еще один аспект взаимодействия текста и зрения в травелоге Ильфа и Петрова — взаимопроникновение этих способов изображения реальности.

Вербальный модус восприятия традиционно связывается с передачей временных отношений, а визуальный — пространственных.

Проникновение визуального материала в текст травелога (то есть в вербальный модус) выражается не только в наличии фотографий, сопровождающих текст, но и в том, что при запечатлении событий Ильф тяготеет к описательности, кинематографичности изображения событий.

Например, так описывается погода в один из дней путешествия: «Вдруг среди ужасной хмури появился чудный просвет зеленого неба. Дорога шла вверх. Никаких гор мы не видели. Были видны лишь холмы и разрывы почвы. Дождь прекратился, и выглянуло солнце»¹⁵.

А так Ильф видит Мексику: «Множество людей наполняло улицу. Медленно двигались праздные, неторопливые прохожие. Проходили молодые люди с гитарами. Несмотря на сверканье оранжевых ботинок и новеньких шляп, вид у них был грязнова-

¹¹ Там же. С. 23.

¹² Там же. С. 230.

¹³ Каспэ И. Навык утопического взгляда: на материале авторских фотографий последних десятилетий социализма // Социологическое обозрение. 2013. Т. 14. № 2. С. 61.

¹⁴ Ильф И., Петров Е. Американские фотографии. II. Маленький город // Огонек. 1936. № 12. С. 5.

¹⁵ Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка. Письма из Америки. С. 210.

тый. Калеки громко вымаливали милостыню. Прелестные черноглазые и сопливые дети гонялись за иностранцами, выпрашивая пенни. Сотни крошечных мальчиков бегали со щетками и ящичками для чистки ботинок»¹⁶.

Для Ильфа первоочередное значение имеет зрительный образ: не рефлексия увиденного, а его цветовые и световые характеристики. Реальность в описаниях Ильфа представлена как серия фотографий.

Проникновение же вербального аспекта в визуальный проявляется в том, что поездка по США воспринимается путешественниками как чтение и одновременно создание текста. То есть пространство страны темпорализуется, приобретает временные характеристики.

Уже в начале путешествия Ильф описал Америку в дневнике как «текущую страну». Характеристика страны дается с помощью причастия — части речи, которая представляет действие в виде признака предмета. То есть пространству дается темпоральная характеристика: одним из признаков пространства является его движение.

В травелоге указания на восприятие Америки как текста тоже встречаются неоднократно. Это проявляется не только в том, что некоторые события и явления американской жизни воспринимаются соавторами через призму художественных текстов.

Например, страна сравнивается с текстом, который авторы «читают» по мере продвижения по стране: «Мы скользили по стране, как по главам толстого увлекательного романа, подавляя в себе законное желание нетерпеливого читателя — заглянуть в последнюю страницу»¹⁷.

Кроме того, во время поездки мистер Адамс все время напоминает соавторам, чтобы они записывали увиденное в «книжечки»: то есть производили текст об Америке в процессе путешествия по ней.

Можно сказать, что Америка показана в травелоге как неготовое, становящееся пространство, которое приобретает конкретные черты только в ходе работы над текстом о ней.

* * *

С. Сонтаг писала, что «сфотографированный мир находится в таком же неточном соотношении с реальным миром, как стоп-кадры с фильмом. Жизнь не сводится к значащим деталям, выхваченным вспышкой и застывшим навсегда. А фотографии — сводятся»¹⁸.

То есть представление советского читателя о том, что он «освоил» Америку, познакомившись с ней по фотоистории в «Огоньке», было фикцией. Американские фотографии Ильфа создавали иллюзию понимания и присвоения иллюзорной страны, присутствие авторов в которой тоже было не совсем реальным.

Номера «Огонька» с фотографиями Ильфа: <https://disk.yandex.ru/d/jtKSrfoAec2ILg>

Литература

Ильф И., Петров Е. Американские фотографии. II. Маленький город // Огонек. 1936. № 12. С. 5—9.

Ильф И., Петров Е. Одноэтажная Америка. Письма из Америки. М., 2000. 511 с.

¹⁶ Там же. С. 362.

¹⁷ Там же. С. 120.

¹⁸ Сонтаг С. О фотографии. С. 112.

Каспэ И. Навык утопического взгляда: на материале авторских фотографий последних десятилетий социализма // Социологическое обозрение. 2013. Т. 14. № 2. С. 41—69.

Орлова Г. А. Овладеть пространством: физическая география в советской школе (1930—1960-е гг.) // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 4. С. 163—185.

Пономарев Е. Р. Типология советского путешествия: «путешествие на Запад» в литературе межвоенного периода. СПб., 2013. 412 с.

Сборник воспоминаний об И. Ильфе и Е. Петрове / Под ред. В. Д. Острогорской. М., 1963. 336 с.

Сонтаг С. О фотографии. М., 2013. 272 с.

Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. 144 с.

РЕЦЕНЗИИ

МИХАИЛ РАХУНОВ:

«И ДУША ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕЧЬ...»

То, что русский мир постоянно расширяет свои пределы и далеко не ограничивается территорией Российской Федерации, ни для кого не тайна уже давно. И словно в подтверждение этой истины, в славном городе Чикаго, крайне удаленном от России не только в пространстве, но и во времени, выходит примечательная серия на русском языке «135 стихотворений». Чикагское издательство «POEZIA. US» включило в него сборники самых значительных и ярких поэтов современности, намереваясь дать возможность насладиться их строфами, успевшими стать частью нашего менталитета, самой широкой читательской аудитории. В первую очередь, разумеется, издание предназначено для преподавателей и студентов университетов, но и всем прочим категориям любителей поэзии знакомиться с ним отнюдь не возбраняется. Да и попросту невозможно пройти мимо, ведь среди авторов сборников, включенных в серию, такие прославленные имена, как Бахыт Кенжеев, Александр Кушнер, Алексей Цветков, Михаил Синельников... И в столь блестящем ряду четвертой по счету оказалась книга поэта Михаила Рахунова. Причем, как выяснилось, далеко не случайно.

«Я крылья приобрел — и нету мне предела...»

Михаил Рахунов сложился и раскрылся как поэт достаточно поздно. Но весьма распространенное в прошлом веке мнение о том, что поэзия — удел юных, в наши дни, безусловно, выглядит явным анахронизмом. Более того, зачастую именно поздние старты в стихах становятся все более успешными, и не зря подчеркивал Варлам Шаламов: «Поэзия — дело не молодых, а седых». Во всяком случае, года пока не клонят нашего героя к суровой прозе, как отмечал Пушкин, и «шалунья-рифма» стала чаще навещать его именно в зрелые годы. По правде говоря, муза что-то доверительно шептывала ему и «на заре туманной юности», но тогда он не слишком почтительно и прилежно ей внимал. Главным занятием в прошлом для него был спорт: многие, следившие за его достижениями, помнят Рахунова как гроссмейстера по русским шаш-

кам международного уровня. Однако для всего предначертано свое время, как сказано в вечной книге, и, возможно, лишь сейчас он подошел к себе, глубинному, к себе, истинному. «Все устроено, как надо», — уверенно и убежденно пишет сам Михаил Рахунов в одном из своих стихотворений.

«Всей силой слова»

Как истинный поэт Рахунов верит в магию слова и его всемогущество. Чувствуя власть, дарованную ему как стихотворцу, он даже грозно предупреждает, что может как воспеть, так и проклясть навеки, но, разумеется, главное назначение поэзии совсем в другом:

Нам ритм и рифма служат, чтоб мысли разграничить:
Свои унять, а Неба — понять и возвеличить.

Михаил Рахунов — поэт в самом высоком, изначальном смысле этого слова, отнюдь не сатирик или пародист. И хотя в одном из интервью он выделяет Александра Галича в качестве своего любимца, сам он работает в совсем не родственной тому струе. А вот с поздним творчеством Николая Заболоцкого, которое он также высоко ценит, действительно можно отыскать определенное созвучие. Особенно явственно проступает эта внутренняя связь, глубинная преемственность в отношении к родному языку, который, как известно, Николай Алексеевич считал животворящим и полным разума. Михаил Рахунов с болью и горечью наблюдает то, что происходит в сегодняшнем мире:

И русские буквы с домов опадают —
Как листья — с табличек и вывесок длинных —
Наверно, навеки.

Однако примириться с таким безрадостным прогнозом он не в силах и всем сердцем продолжает надеяться, более того, твердит как молитву или заклинание:

Ты вернешься, — всей силою веры, —
Оклеветанный завистью русский язык!

Иначе и быть не может: никогда не сгинет, не исчезнет язык великой культуры, и «возводить нельзя преграду / разговорческому чуду». С этой глубокой внутренней убежденностью автора невозможно не согласиться.

«Ребенку пять, и грустно маму ждать»

Эпитет «разговорческому», разумеется, не удастся отыскать в ни в одном академическом словаре русского языка, и он не кажется канонически правильным. Но зато это определение звучит обезоруживающе, восхитительно по-детски. И мы осознаем: взрослому, вполне состоявшемуся и успешному человеку каким-то непостижимым образом удалось сохранить в себе внутреннего ребенка. И даже не обычного малыша — как минимум, инфанта или маленького принца. Именно этот царственный ребенок в нем удивляется видимой абсурдности «взрослого мира»:

Вот какие у нас переплеты,
Жизнь короткая, мысли чужие...
Для карьеры и праздной работы
Подставляем и спины, и выи.

Именно этот маленький принц так доверчиво, совсем по-детски вызывает к форту-не: «Случай, бабочка, кроха родная, окружи нас заботой своей!» И конечно, только он способен заглядеться на обычного паучка и найти для него столь нежные, неожи-данные и проникновенные слова:

На локоть от земли в пространстве между елок
Качается паук на гамаке своем...

Как известно, Самуил Маршак утверждал, что у каждого человека есть два возрас-та: официальный, по паспорту, и настоящий, детский, при этом второй из них гораздо важнее для творческой личности. Ведь именно взгляд на мир широко распахнуты-ми глазами ребенка позволяет отличить истину от фальши, подлинное от наносного и порой искренне изумиться тому, что король-то голый... Слова классика всплывают в памяти сами собой, когда перелистываешь сборник стихов Михаила Рахунова.

«...Где каждая буква — звезда»

Рахунову остается доступным вечный восторг перед чудом мироздания, необхо-димый, как воздух, для высокой поэзии, именно поэтому его внутренний мир пора-жает своим богатством и красотой. Этот мир поистине похож на перламутровый, ра-дужный грот, куда его владелец пускает нас милостиво и щедро, жестом маленького принца. Я не сторонница прямых сравнений, но если уж пытаться отыскивать ана-логи и параллели, то душевное сходство с Арсением Тарковским здесь налицо. Речь идет вовсе не о прямых заимствованиях или общности художественных приемов, в этом никак нельзя упрекнуть Михаила Рахунова, а, скорее, о глубинном, потаенном созвучии. Благородство и грация души, помноженные на глубокий психологизм, — вот что делает такими неожиданными и притягательными строки поэта:

Отворил потайную дверь —
И увидел за ней себя.

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...» — обронил некогда Тютчев. Тайна мира и тайна человеческой души равновелики, но поэту остаются надежда и ве-ра в своего читателя:

Я подарю тебе осколки, пересуды.
Ты склей.
Ты собери.
И ты поймешь меня!

Остается от души пожелать поэту новых книг, новых встреч с читателями, которым он так доверяет, и счастливого сотворчества с ними.

Елена ПЕЧЕРСКАЯ

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Владимир Василик, Александр Кутузов. Великая Отечественная — вчера и сегодня. СПб.: Алетей, 2024. — 190 с.

Великая Отечественная война как величайший всенародный подвиг защитников советского Отечества, разоблачение современных, активно внедряемых в сознание лживых мифов о войне, факты и хорошо знакомые предметы в неожиданном ракурсе. Казалось бы, что общего между возникновением реального фашизма в Германии и фантастическим рассказом М. Булгакова «Собачье сердце», действие которого происходит в Москве? Владимир Василик и Александр Кутузов считают, что этот рассказ 1925 года своего рода пророчество о том, как в будущем для создания нового человека в ход пойдут стерилизация, эвтаназия, пересадки органов... Так и случилось в Третьем рейхе. И если пристальнее взглянуть в светлый лик профессора Преображенского, то в этом готовом вопреки христианским заветам переделать саму природу человека сыне священника можно опознать последователя социал-дарвинизма, теории естественного отбора, усовершенствованной англичанами и американцами и подхваченной Гитлером. В. Василик и А. Кутузов рассказывают о прототипах профессора Преображенского: С. Воронове, занимавшемся пересадкой желез от обезьяны человеку (1920), и И. Иванове (1870—1932), пытавшемся вывести гибрид человека и обезьяны. М. Булгаков уже в 1920-е годы ощущал и предвидел грядущую фашизацию Европы. В книге много фактического материала. Подробно проанализирована «Мюнхенская распродажа» — соглашение, подписанное в Мюнхене 29 сентября 1938 года рейхсканцлером Германии А. Гитлером, премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, премьер-министром Франции Э. Даладье и премьер-министром Италии Б. Муссолини. Согласно ему Чехословакия в течение 10 дней должна была освободить и уступить Германии исконную чешскую Судетскую область, где славяне жили с VI века, но активно заселяемую немцами с XIII века. Неблаговидную роль в этой сделке сыграли и Венгрия, Польша, Румыния, ухватившие свой кусочек. Из политической целесообразности у нас с советских времен принято заявлять об агрессии фашистской Германии, но на самом деле рядом с немцами шли венгры, финны, румыны, норвежцы, валлоны, испанцы и французы. Как говорится, «все промелькнули перед нами, все побывали тут». Повторилась война 1812 года с тем же исходом. Отдельная глава посвящена Таллинскому прорыву — эвакуации после упорной обороны Таллина в августе 1941 года защитников города, раненых, гражданского населения, флота, артиллерии, техники Главной базы Балтийского флота, без чего вряд ли удалось бы защитить Ленинград. Отдельные главы — исторической встрече Сталина с православными иерархами (4 сентября 1943 года) и ее последствиям, в том числе операции 6 ноября 1943 года по освобождению Киева. Последовательно, аргументированно авторы разоблачают лживые мифы. Среди них те, что окутывают Ленинградскую битву, самую длительную в Великой войне, длившуюся 1217 дней — с 10 июля 1941 года до 9 августа 1944 года. Один из самых распространенных — миф о том, что Гитлер отводил в своих планах Ленинграду второстепенную роль, оборона Ленинграда была напрасной и можно было бы избежать громадных жертв. При этом замалчиваются документальные свидетельства об истинных планах фюрера. В протоколе совещания Верховного командования вермахта 3 февраля 1941 года по поводу плана «Барбаросса» указывается: «Фюрер в общем и целом с операциями согласен. При детальной разработке иметь в виду главную цель: овладеть Прибалтикой и Ленинградом». Из протокола совещания в Ставке Гитлера вышедших руководителей рейха 16 июля 1941 года: «На Ленинградскую область претенду-

ют финны. Фюрер хочет сровнять Ленинград с землей, с тем, чтобы затем его отдать финнам». После этого совещания генерал-полковник Ф. Гальдер записал в своем дневнике: «Непоколебимо решение фюрера сровнять Москву и Ленинграда с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов в течение зимы... Задачу уничтожения этих городов должна выполнить авиация. Для этого не следует использовать танки». С документами, фактами, цифрами развеиваются мифы о гуманном Гитлере и «добром дядюшке Маннергейме», который наравне с гитлеровскими генералами ответствен за гибель 880 тысяч блокадников; о том, что Сталин забыл про Ленинград; об «элитном» положении «партийцев». Выступая против современного мифотворчества и исторического невежества, авторы обращаются к документам Нюрнбергского трибунала. Рассказ о блокаде Ленинграда дополняют очерки о защитниках города: о тех, кто организовал госпиталь в стенах исторического факультета на Васильевском острове; об основоположнике отечественной школы лечения внелегочного туберкулеза П. Корневе, внедрявшем в блокадном городе эффективные методы лечения ран; о В. Былинском, начальнике эвакуационного пункта в Кобоне на Ладого. Так же подробно, как о «ленинградской мифологии», с цифрами и фактами, разобраны лживые мифы о Сталинграде. Что победа под Сталинградом была достигнута благодаря подавляющему превосходству советских войск в численности — задавили числом. Миф о якобы нечеловеческих страданиях немецких пленных, но если из 15 тысяч русских пленных в одном из немецких лагерей выжило 950 человек, то из 90 тысяч плененных под Сталинградом немцев выжило 50 тысяч. Миф о «генерале Морозе», но и с советской стороны воевали люди, а не роботы или полярные медведи, и благодаря хорошей организации тыловой службы советский солдат был одет, обут и накормлен. Победа якобы была достигнута штрафниками, — но за все время их было всего 1,5 % от всех участников войны. Якобы роль в победе сыграли заградительные отряды, что стреляли в спину из пулеметов, — но один пулеметчик против сотни вооруженных людей бессилен, его разорвут на куски и разбегутся. Заградительные отряды определяли границу между фронтом и тылом. И снова слово героям былых битв — Героям Советского Союза летчику С. Крамаренко и десантнику М. Ашику, капитану 2-го ранга В. Джурджи и участнику Таллинского перехода 1941 года Н. Бричку — воспоминания, интервью. А в завершение неожиданные прочтения кинофильмов о Великой Отечественной войне: христианские смыслы фильмов «Семнадцать мгновений весны» и «Вариант „Омега“».

Стиг Дагерман. Немецкая осень / Пер. со швед. Н. Пресс. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023. — 256 с.

В 1946 году молодой шведский писатель Стиг Дагерман (1923—1954), ставший знаковой фигурой литературной Швеции после публикации романов «Змея» и «Остров обреченных», по заданию газеты «Экспрессен» отправился в послевоенную Германию. Свободно владея немецким языком, он мог максимально доверительно разговаривать с обычными людьми. Он посетил британскую и американскую оккупационные зоны. Примерно неделю ездил по Руру на автомобиле с водителем, которого ему предоставили англичане. Свои путевые заметки, публиковавшиеся зимой и весной 1946—1947 годов в «Экспрессене», он собрал в сборник «Немецкая осень» (1947). Книга стала ярким документальным свидетельством материального, социального и духовного прозябания, к которому немецкий народ привела развязанная Германией война. Дагерман увидел ампутированные церковные башни и купола Берлина, бесконечные ряды разрушенных правительственных дворцов, чьи обезглавленные прусские колоннады валялись на тротуарах, уткнувшись в асфальт греческими профилями. Ганновер,

где мало пострадавшей осталась лишь статуя короля Эрнста Августа. Кошмар обнаженных, стынувших на холоде железных конструкций и обвалившихся фабричных стен в Эссене. Труп Штутгарта, в котором с трудом узнавался город, при жизни поражавший невиданной красотой. Множество домов превратились в руины в ходе уличных боев и бомбардировок. Самые бедные жители ютились в подвалах полуразрушенных зданий, в бункерах или в бывших тюремных камерах, чуть менее бедные — в оставленных под аренду казармах. Осень 1946 года оказалась холодной и дождливой, Рурский регион затопило так, что во всех обитаемых подвалах вода стояла выше колена. «В подвале дым, холод и голод, дети спали полностью одетыми, а теперь встают в воду, едва не заливающуюся им в ботинки, поднимаются по темной лестнице — там тоже спят люди — и выходят в холодную и мокрую немецкую осень». В западные зоны прибывали поезда с беженцами с востока. Голодные оборванцы, которых никто не ждал, толпились в темных вонючих бункерах вокзала или в гигантских укрытиях без окон, напоминавших квадратные газгольдеры. Те, для кого и подвалов не хватило, оставались в товарных вагонах. «У кого-то на соломе лежит умирающая от голода и кашля мать — но что толку звать к ней врача, если вместо лекарств тот просто скажет в утешение пару слов. Милая молодая пара протягивает в двери вагона малыша и просит меня поддержать его. Синюшный годовалый мальчик с воспаленными от постоянного сквозняка глазами». Мерзнувший, голодающий люд ради выживания не считает аморальным красть, заниматься проституцией, торговать на черном рынке. Прямое следствие голода и психического состояния, считает Дагерман, «апатия и цинизм, и не приходится удивляться, что это единственная реакция, которую вызывали у общественности два важнейших политических события: казни в Нюрнберге и первые свободные выборы». Дагерман не только фиксирует виденное, его интересует, о чем думали и говорили люди во вполне реальных подвалах в Эссене, Гамбурге или Франкфурте-на-Майне. Их судьбы, страхи и настроения, мнения и ощущения, оценки. Он много беседует. На вопрос, жилось ли им лучше при Гитлере, его собеседники, как правило, отвечали «да». «— Видите ли, герр Д., — говорит моя спутница, пострадавшая от обморожения, и берет меня под руку, — мы, немцы, считаем, что союзникам в ближайшее время стоило бы перестать наказывать нас. Можно говорить о нас, немцах, все что угодно, но что бы наши солдаты ни делали в других странах, мы такого наказания не заслуживаем». Знакомое: «А нас-то за что?» «Да, — пишет Дагерман, — некоторые знают, что все началось с Ковентри, но они-то в этом не участвовали, их там не было. Они были в Гамбурге, они были в Берлине, в Ганновере и в Эссене, и там в течение трех лет испытывали смертельный ужас. Отсутствие чувства вины у этих людей крайне печально и непонятно сторонним людям, но надо помнить о том, что собственные страдания всегда делают нас глухими к страданиям других людей». Дагерман констатирует ужасающее разделение немецкого общества. «Городское население обвиняет крестьян в том, что те торгуют продуктами питания на черном рынке, а крестьяне, в свою очередь, утверждают, что горожане ездят по сельской местности и мародерствуют, разоряя все на своем пути. Беженцы с востока с ненавистью говорят о русских и поляках, но жителями запада воспринимаются как захватчики, и в результате те и другие начинают ненавидеть друг друга, как заклятые враги». Взаимное неприятие существует между молодежью и стариками, тридцатилетними и шестидесятилетними. «В партиях и профсоюзах молодежь бьется со старшим поколением в тщетной борьбе за власть, которую старшее поколение не хочет ей отдавать; эта молодежь, твердят они, выросла в тени свастики, а молодежь, в свою очередь, не желает доверить управление старшему поколению, поскольку считает его ответственным за крах старой демократии». В наиболее плачевном положении оказались двадцатилетние. Дагерман приехал в Германию

в период массового, общеобязательного процесса денацификации и не раз посещал заседания суда по делам денацификации, почти протоколно фиксируя судебные разборки, взаимные обвинения, упрёки. «Немцы трогательно едины в своем мнении о глупейших и возмутительных формах, которые принимает денацификация. Одни (бывшие нацисты) без устали твердят о варварском коллективном наказании, другие полагают, что штраф в несколько сотен марок в любом случае варварством не назовешь, но считают, что вся эта возня с мелкими сошками, в то время как серьезным фигурам удается уйти от ответа, — невероятная растрата рабочей силы. Конвейерный принцип, безусловно, лишь добавляет самой идее денацификации опасный привкус комедии». Дагерман пишет, не впадая в сентиментальность или пафос, без кричащих эпитетов и избыточных описаний, делая акцент на отдельных запоминающихся деталях. Отдельные эпизоды из повседневной жизни Германии перемежаются с размышлениями о процессах, происходящих в нем. Текст дополняют отзывы критиков на книгу Дагермана 1940-х годов, большинство из которых принадлежит скандинавам. В книгу включены несколько программных текстов С. Дагермана военного и послевоенного времени и очерки о поездках по Бельгии и Франции. На русском языке книга публикуется впервые.

Ольга Седакова. Мудрость Надежды и другие разговоры о Данте.

2-е изд. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023. — 320 с.

В студенческие годы Ольга Седакова взялась учить итальянский язык только для того, чтобы прочесть Данте в оригинале. Задача непростая, ведь многие слова и словосочетания для нынешних итальянцев являются архаизмами, смысл их им уже утерян. Язык Данте родился на стыке латыни, являвшейся в XIV веке языком и поэзии, и мысли, и итальянского языка, «который он лепил из глины говоров», и тот «выходил из его печи, обожженный на огне „Комедии“». Поэт, богослов, переводчик, прозаик О. Седакова проделала гигантскую работу, создав — впервые в истории отечественной культуры — нестихотворный, по возможности предельно близкий к буквальному тексту, комментированный перевод на русский язык «Божественной комедии» Данте Алигьери — книгу «Перевести Данте» (2020). Необходимая работа, ведь поэзия одного из самых известных и в то же время загадочных авторов позднего средневековья полна смыслов, понятных современникам Данте, но уже невнятных нам. В одном из интервью О. Седакова утверждает, что вся большая поэзия XX века дышит воздухом Данте: Томас Стернз Элиот, Райнер Мария Рильке, Поль Клодель; у нас — Осип Мандельштам, Анна Ахматова. Там же она приводит взгляд Клоделя на труд Данте: «Это страсть мироздания» — и продолжает мысль французского поэта и крупнейшего религиозного писателя XX века, подчеркивая значимость поэзии Данте в XXI веке: «Это ритм сильной, живой мысли, ее широта и мгновенная глубина — и несравненная сила слова. Не „магическая“ сила темного, ускользающего слова, о которой мечтал модерн, — нет, сила прямого, открытого, удостоверенного слова. Данте освобождал поэтов XX века от тяжелого ползучего „реализма“ XIX века — его воображение богаче любого авангарда. Сейчас он освобождает от малодушия постмодерна». В книге «Мудрость Надежды и другие разговоры о Данте» О. Седакова размышляет о Данте-мыслителе и поэте-теологе, о его «врожденной и неутолимой жажде понимать». На первый план выдвигаются важные для О. Седаковой темы: надежда и воля, мудрость и причина, геометрия и плоть, сотворенность и свобода, воскресение. В книге три части. В первой собраны работы, непосредственно связанные с «Божественной комедией». «Аду» она посвящает только одно эссе. Разрушая тем самым стереотип, доставшийся нам в наследство от эпохи ро-

мантизма, где «суровый Дант» прежде всего мрачный духовидец, описатель «Ада», где нет места надежде. У нее Данте не поэт гнева и муки, а разумный, влюбленный и потому светлый мыслитель, поэт Надежды, которая у Данте неотделима от мысли о жизни как духовной битве и земной Церкви как Церкви воинственной. Живым источником Надежды для Данте является Богородица. Сюжет эссе «Мудрость Надежды» завершается дантовским прославлением «полуденного факела любви» и «живого источника света» — Богородицы, в которой «соединяется все, что только есть благого в творении». Быть может, впервые так подробно «исследуется» «Рай» Данте: эссе «Земной Рай в „Божественной комедии“. О природе поэзии»; «Новое благородство»; «Музыка в Божественной комедии». В Аду музыка не звучит. А какая музыка звучит в Чистилище и в Раю? Как звучала музыка справедливости в дантовском раю? Каким было музыкальное искусство времен Данте и насколько он знал его? Что было для него важнее всего в музыке? Седакова показывает, как у Данте музыка вовсе не просто обрамляет действие и усиливает выразительность, но вовремя умолкает, позволяя понять богословские истины, такие, как воскресение во плоти и преображение. Впервые публикуется эссе «Круг, крест, человек», посвященное влиянию на Данте архитектуры и памятников Равенны, где жил поэт после изгнания из Флоренции. Храмовое и монументальное искусство V—VI веков, римские храмы эпохи Константинидов, древнеримские и византийские соборы и баптистерии, мозаики и фрески Равенны, поразившие Данте кресты Равенны — римские кресты с удлинненной вертикальной перекладиной — открыли поэту другую, отличную от позднего средневековья духовность. В Равенне на него снизошло Откровение о том, как воскресший во плоти человек соединяется с Богом: как крест входит в круг. В необозримую область смыслов вводит нас эссе второго раздела «Беатриче, Лаура и Лара»: художественные европейские традиции, роль возлюбленной и ее образа в творчестве и жизни творцов: Данте, Петрарки, Пастернака; Вечная Женственность, имеющая и другие ипостаси... В этот раздел входят эссе о присутствии Данте в русской словесности. И первым в осмыслении «Божественной комедии» Данте был Пушкин, он читал итальянский оригинал, и он создал образец русского «дантовского стиха» — пятистопный ямб пушкинских терцин стал ритмическим образцом для классического перевода «Комедии», выполненного М. Лозинским. Огромным «дантовским событием» в России явился Серебряный век, эпоха русского символизма. К наследию Данте и его осмыслению обратились Ахматова, Блок, Мандельштам (позднее в 1933 году он написал работу «Разговор с Данте»), неожиданно — Маяковский. А после 1917 года актуальной для тех, кто уехал, и тех, кто остался, стала тема изгнанничества. О. Седакова приводит целиком «Прощальную оду» 1964 года поэта-изгнанника Иосифа Бродского, стихи малоизвестные, малообсуждаемые. Небольшой третий раздел включает в себя переводы фрагментов из «Новой жизни» и возвращает нас к началу дантовского пути. Все переводы с итальянского и других языков выполнены автором. В интервью, опубликованном в журнале «Знамя» в феврале этого года, О. Седакова говорит: «Я думаю прежде всего о Данте. Мне обидно, что этот великий голос („крик“ — как он назвал свою Комедию) не слышен в России. Хочется как-то посылить поправить это положение. Что важно в Данте другим, не берусь сказать. Что важно мне? Реальность величия. Величия души, величия смысла, величия поэтического слова». Почти все эссе, вошедшие в книгу, публикуются или впервые по-русски, или вообще впервые.

Елена ЗИНОВЬЕВА

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

РУССКИЕ ПАЛОМНИКИ У СВЯТЫНЬ БЕЛЬГИИ

Часть 6

МЕХЕЛЕН: НА РОДИНЕ МАЛИНОВОГО ЗВОНА

Крест над церковью взнесен,
Символ власти ясной, отеческой.
И гудит малиновый звон
Речью мудрой, человеческой¹.

Николай Гумилев

Бельгия — страна маленькая, и расстояния здесь смешные. От Антверпена до Мехелена всего каких-то 25 километров. Петру I и его свите довелось проделать этот путь в каретах. В конце 1830-х годов здесь наряду с конной появилась и «паровая тяга». Князь Алексей Мещерский, побывавший в Бельгии в 1839 году, записал в своем дневнике: «Быстро катились наши вагоны к Малину, и наконец вдали стала показываться колокольня его соборной церкви»².

«Малиновый звон» — так со времен Петра I в России называли перезвон колоколов, исполнявших сложную мелодию. Слава колокольных звонов Малина (Мехелена) дошла до России, и, быть может, одним из первых русских христиан, слышавших «малиновый звон», был русский посол А. А. Матвеев, который в 1705 году проездом «имел ночной стан в брабанском городе, названном Мехелен»³.

Мехелен или Малин (фламанд. Mechelen, франц. Malines) — город в Южном Брабанте на реке Диль. Этот старинный город занимает заметное место в истории страны. Как и многие европейские города, Мехелен ведет свою историю с времен поселений римского времени. Как отмечал князь Алексей Мещерский, «в 8-м столетии Малин состоял из нескольких деревянных домов, изредка выказывавшихся из-за убо-

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Гумилев Н. Стихи. Поэмы. Тбилиси, 1989. С. 277. Стихотворение «Городок».

² Мещерский А., князь. Записки русского путешественника. М., 1842. С. 222.

³ Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матвеева). Л., 1972. С. 36.

гих хижин, крытых соломой... В конце 10-го века город стал распространяться и обнесен был стенами»⁴.

Покровителем Мехелена считается св. Румбольд (Ромбо), епископ Брабантский (сконч. в 775 году). После кончины святителя на правом берегу реки Диль было основано аббатство Синт-Ромбаутс, вокруг которого и стал расти Мехелен. Немало войн и пожаров прокатилось по здешней земле. Многие могли бы рассказать каменные старожилы Мехелена, видевшие и испанских завоевателей, и французских королей, и заморских торговцев. Бывал в этом городе и Петр I, изучавший в Нидерландах корабельное дело. Говорят, что и его поразило в свое время «малиновый звон». Возвращаясь из своего путешествия по Европе домой, Петр I привез на родину пять карийонов — колокольных «наборов».

История Мехелена связана с именами таких правителей, как герцог Бургундский Карл Смелый (1465—1477) и испанский король Филипп I Красивый, эрцгерцог Австрийский (1478—1506). «В Малине Карл Смелый установил Верховный Совет в 1473 году, — пишет князь Алексей Мещерский. — А в 1504 году сын императора Максимилиана — Филипп Австрийский, разделил его на две части: одна, под названием главного, осталась в Малине; другая, составлявшая Тайный Совет, переведена была в Брюссель. Город получил много привилегий от разных владетельных лиц — преимущества, в те времена так много уважаемые»⁵. Одна из таких «привилегий» была особенно значимой: с 1507-го по 1530 год. Мехелен был столицей Нидерландов, а с 1559 года здесь была кафедра брабантского архиепископа.

Мехелен — старинный центр производства кружев, шпалер, ювелирных изделий. «Кружевное изделие, получившее европейскую известность, дало Малину возможность стать наряду с богатейшими городами»⁶, — пишет все тот же русский путешественник. От тех времен в городе сохранились мануфактурные мастерские, где ткали знаменитые гобелены.

Законная гордость Мехелена — *Синт-Ромбаутскерк*, высящийся на главной площади Гроте-маркт. Это кафедральный собор Св. Ромбо (Румольда), епископа Брабантского (†775) и покровителя Мехельна.

Он строился очень долго: с 1217 года до второй половины XIV века, в стиле поздней готики. Вот что писал об этом храме русский дипломат Андрей Матвеев в 1705 году: «Та церковь есть во имя святого мученика епископа Румолда, где его тело на высоком театре в первом апортаменте, или пределе, высоко в серебряной раке предивно-го художества, четверугольной, положено, за двумя затворами двойными резьбы зело дивной работы деревянной, позолоченными»⁷.

Интерьер храма поражает своей величиной: его высота 27 метров; длина собора — 112 метров. Когда-то кафедральный собор блистал своей роскошной отделкой, но в годы Нидерландской революции (1567—1573) убранству храма был нанесен существенный урон. Об этом писал князь Алексей Мещерский: «Жесточайший удар нанесла ему возникшая ересь иконоборцев: в то время церкви грабились без пощады, и все, что было лучшего из живописи и ваения, истреблялось без сожаления»⁸.

Но «лихие годы» остались позади, и кафедральный собор стал залечивать старые раны. В 1665 году в храме был устроен мраморный алтарь со статуями 12 апостолов

⁴ Мещерский А., князь. Записки русского путешественника. Голландия, Бельгия и Нижний Рейн. М., 1842. С. 223.

⁵ Там же. С. 233.

⁶ Там же. С. 223.

⁷ Русский дипломат во Франции (Записки Андрея Матвеева). Л., 1972. С. 36.

⁸ Мещерский А. Указ. соч. С. 223—224.

(работы Л. Файдхербе). Вот как А. А. Матвеев описывает интерьер храма: «В церкви той олтари и столпы мраморныя, и на всех ангельския лики из белаго ж мрамора, зделанныя; узорочнаго художества, и в середине той в совершенном человечестве вылитыя из зеленой меди подобия пророков Моисея и Давыда царя. Святыя иконы в ней предивных и древних живописцев и Спасителевы Страсти в олтарях и около церкви, по подобию совершенного человечества высоким художеством из мрамора изваянныя»⁹.

Русскому дипломату, побывавшему в соборе в 1705 году, не довелось еще видеть великолепной резной кафедры; она была исполнена позднее — в 1721 году (мастер М. Верворт). Как бы восполняя заметки Андрея Матвеева, Алексей Мещерский пишет: «Здесь много резной работы из дерева; очень жаль, что некоторые фигуры покрыты белым лаком: мнимым сближением с мрамором отняли у них главное достоинство. Резьба кафедры избавлена от краски, и за то она более нравится»¹⁰. Описание интерьера кафедрального собора, принадлежащее перу Алексея Мещерского, едва ли не самое подробное. «Архитектура, как снаружи, так и внутри чисто готического вкуса... Несколько богатых гробниц украшают бока хорного места»¹¹, — отмечает русский князь, уделяя особое внимание надгробной скульптуре примаса Бельгии, архиепископа Мехельнского Меана.

Это одно из лучших произведений новейшего художества. Он был работан в Риме бельгийским ваятелем Жиото, и говорят, что обошелся около 100 000 франков. Епископ изображен в ту минуту, когда ангел возвещает ему близкую кончину; он преклонил колена и с покорностью произносит: да будет воля Твоя! Смирение и твердость духа удачно изображены на прекрасно выработанном лице; барельефы и мелкие резные украшения имеют большое достоинство¹².

Мехелен — город трудной судьбы: он был под властью австрийцев, испанцев, англичан, французов, голландцев; после революции 1830 года сделался «главным городом второго округа Антверпенской провинции»¹³. Жители города делали все возможное, чтобы спасти произведения церковного искусства от «вражеской руки». Продолжая свой рассказ об интерьере кафедрального собора, князь Алексей Мещерский пишет: «В галерее, окружающей хорное место, можно видеть 25 небольших картин, которым около 300 лет: на них представлена история всей жизни св. Ромбоута, во имя которого воздвигнут храм. Во время иконоборства и Французской революции, их тщательно укрывали»¹⁴.

Стоя близ алтаря, русский богомолец любовался шедевром кисти Ван Дейка.

«Над главным престолом — Тайная Вечеря, живописца Квилина, — пишет Алексей Мещерский. — Но перед чем можно остановиться и долго простоять с наслаждением, это Распятие, работы Ван-Дика; трудно вообразить себе что-либо совершеннее этого рисунка: Спаситель, распятый между двумя разбойниками, отличается особенным совершенством тела — его положением и даже мускулами, не говоря о том, что лицо, выражения необыкновенного, являет величие, какое только кисть может изобразить. У ног Христа — Богоматерь и возлюбленный ученик»¹⁵.

⁹ Русский дипломат во Франции... С. 36.

¹⁰ Мещерский А. Указ. соч. С. 226—227.

¹¹ Там же. С. 225.

¹² Там же.

¹³ Там же. С. 224.

¹⁴ Там же. С. 227.

¹⁵ Там же. С. 226.

Позади главного престола, в небольшой капелле, находилась картина Рубенса «Чудесный улов рыбы».

Она составлена из трех рам, по образцу складней: две боковые половинки закрывают среднюю часть, на которой изображена минута, когда рыбаки, с большими усилиями, вытягивают на берег невод с богатой добычей. Петр и Андрей со страхом и почтением смотрят на будущего их Учителя, и на лице первого, как бы изображались слова: «Господи, отойди от меня — я человек грешный!» На одной из половинок Товий извлекает рыб по приказанию Рафаила, а на другой, — св. Петр, закинув удицу в море, поймал рыбу, в которой, к удивлению всех окружающих, находится статир... Все три картины были заказаны рыбаками, и долго хранились в часовне, построенной их сословием¹⁶.

А теперь вместе с князем Алексеем отправимся в церковь *Онзе-ливе-Врау-ван-Хансвейк* — «в честь Богоматери Ганзвикской». Она была воздвигнута в 1663—1676 годах архитектором Л. Файдхербе в стиле барокко. Церковь эта «не велика, но отличается красивой архитектурой; середину занимает прекрасная ротонда, внутри которой помещены в золотых рамах четыре картины новейшей живописи; на этом месте, как говорит предание, существовала прежде древняя церковь, построенная по указаниям различных чудес; она сгорела в 1578 году и вместе с ней все документы бывшего при ней монастыря, — пишет А. Мещерский. — Новое здание окончено в 1676 году; причем, руководствуясь устной передачей, собрали описание некоторых чудеснейших событий и изобразили их на полотне. Здесь замечательны два барельефа из дерева; один представляет Рождество Спасителя, другой Несение Креста: первый отличается богатой мыслью ваятеля и красивой группировкой»¹⁷.

Русскому путешественнику повезло: он посетил этот храм в тот час, когда шли приготовления к торжественному богослужению: «Между колоннами стояли кадки с лавровыми деревьями; против престола, на круглом столе из красного дерева поставлена была корзина с цветами; престол был также унизан отборными розами; везде развевались голубые флаги — все вместе, при красивой архитектуре, невольно пленяло»¹⁸.

Церковь *Синт Янскерк* (Св. Иоанна Крестителя) была выстроена в готическом стиле в 1443—1483 годах; под ее сводами также побывал неугомонный паломник из России. «В церкви св. Иоанна находится много резной работы из дерева знаменитого художника Фергагена, но путешественников более всего туда привлекает картина Рубенса „Поклонение волхвов“»¹⁹, — сообщает Алексей Мещерский своим читателям. Вот его рассказ об этом шедевре фламандской живописи.

Картина была сделана складнями, но от нее отделили среднюю часть и поставили над престолом, а остальные две разместили по бокам. Первая известна как одно из лучших произведений, по многосложности предметов, размещенных с удивительным познанием правил перспективы; нельзя не удивляться пылкому, богатому и благородному рисунку! На одной половинке — Усекновение главы Иоанна Крестителя, на другой — мучение Иоанна Богослова: св. евангелист изображен в ту минуту, когда он выходит невредим из котла с кипящей смолой. Тело Крестителя необыкновенной академической красоты, и освещение огнем наложено очень удачно.

¹⁶ Там же. С. 225—226.

¹⁷ Там же. С. 227—228.

¹⁸ Там же. С. 228.

¹⁹ Там же.

Есть и еще три небольшие картины этого художника: они также соединены вместе; середину занимает Распятие Спасителя; по одной стороне Его Воскресение, а по другой — приветствие пастырей в Вифлееме²⁰.

В записках князя Алексея Мещерского содержатся интересные сведения о «творческой лаборатории» великого фламандского живописца. «Когда Рубенсу случалось говорить о своих произведениях, он обыкновенно повторял одно и то же: „Кто хочет видеть мою лучшую работу, тот ступай в Малин“, — продолжает русский автор. — Рубенс писал необыкновенно скоро, и получал плату не по достоинству картины, а по дням: полагая за каждый по 100 гульденов.

Приставник показывал мне любопытную квитанцию, хранимую в ризнице, с собственноручной подписью живописца, получившего за свою работу 1800 гульденов, — итак, он употребил не более 18 дней на то, что для всякого другого требовало бы нескольких месяцев прилежного труда! Расписка на фламандском языке, а приставник переводил ее на плохой французский»²¹.

В Мехелене есть еще одна церковь, выстроенная в готическом стиле. Это *Синт Катаринакерк*, с деревянным перекрытием, воздвигнутая в 1366—1409 годах, — на несколько десятилетий раньше, чем «рубенсовский» храм Св. Иоанна Крестителя. В этот храм и отправился знатный паломник из России; он шел тем же путем, какой проделывал когда-то и Пауль Рубенс. «Рубенс, прежде чем написал «Поклонение волхвов», часто ходил в церковь св. Екатерины смотреть на живопись Морильса, изображающую тот же самый предмет»²², пишет князь Алексей Мещерский, переходя далее к художественному анализу обоих произведений.

Картина Морильса имеет много достоинств; но и какие же при том недостатки! Фигуры второго и третьего планов совершенно сдавливают главные лица первого; эти расположены в тесном пространстве левого угла и едва обращают на себя внимание, тогда как оно невольно останавливается на волхвах и их навьюченных верблюдах. В картине такого высокого стиля подобная ошибка непростительна и не может искупиться никакой красотой отделки. Рубенс видел недостаток и умел извлечь из него пользу; коротко ознакомься со всеми трудностями предмета, он счастливо преодолел их: в его картине все внимание зрителя устремляется на Христа Младенца; Его взор — взор Искупителя! В чертах Богородицы вместе с блеском чистейшей невинности видно величественное торжество Матери! И здесь пришествие волхвов великолепно, и пышность предложенных даров поразительна; но все земное величие, изображенное на картине Морильса таким ярким оттенком, тут второстепенно: зритель остановит взор на царях Востока и их богатых дарах, потому только, что Небесный Младенец и Богоматерь обратили на них внимание!²³

Мехелен традиционно считался оплотом Римско-католической церкви в борьбе за независимость Бельгии от соседней протестантской Голландии. Поэтому когда Вильгельм I Фридрих (1772—1843) (из протестантской династии) был признан Венским конгрессом (1815) нидерландским королем, в бельгийских землях началась борьба за национальную независимость, и Мехелен сыграл в этом движении активную роль.

«Страшный ропот католиков поднял арест Гентского князя-епископа, — пишет русская исследовательница С. В. Пантелеева. — Бельгийские епископы открыто запрещали присягать голландскому правительству, а архиепископ Мехельнский напе-

²⁰ Там же. С. 228—229.

²¹ Там же. С. 229—230.

²² Там же. С. 230.

²³ Там же. С. 230—231.

чтал даже воззвание: „Объявляем нашим прихожанам, чтобы никто из них не брал на себя тяжкого греха принесения присяги еретикам“. За это заявление архиепископ Мехельнский был выслан, но, тем не менее, прочее католическое духовенство отказывало в причащении и отпущении грехов всем тем дворянам и богачам, которые решили бы присягать голландской конституции. Поэтому более половины знатных бельгийцев не явилось на призыв голландского короля для признания проекта общей конституции Бельгии и Голландии»²⁴. Так были отражены в русской литературе те пред- революционные события, которые затронули и центр Брабантской архиепископии.

Князь Алексей Мещерский побывал в Мехелене спустя девять лет после событий 1830 года. К этому времени монашеские ордена лишились части своих владений. В чем и удостоверился русский путешественник, посетив *Синт Петрус эн Паулускерк* (1670—1677, архитектор А. Лоссон). «Светлая красивая церковь св. Петра принадлежала некогда иезуитам, — пишет он. — На стенах, покрытых десятью большими картинами, представляется жизнь св. Франциска Ксавье, бывшего миссионером в Индии... Отделка главного престола, из белого мрамора с золотом, сливается со стенами, что дает всей внутренности храма вид особенного пространства»²⁵.

Когда русский посланник А. А. Матвеев посетил Мехелен в 1705 году, в этом городе насчитывалось «езуитских и иных регул, или уставов, кляшторов и парахиальных, или приходских, 24 церкви»²⁶. Из «иных регул кляшторов» в Мехелене имелся «славный францисканский монастырь», который «великостью и красотой своею все монастыри в Нидерландии превосходит»²⁷.

Французская революция 1789 года, носившая антицерковный характер, нанесла большой урон духовной жизни Мехелена. «В Малине считалось к концу XVIII столетия десять мужских монастырей и до двенадцати женских; они были разорены во время Французской революции»²⁸, — пишет Алексей Мещерский. Об одной из таких упраздненных обителей русский паломник поведал удивительную историю.

В том числе находился один монастырь в окрестностях города, знаменитый по преданиям и по странности его правила: говорят, что в 1231 году приходской священник и другой, его товарищ, заметили, что восемнадцать птиц прилетали ежедневно на одно и то же место, по семи раз на день, и пели, из чего вывели пред- знаменование, что тут построен будет монастырь, в котором восемнадцать мона- хинь должны будут соблюдать правило ежедневного седмичного служения, — решили приступить к делу и стали собирать деньги. Приношения окрестных жителей, дары владетельных лиц и важная жертва, которую принес сам священник, отдав все свое имущество, дала возможность выстроить обитель и набрать требуемое число инокинь; установилось правило, по которому они были на службе по семи раз в день, во все время существования монастыря. В 1580 году их храм разорили, и отшельницы принуждены были перейти в Малин, где устроили себе другую оби- тель; но их число никогда не могло превышать восемнадцати: каждая, принятая сверх комплекта, вскорости умирала; из многих примеров, дошедших по преданию, не было ни одной, прожившей год!!²⁹

²⁴ Пантелеева С. В. Нидерланды и Бельгия. СПб., 1905. С. 289.

²⁵ Мещерский А. Указ. соч. С. 231—232.

²⁶ Русский дипломат во Франции... С. 36.

²⁷ Рот Р. Достопамятное в Европе, то есть описание всего, что для любопытного смотрения света. СПб., 1761. С. 158.

²⁸ Мещерский А. Указ. соч. С. 232.

²⁹ Там же. С. 232—233.

Обойдя старинную часть Мехелена и посетив его святыни, вернемся на главную площадь Гроуте-маркт. Здесь, рядом с кафедральным собором Св. Ромбо, высится башня высотой 98 метров. Ее возводили более ста лет: с 1452-го по 1578 год; строительством этого грандиозного сооружения руководили зодчие из семейства Келдерманс. В 1705 году про эту колокольню писал русский посланник А. А. Матвеев: «В сем же городе церковь превеликого здания з башнею зело высокою, которую длинная своды, зело хитрою архитектурою сомкнутыя, без нижнего основательного грунта под нею положеннаго (держат)»³⁰. «Зело высокая» башня кафедрального собора и до нашего времени осталась неоконченной: колокольню, возвышающуюся на 98 метров, предполагалось довести до высоты 168 метров, чтобы она стала самым высоким памятником христианской архитектуры³¹.

Рудольф Рот, ректор Ульмского университета, жил в немецком городе, где колокольня кафедрального собора имела высоту 161 метр. Таким образом Мехелен был потенциальным соперником Ульма; описывая в середине XVIII века этот город — «Мехельн великой и многолюдной, город короля гишпанского в Брабандии, на реке Диле», — Р. Рот сообщает, что в нем имеется «знатного строения великая блаженного Румбольда соборная церковь, и при ней, 580 ступеней в высоту имеющая башня, на которой колокольная музыка всякой час играет»³².

О незавершенной колокольне мехеленского собора писал и русский путешественник Н. А. Демидов. 6 сентября 1771 года он осматривал этот город, «в коем довольно число церквей, в некоторых есть образа рубенсовой работы». Потомок уральских промышленников, Н. А. Демидов сожалел о том, что строительство колокольни не было завершено: «За самую высокую во всей Брабандии почесться может, одна здесь находящаяся колокольня готической и хорошей архитектуры, — писал он. — Только сожалительно, что верх или шпиз не окончен, с коим бы она все высокие башни превысила»³³.

Что касается князя Алексея Мещерского, то он, как и прежде, приводит об этой колокольне сведения более подробные, нежели его предшественники. «Кафедральная церковь величественной архитектуры почитается древнейшей в городе; она строилась около трех столетий и когда приближались к концу, вздумали пристраивать колокольню необыкновенной высоты, которую начали в 1422 году и еще по сие время не кончили, хотя не достаёт третьей части здания, со всем тем, в остальных двух, полагают до 348 футов, — сообщает пытливый паломник. — На нее всходят любоваться окрестностями и дальними видами. Тут показывают надпись как памятник любопытства Людовика XV: он имел терпение дойти до самого верха»³⁴.

После 1830 года и вплоть до Первой мировой войны мало что нарушало покой жителей города. Но в августе 1915 года Мехелен постигло тяжелое испытание; как сообщалось в тогдашней русской печати, немецкие войска «разрушили много зданий, среди которых находился замечательный собор святого Ромбо»³⁵.

Российская общественность с сочувствием относилась к тем бедам, которые постигли Бельгию в ходе военных действий. В 1916 году в Петрограде вышел сборник «Песни о Бельгии», куда вошли стихотворения, опубликованные в российской печати

³⁰ Русский дипломат во Франции... С. 36.

³¹ См.: Ненашев А. П. Бельгия, Голландия и Лондон. М., 1911. С. 78.

³² Рот Рудольф. Достопамятное в Европе..., С. 157—158.

³³ Журнал путешествия Никиты Акинфиевича Демидова. М., 1786. С. 14.

³⁴ Мещерский А. Указ. соч. С. 224.

³⁵ Бельгия — страна героев. Сост. Е. С. // Журнал «Война». Пг., 1915. № 20. С. 14.

тех лет. Одно из них было напечатано в далеком от линии фронта Оренбурге в 1915 году; оно было озаглавлено «Легенда наших дней».

Заунывный похоронный перезвон,
А гранаты воют, бьют со всех сторон.
«Эй, звонарь, спасайся, враг уж у ворот!» —
«Кто ж отходную собору пропоет?..» —
Говорит старик упрямый. Снова стон —
Похоронный заунывный льется звон.
«Эй, звонарь, вошли враги... Беги скорей!» —
«Как не так... за тем я прожил много дней...» —
Заворчал старик, потупя хмурый взор.
А меж тем пылает мученик-собор.
«Эй, звонарь, упали башни по бокам,
И враги повсюду рыщут по домам!»
Но старик не слышит... рушится алтарь...
Все звонит отходную звонарь.
Из огня, из тучи дыма, будто стон,
Заунывный, похоронный льется звон...
И пропал в суровом полыме собор.
.....
Говорят, что каждый вечер с этих пор
Над развалинами колокол звучит, —
Тихий реквием старик-звонарь звонит³⁶.

...Сегодня, когда раны города давно залечены, Мехелен по-прежнему славится своими «малиновыми звонами». Этой старинной традиции в русской дореволюционной печати уделялось достаточное внимание; так, в одной из переводных книг, посвященных Бельгии, ее автор И. Изар писал, что Мехелен — «это маленький тихий, мирный городок, где с удивлением слышишь, как каждые четверть часа в необъятном просторе раздается перезвон колоколов главной башни кафедрального архиепископского собора Сен-Ромбо.

Колоссальная башня эта, хотя и осталась неоконченной на половине предполагаемой высоты, — а по проекту она должна была превзойти своей высотой все другие колокольни христианского мира, — все же остается замечательным произведением. И кроме того в ней сохраняются две такие редчайшие вещи, как самый музыкальный во всей Фландрии и Брабанте набор колоколов и самый искусный во всем свете звонарь Джеф Дэнэн»³⁷.

Колокола — неотъемлемая часть культуры многих народов. И сегодня, когда возрастает интерес к этой сфере духовной жизни христианства, повествование о «малиновом звоне» обретает притягательную силу. Именно это побудило И. Изара подняться на колокольню мехеленского собора. «Какой-то мальчуган с фонарем в руках взялся проводить меня по темной винтовой лестнице, и чтобы развлечь монотонность этого путешествия, принялся напоминать мне, что полный звон состоит из 66 колоколов, что самый большой колокол весит 9 тысяч килограммом, а самый маленький только 25, и много другого о вящей славе Сен-Ромбо»³⁸, — пишет И. Изар.

³⁶ Верещагин Хр. Легенда наших дней // Оренбургская газета. 1915. № 58. Цит. по: Песни о Бельгии, собранные Евгением Вильчинским. Пг., 1916. С. 42—43.

³⁷ Изар И. Современная Бельгия. Пг., 1914. С. 164.

³⁸ Там же. С. 165.

Бельгия — небольшая страна, и, поднявшись на колокольню мехеленского собора, в хорошую погоду можно увидеть купол собора Св. Гудулы в Брюсселе и колокольню антверпенского собора. «Я спешу скорее увидеть Джефа Дэнэна, — продолжает И. Изар. — Мы поднимаемся по лестнице, пролезаем через трап, и, наконец, попадаем в убежище, где живет звонарь. Бог мой, как тут тесно! Почти все место занято огромным клавикордом с несколькими рядами клавиш, которые посредством весьма сложного механизма из рычагов и цепей соединены с колоколами»³⁹.

Вот что поведал звонарь мехеленского собора любознательному писателю о своем уникальном мастерстве: «Для того, чтобы заниматься такой музыкой, необходимо быть не только артистом, но еще и атлетом и притом атлетом-силачом. Правда, легкие звуки производятся при помощи поверхностных ударов рукою, но для глубоких нот нужно делать сильные ударения при помощи ног; а если случится, что исполняемая ария содержит арпеджио и требует быстрой пробежки с одного конца до другого, то вы легко поймете, что исполнение подобных «морсо» становится настоящим спортом»⁴⁰.

Беседа затягивалась, но не переставала быть увлекательной. Звонарь поведал своему гостю о происхождении традиции колокольного звона. «Полагаю, — продолжал он, — что этот звон произошел вследствие необходимости разнообразить мелодии колоколов для отличия возвещаемых ими событий; в прежние времена колокольным звоном с городских башен регулировалось все распределение дня: специальный звон был для оповещения собираться в мастерские, для окончания работ, тушить огни, для возвещения свадеб и похорон, а кроме того был еще ежечасный звон с часовой башни; короче говоря, одного колокола было недостаточно для того, чтобы характеризовать все эти разные случаи; поэтому обычно соединяли звон из 4-х колоколов, и из слова „кватринио“ образовалось нынешнее французское название „карильон“»⁴¹.

(Карийон — фламандский музыкальный инструмент, появившийся в конце XIV века. Состоящий из системы колоколов и клавиатуры, он напоминает орган. Только вместо труб здесь — колокола. Карийоны устанавливали на соборных колокольных и часовых башнях.)

И наконец звонарь перешел от слов к делу и продемонстрировал собеседнику свое мастерство, связанное с нелегким и каждодневным трудом. «Джеф собирался звонить, и я почтительно посторонился. Вот он решительно принимается за свою отчаянную гимнастику: колокола скрипят, башня вздрагивает и в ужасной какофонии языки колотят по бронзе... Неужели же из этого ужасного хаоса звуков могут образоваться те радостные и грустные мелодии, которыми мне не раз, как зачарованному, приходилось заслушиваться?»⁴² — так завершается повествование о «малиновом звоне», широко известном в России.

Мехелен-Малин славился производством колоколов с давних времен. В городе было множество литейных мастерских, которые поставляли колокола по всей Европе. Многие из колоколов, установленных в русских церквях, тоже были сделаны в Малине, отсюда и выражение: «малиновый звон».

Первая мировая война и последовавшие вскоре после нее социальные потрясения в России надолго прервали развитие русско-бельгийских церковных связей. Но тем не менее в Западной Европе продолжала существовать православная община, пополнившаяся после 1917 года за счет эмигрантов из советской России. В их числе был митрополит Евлогий (Георгиевский) (1868—1946), возглавивший те заграничные об-

³⁹ Там же. С. 165.

⁴⁰ Там же. С. 165—166.

⁴¹ Там же. С. 166—167.

⁴² Там же. С. 167—168.

щины русских православных христиан, которые не пожелали уйти в раскол, но и не хотели подчиняться «просоветченной» Московской патриархии. В своей книге «Путь моей жизни» владыка рассказывает о двукратной встрече со знаменитым примасом Бельгии кардиналом Мерсье и о... «малиновом звоне».

Бельгийский примас жил в небольшом городе Малине, около часу езды от Брюсселя. От города Малина получил свое название «малиновый звон»: колокола на колокольне при резиденции кардинала на весь мир славятся своим изумительным музыкальным звоном. Кардинал встретил меня приветливо; он принял меня в комнате, обставленной с простотой и скромностью монашеской кельи, да и сам он — высокий, худой, аскетического вида старец, в смиренной рясе — не походил на величественного князя Церкви, а напоминал христианского подвижника. Чувствовалось, что эта простота прикрывает подлинное величие духа. Я сердечно поблагодарил его за заботы о наших детях, а он выразил сочувствие страждущей нашей Церкви. По русскому обычаю он угостил нас чаем. Заметив, что скромная обстановка его приемной меня удивила, он улыбнулся и пошутил: «Не правда ли, комната, где я вас принимаю, напоминает вам ту келью в монастыре, где вы сидели в заточении?» С большим интересом слушал он мою информацию о положении Русской Церкви, а также о моих скитаниях в плену вместе с другими архиереями. Глубокое, неизгладимое впечатление оставил в моей душе этот величественный старец-святитель...

Года через два, будучи в Брюсселе, я снова посетил кардинала Мерсье. Он очень изменился по внешности; видно было, что его светлая жизнь догорает. Однако он бодро поддерживал беседу и даже предложил мне послушать знаменитый «малиновый звон». К сожалению, время было позднее, когда по местным правилам колокольня уже заперта. Беседа велась главным образом об организации приютов и школ для бедных русских детей. И было удивительно, с каким интересом больной, изнемогающий старец входил во все обстоятельства этого дела... Года через два, будучи в Брюсселе, я снова, также вместе с народом, служил о нем торжественную панихиду и в своей речи старался начертать его светлый образ и выявить великое значение его христианской личности и деятельности. За эту «молитву за инославного» я получил замечание Карловацкого Синода, хоть это не помешало митрополиту Антонию (Храповицкому, главе Зарубежной РПЦ. — *Авт.*) поехать в католический костел в Белграде и там поставить свечу за почившего кардинала. Как будто это не была «молитва за инославного»!..⁴³

...В 1922 году в Мехелене была основана Королевская школа звонарей, названная в честь *Жефа Денейна (Джэфа Дэнэна)*, своего учредителя и первого директора. «Колокольные оркестры» — карийоны существуют во многих бельгийских и голландских городах. С каждым годом их становится все больше — старинное искусство звонарей переживает сейчас как бы второе свое рождение. Сейчас в Бельгии около ста карийонов, и когда наступает лето, с июня до конца сентября, по воскресным вечерам льется колокольная музыка с башен бельгийских соборов — «малиновый звон».

Особенная, ни с чем не сравнимая музыка колоколов завоевывает любовь и признание людей. И все больше требуется истинных мастеров игры на колоколах. Наиболее известным, богатым историческими традициями местом подготовки таких мастеров и является Королевская школа звонарей в Мехелене. Она считается единственным в мире заведением такого рода. С 1980 года директором ее работает *Йо Хаазен (Йозеф Хазен, Хансен)*, известный музыкант и энтузиаст искусства колокольного звона.

В середине 1980-х годов в Королевской школе звонарей обучалось уже более 30 студентов самого разного возраста — от 15 до 60 лет. Сюда приезжали овладевать редким

⁴³ Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. М., 1994. С. 526—527.

мастерством студенты из Нидерландов, Франции, Англии, ФРГ, США. Среди учеников школы все чаще встречаются девушки. За время существования школы было подготовлено около 500 человек. Летом студенты регулярно устраивают в городе концерты игры на колоколах, которые привлекают множество людей.

Условия приема в мехеленскую школу, учебы в ней и выпускных экзаменов весьма строги. Претендентам на студенческое место надо уже иметь музыкальное образование, знать теорию, уметь играть на каком-нибудь из инструментов, предпочтительно на пианино или органе. Зачастую им приходится также пройти вступительные экзамены. Обучение в зависимости от интенсивности учебного процесса, определяемой, как правило, индивидуально для каждого принятого в школу, может длиться несколько лет. Для получения диплома об окончании школы студент должен написать сочинение на музыкальную тему, сдать письменный экзамен по теории игры на колоколах, пройти перед авторитетным жюри практические испытания.

Королевская школа звонарей помещается в старинном доме «Хет Шипке», имеющем, как многие наиболее древние строения города, свое собственное имя и историю, располагает уникальным собранием литературы об искусстве звонарей, истории и теории игры, о выдающихся карийонах. Ее профессорами выпущено немало исследований, посвященных «малиновому звону». Среди них и иллюстрированная брошюра «Колокола в СССР», изданная в начале 1980-х годов. Здесь же есть и пластинки с записями голосов звонниц Московского Кремля, Ростова Великого...

Карийон — набор колокольных звонов, имеющих в соборе каждого крупного фламандского города. Самый известный — в Мехелене, где 66 колоколов создавали из полутонов гамму в четыре октавы. На карийоне играют с помощью гигантской клавиатуры и педалей, от которых тянутся проволоки к колоколам, и карийонер играет сложнейшие вещи, пробегая вдоль ряда и ударяя в них. Карийон был детищем эпохи ремесленных и торговых гильдий, на средства которых возводились соборы и отливались колокола. Поэтому его называют «душой Фландрии».

При Королевской школе звонарей есть Музей колоколов. В нем собраны свидетельства широкого развития производства колоколов, создания карийонов. Здесь и карта распространения по всему миру искусства колокольной игры. И каменные колокольные формы, которым минул не один век. И железные барабаны со вставленными в определенном порядке металлическими зубьями — механические «звонари», когда-то имевшие широкое распространение.

Как считают музыковеды, первые колокола появились в Китае в XIII—XII веках до нашей эры. С VII века нашей эры они распространились по Западной Европе и оттуда были вывезены в славянские страны. На Руси «следы» первых колоколов отмечаются XI веком. С XV века они заняли полноправное место на колокольных русских церквей. Нынче основное производство колоколов перенесено в Голландию, но все-таки в Мехельне сохранилась частная мастерская Люка Мехельса, где еще льют колокола. Хотя редко и по специальным заказам⁴⁴.

Сейчас в Мехелене четыре карийона. Один из них передвижной, установлен на площадке с колесами; он выкатывается на площадь во время праздников. Три других установлены на звонницах здешних соборов. По традиции в Большом карийоне насчитывается 49 колоколов, каждый со своим голосом. Их «настройку» старые мастера производили по звуку скрипки. Считают, что искусство игры на колоколах расцвело в XV—XVI веках. Свое начало, вполне возможно, оно ведет от боя колоколов, которым в городах извещали о времени. Часто крестьяне, работавшие в поле, или ремесленники в шумных мастерских не слышали первого удара колокола и мог-

⁴⁴ Докторова Л. Малиновый звон // Русская мысль. № 4183. 17—23.07.1997. С. 14.

ли ошибиться, определяя, который час. Чтобы избежать этого, каждый час отбивали по-своему, определенной мелодией. Так зародились первые перезвоны. Впоследствии колокольный звон стал сопровождать различные события в жизни городов и всей страны.

Вот как здесь встречают гостей из России.

...Директор Королевской школы звонарей Йо Хаазен (Йозеф Хазен) расправил листы с нотами, энергично размял пальцы. На секунду задумался, а потом с силой и резко ударил по округлым палочкам деревянных клавишей. Чистые и мощные звуки, рожденные в сумрачных зевах десятков колоколов, полились над городом. Их напор был так велик, что заставлял дрожать похожую на каюту старого фрегата, обитую деревом комнатку. Хлопая крыльями, взметнулись вспугнутые голуби. Продолжая ударять по клавишам, Йо Хаазен обернулся к нам и, широко улыбаясь, спросил: «Ну как, узнаете мелодию?»

Над старинным Мехеленом, над его каменными мостами и острыми черепичными крышами, над причудливыми домами старых купеческих гильдий и площадями плыли, переливаясь в праздничном звоне металла, такие неожиданные здесь, в прохладной вышине звонницы собора Синт-Ромбаутскерк, «Подмосковные вечера».

Мы были поражены, а Йозеф Хаазен, явно довольный произведенным на гостей впечатлением, вдохновенно, со страстью, выбивал из клавиатуры, паутиной стальных нитей, связанной с языком колоколов и десятками разномерных молоточков, все новые и новые мелодии. Торжественная музыка наполнила всю округу. Одна мелодия сменяла другую. За произведениями великих мастеров эпохи Возрождения ухнула над городом наша русская «Коробейники». Прозвучали полные экспрессии этюды самого Хаазена. Казалось, что мы в деревянной комнатке, упрямой меж гудящих колоколов, парим в музыкальной стихии над нашей общей землей, пораженные ее красотой и великолепием...

К концу 1990-х гг. в Мехеленской школе колокольного искусства обучалось более 50-ти студентов из разных стран мира. Курс обучения длится 6 лет. Лишь после успешного заключительного экзамена студенты получают звание мастера и право выступать с концертами. В 1993 году в Мехелен впервые приехали учиться российские студенты. Все трое: Лена Садина, Сергей Грачев и Александр Соколов — окончили Саратовскую консерваторию. Лена и Сережа — фольклорное отделение, а Саша — духовое⁴⁵.

Традиция колокольного звона в России после революции 1917 года сошла на нет. Вместе с разрушением церквей уничтожению подверглись и колокола. Но теперь с восстановлением церквей началось возрождение и искусства колокольного звона. В Саратовской консерватории работает А. С. Ярешко, президент Колокольной ассоциации России. При консерватории находится школа колокольного искусства, в которой Лена и Сергей проучились два года в классе профессора А. С. Ярешко. В 1993 году они стали лауреатами конкурса в Ярославле. По приглашению А. С. Ярешко в школу в 1992 году приехал Йо Хаазен. Там они и познакомились, и Хаазен пригласил молодых музыкантов поехать в Мехелен продолжать обучение. На вопрос, есть ли у них друзья среди местных жителей, Сергей ответил: «Наш друг, брат, отец и крестный отец, наш учитель — это наш директор школы Йо Хаазен»⁴⁶.

На первых порах молодым музыкантам было нелегко, потому что русская традиция колокольного искусства совсем иная. Пришлось многому учиться заново. На За-

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Там же.

паде нет огромных колоколов, под стать нашему Царь-колоколу. Они там невозможны. Просто веков пять-шесть назад у нас стали делать колокола, у которых раскачивается «язык». А там раскачивается сам колокол, закрепленный на противовесе, что можно делать и с помощью проволоки.

Российские студенты уже выступали с концертами в Бельгии и других европейских странах. Они надеялись исполнять концерты и в Санкт-Петербурге — в Петропавловском соборе, когда там будет установлен новый карийон. Хотя и были обескуражены приемом, который им тогда оказали в Петропавловском соборе. Они повторяют фразу, которой их там встретили: «Вы навязываете западную культуру, которая никому не нужна»⁴⁷.

Но тем не менее уже в апреле 1992 года в мастерскую известного реставратора старинных часов В. В. Ветрова, находившуюся в Петропавловской крепости, с величайшей осторожностью был доставлен клавир, подаренный Петербургу Мехеленом. Королевская школа звонарей прислала для звонницы Петропавловской крепости уникальное приспособление для игры на колоколах — клавир. До сих пор сохранными клавирами могли похвастаться лишь страны Балтии. Клавир Петропавловского собора был разобран «за ветхостью» еще в середине XIX века⁴⁸.

«Это довольно сложная механика для старинного музыкального колокольного инструмента, называемого карийоном, — рассказывал мастер, — она состоит из приводов, рычагов и двух клавиатур — ручной и ножной. Вся эта система предназначена для того, чтобы приводить в действие колокола, имеющие звучание разной тональности, и исполнять таким образом различные музыкальные пьесы».

В Музее истории города есть богатая коллекция голландских колоколов, подходящих для карийона. После реставрации и настройки его было намечено установить на одной из площадок колокольной собора, откуда и будет звучать колокольная музыка⁴⁹. Но до начала реставрации было еще далеко: отсутствовали средства.

Прошло четыре года, и в апреле 1996 года в петербургской прессе появилось новое сообщение о «малиновом звоне». «Музей истории города, Международный благотворительный фонд спасения Петербурга-Ленинграда и Королевская карильонная школа из Мехелена общими усилиями намерены возродить музыкальные традиции Петропавловской крепости, — сообщала петербургская журналистка. — Программа рассчитана на 4 года. Предполагается реставрировать куранты и набор колоколов для русских звонов, восстановить голландский карильон. Международный проект, поддержанный фламандской общиной Бельгии, будет реализован при участии Института „Ленпроектреставрация“, Королевской колокольной литейни АО Пти Фритсен (Нидерланды) и МП „БМП Комплект“»⁵⁰.

А вот о чем поведal в 1997 году Йо Хаазен: «Окончательная стоимость инструмента, который состоит из 51 колокола, достигает почти 500 тысяч долларов. Чтобы заинтересовать возможных спонсоров нашим проектом, мы решили сделать все колокола именными. То есть на каждом будет выгравировано имя спонсора, оплатившего его стоимость. 40 колоколов уже нашли владельцев. Нам осталось „усыновить“ еще 11, и тогда в Петербург, как мы надеемся, в следующем году приедут фламандские мастера монтировать инструмент. А старый карийон Петропавловского собора, который очень красив, сохранится как памятник»⁵¹. Директор колокольной школы за-

⁴⁷ Там же.

⁴⁸ Ленская О. Единственный в России карийон // Вечерний Петербург. № 90. 16.04.1992.

⁴⁹ Володин А. Зазвучат ли колокола? // Вечерний Петербург. 25.05.1992.

⁵⁰ Дигмелова Э. Вновь зазвучат колокола // Санкт-Петербургские ведомости. № 68. 11.04.1996.

⁵¹ Докторова Л. Цит. соч. С. 14.

нимался сбором средств на покупку нового карийона для Петропавловского собора, веря, что таким образом вносит свой вклад в процесс возрождения искусства колокольного звона в России.

А в сентябре 1998 года в Петербург из Королевской литейни в Бельгии прибыл басовый колокол весом в 765 килограмм, диаметром в 107 сантиметров. Это был колокол № 7 из басовой группы; главный бас должен был весить три тонны. Новый фламандский комплект в четыре октавы состоит из 51 колокола определенного веса. Его было решено установить на втором ярусе колокольни Петропавловского собора⁵².

Голландский карийон на Петропавловском соборе звучал с петровских времен, после пожара 1756 года был установлен заново, но в 1856 году был разобран при ремонте колокольни. Часть колоколов знаменитого «голландского набора» исправно служила в курантах, остальные находились в фондах музея. После 1917 года был сменен «старорежимный репертуар» колоколов: 15 июня 1926 года куранты Петропавловского собора в полдень впервые сыграли «Интернационал». А с 6 ноября 1937 года исполнение тогдашнего гимна СССР стало ежедневным.

В годы Великой Отечественной войны куранты пострадали от недалекого взрыва бомбы и остановились. В конце 1940-х годов, в преддверии 250-летия Ленинграда, их решили восстановить. Несколько лет потребовалось, чтобы настроить механизм на исполнение нового гимна Советского Союза. Для этого под руководством композитора М. И. Чулаки провели обточку старых колоколов. Тогда же отремонтировали ходовую часть и по проекту инженера Д. С. Гектора автоматизировали заводной механизм⁵³.

Еще через два года наряду с церковным возник и «светский» колокольный проект. Вот что сообщалось по этому поводу в петербургской прессе: «В Приморском парке Победы установят арку-звонницу с музыкальными колоколами. Это тот самый „малиновый звон“, который Петр I вывез когда-то из Малина. Специфика „малиновых“ колоколов в том, что каждый из них настроен на определенную ноту и тональность, поэтому на комплекте колоколов (карийоне) можно исполнить любую мелодию. Кроме комплекта из 23 музыкальных колоколов на арке будут размещены еще 18 обычных. Главный художник города Иван Уралов полагает, что зрелищность будущих событий неплохо усилить свето- и цветодинамическими эффектами. Первый концерт предполагается приурочить к 2000-летию христианства»⁵⁴.

Но основное внимание по-прежнему уделялось церковному проекту: установить карийон на колокольне Петропавловского собора. И в процессе осуществления этой идеи открылись новые обстоятельства. Как известно, для колокольни собора Петр I привез из-за границы карийон (иногда мы говорим «карийон») — набор колоколов, исполняющих мелодии. Карийон был из города Малина, отсюда — по легенде — пошло название «малиновый звон». В Мехелене до сих пор действует школа карийонистов, а вот колоколов начала XVIII века практически не сохранилось. Дело в том, что колокола со временем теряют «голос», и бельгийцы научились его восстанавливать: с помощью фрезерования выбирают слой металла. Каково же было удивление директора школы господина Йо Хансена, когда он, прибыв в Петербург с целой делегацией, увидел подлинные колокола! Их старательно обмеряли, записывали звук, и директор зажегся идеей восстановить петровский карийон. Но для этого колокола предполагалось отвезти в Бельгию и настроить, то есть фрезеровать.

⁵² Федоров В. Будет свой карийон в Петербурге // Петровский курьер. № 33. 07.09.1998. С. 1.

⁵³ Вагнер В. Куранты Петропавловки // Ленинградская правда. № 249. 29.10.1989.

⁵⁴ АиФ-Петербург. № 42 (375). Октябрь 2000.

Музейщики не согласились, директор огорчился, но, немного подумав, решил подарить городу в честь трехсотлетия новый карийон, деньги на который собирал как среди бельгийцев, так и среди бизнесменов и даже королевских особ разных стран. Среди меценатов оказались и русские, они удивляли господина Йо Хансена не только щедростью, но и тем, что давали наличные. Проект колоссальный — требовался 51 колокол! Деньги были собраны, колокола отлиты, и в апреле 2001 года их привезли в город.

К карийону нужна клавиатура, ведь на нем играют, как на органе или фортепиано, и можно исполнять любую мелодию — от классики до эстрады. Господин Йо Хансен нашел подлинную клавиатуру XIX века, она была доставлена в Петербург раньше и уже отреставрирована. Торжественное открытие карийона было намечено на сентябрь 2001 года.

С его установкой на колокольне собора появился уникальный трехъярусный оркестр. Там остались действующие русские колокола, играющие каждую четверть часа. Был восстановлен еще один колокольный набор, дореволюционный, исполняющий «Боже, царя храни» и «Коль славен наш Господь в Сионе...»⁵⁵.

В следующем, 1992 году карийон из Мехелена показал себя во всей красе: 8 октября на звоннице Петропавловского собора запели уникальные колокола. Перезвон был устроен в честь сорока голландских специалистов-музейщиков, прибывших в Петербург для изучения работы Музея истории города⁵⁶.

Летом 2003 года Санкт-Петербург праздновал свое 300-летие, и в те дни «малиновый звон» украшал городские торжества. 24 мая гости из Бельгии открыли в Петропавловской крепости фестиваль карийонной музыки под управлением дирижера Филиппа Херревеге. Колокольный фестиваль был продолжен осенью того же года: по 17 августа на Соборной площади Петропавловской крепости можно было послушать карийонную музыку. Мастерство игры демонстрировал самый известный в мире исполнитель Йозеф Хансен, директор Королевской школы карийона. По его инициативе в Санкт-Петербурге и была возрождена традиция подобных концертов. Карийон из 51 колокола — подарок Петербургу от правительства Фландрии — был торжественно открыт на колокольне Петропавловского собора в сентябре 2001 года⁵⁷.

И с этого времени гигантские «лады» карийона создают неповторимый малиновый звон, плывущий над Петербургом. А в Мехелене-Малине каждое лето бывает серия концертов на карийонах собора Святого Румбольда, где в один из вечеров можно было услышать и русских музыкантов.

⁵⁵ Петрова Е. Реставрация: от надгробий до карийона // АиФ-Петербург. № 14. 2001. С. 11.

⁵⁶ Вечерний Петербург. № 232. 08.10.1992. С. 1.

⁵⁷ Малиновый звон // АиФ-Петербург. № 33. 2003. С. 12.

Contents

Prose and Poetry

Mikhail Sinelnikov. White Square. *Poems* • 3

Marat Gizatulin. Book Lover. *Novel* • 12

Vladislav Kitik. *Poems* • 61

Tatiana Voronina. Bearded Aphrodite. A Man and His Dog. Mr. Happiness. First Date. *Stories* • 64

Pavel Kuzmenko. Wise Naohiro Takahara and Other Wise Men. Builder Ababkin. Door. Last Journey. *Stories* • 76

Dmitry Bobylev. *Poems* • 96

Aigul Akhmetova. Adashtym. *Novel* • 102

Leonid Bezhin. Rainy Alley, or Ten Reports to the Police Department about the Composer Scriabin, the Construction of a Temple in India and the Mystery at the End of Time. *Novel. Continued* • 129

Non-Capital Russia

Alla Fedoseenkova. With Her Own Yardstick. *Poems* • 176

Favorite Corners of Russia

Alexander Melikhov, Elena Dolgopyat. Polenov's Courtyard and Glowing Smoke • 180

Vera Kalmykova. Fragrant Legends, or the Flying Scarf • 185

Publicistic Writings

Dmitry Travin. How freedom Came to Russia • 195

Criticism and Essays

Stanislav Minakov. Winged ProsteV • 211

Larisa Shushunova. „Under Kupyansk, Like Schrödinger's Cat...” *About the war poems of the poet Sergei Semyonov* • 220

Petersburg Bookman

Territory of Memory. *Polina Mamysheva.* „...By Chapters of Thick, Fascinating Novel”: American photographs by I. Ilf. **Reviews.** *Elena Pecherskaya.* Mikhail Rakhunov: „And the Soul Turns into Speech...” *Elena Zinovieva.* Book Island • 225

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Russian Pilgrims at the Shrines of Belgium. *Part 6* • 240

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны: (812) 314-72-50, 312-49-23
E-mail: nevaredaction@mail.ru, officeneva@mail.ru

Сайт «Невы»: neva-journal.ru. По вопросам, связанным с интернет-сайтом,
обращайтесь по адресу web@neva-journal.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России»,
подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах
прессы у станций метрополитена.

**По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей,
приобретением** отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18,
тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала
«Нева» на территории РФ осуществляет редакция.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 21.04.2025. Подписано в печать 19.05.2025.
Выход в свет 02.06.2025. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 34

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43